КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

1925

КНИГА
ЧЕТВЕРТАЯ
МАЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.

№ 4

МАЙ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1925 ЛЕНИНГРАД

Гиз № 9722. Главлит № 34981. Напеч. 10.000 экз.

1-я Образцовая типография. Госиздата. Москва, Пятницкая, 71.

Голубые города.

(Рассказ).

Алексей Толстой.

Два слова вступления.

Один из свидетелей, студент инженерного училища, Семенов, дал неожиданные показания по наиболее туманному, но, как это выяснилось в дальнейшем, основному вопросу во всем следствии. То, что при первом знакомстве с обстоятельствами трагической ночи (третьего на четвертое июля) казалось следователю непонятной, безумной выходкой, или, быть может, хитро задуманной симуляцией сумасшествия, теперь стало ключом ко всем разгадкам.

Ход следствия пришлось перестроить и вести его от финала трагедии,— от этого куска полотнища (три аршина на полтора), приколоченного на рассвете четвертого июля на площади уездного города к телеграфному столбу.

Преступление было совершено не сумасшедшим, — это установили допрос и экспертиза. Вернее всего, преступник находился в состоянии крайнего умоисступления. Приколачивая на столб полотнище, он спрыгнул неловко, вывихнул ногу и лишился чувств. Это спасло ему жизнь,— толпа растерзала бы его. На допросе предварительного следствия он был чрезвычайно возбужден, но уже следователь губсуда застал его успокоившимся и отдающим себе отчет в совершонном.

Все же из его ответов нельзя было составить ясной картины преступления, — она распадалась на куски. И только рассказ Семенова слил все куски в одно целое. Перед следователем развернулась страстная повесть мучительной, нетерпеливой и горячечной фантазии.

Первые сведения о Василии Алексеевиче Буженинове.

В стороне от станции Безенчук, Пугачевского ныне уезда, тянулся по широкой грязище красноармейский обоз. Кругом бурая степь, мокрые тучи над ней, вдали тусклая, как трехсотлетняя тоска земли российской, щель просвета над краем степи, да телеграфные столбы с подпорками в стороне от дороги. Было это осенью 1919 года.

Головная конная часть, сопровождавшая обоз, наткнулась в этой ветряной пустыне на следы недавнего боя: несколько дохлых лошадей, опрокинутая телега, десяток человеческих трупов без шинелей и сапог. Головной отряд, покосившись, проехал-было мимо, но командир вдруг повернулся в седле и указал мокрой варежкой на телеграфный столб. Отряд остановился.

У столба, привалившись, сидел человек с пунцово-красным лицом и, не шевелясь, глядел на подъехавших. С обритого черепа его свисала окровавленная тряпка. Запекшиеся губы шевелились, будто он шептал про себя. Видимо, он делал страшные усилия, чтобы подняться, но сидел, как свинцовый. На рукаве у него была нашита красная звезда.

Когда двое всадников тяжело соскочили с коней и пошли к нему, разъезжаясь по грязи, он быстро-быстро задвигал губами, безусое лицо сморщилось, глаза расширились, белые от ужаса, от гнева:

— Не хочу, не хочу, — едва слышно, поспешно бормотал этот человек, — отойдите, не застилайте... Мешаете смотреть... Ну вас к чорту... Мы же вас давно уничтожили... Не топчитесь перед глазами, не мешайте... Вон, опять... С того холма через реку... Глядите же вы, собаки белогвардейские, обернитесь... Видите — мост над полгородом, — арка — пролет — три километра... Из воздуха? Нет, нет, это — алюминий. И фонари по дуге на тончайших столбах, как иглы...

Человек бредил в жестоком сыпняке и, видимо, принимал своих за врагов. От него так и не добились — что это был за отряд, десять человек из которого валялось у дороги. Сам он остался жить только оттого, что во время боя лежал раненый в телеге, валяющейся сейчас кверху колесами.

Его положили на воз с овсом. Вечером на станции Безенчук сделали перевязку и с ближайшим санитарным эшелоном отправили в Москву. Документы его были на имя Василия Алексеевича Буженинова, уроженца Смоленской губернии, 21 года.

Человек этот остался жить. К весне он встал на ноги, а летом его снова бросили на фронт. С сотнями других, таких же, как он, Буженинов входил и уходил из разоренных городов Украины; хоронился по орешникам и вишенникам, отстреливаясь от белых и зеленых; сиживал в звездные ночи у костра над Доном; месил грязь в степях под осенним ветром, воющим уныло между ушами коня да по телеграфным проводам; бился в лихорадке в палящих песках Туркестана; ходил под Перекоп и в Польшу.

Все это, впоследствии, вспоминалось ему, как сновидение: стычки, песни голодного брюха, перетянутого красноармейским кушаком, полуразбитые теплушки, мчавшиеся по равнинам, пылающие на горизонте крыши деревень, товарищи—то горластые и беззаботные, то бешено злые в бою, то присмиревшие с усталости и голода. Товарищи, как бегущие мимо вагона столбы и деревья, — уходили из памяти, из зрения, уходили «домой», в землю. Разного человека в те годы не было, — были братишки. Вот он, братишка, обмотавший кусками ковра ноги вместо сапог, таскает ложкой из котла кашу так, что желваки катаются на скулах, а к вечеру, гляди, лежит уткнувшись, запустив окоченевшие пальцы в землю.

Вот отчего те годы вспоминались, как сон.

Сведения о жизни Василия Алексеевича расплываются в тумане этих лет. Болен и ранен не был, в отпуску не бывал. Однажды Семенов встретил его в пограничном городке, в корчме и за самогоном провел несколько часов в горячей беседе. Впоследствии Семенов рассказывал так об этой встрече:

— С Василием Бужениновым мы окончили одно училище, он был классом старше. Затем он поступил на архитектурные курсы в 16 году, а я в 17-м в инженерное.

В корчме мы стали вспоминать прошлое. Вдруг Буженинов вскочил, перекривился. «Чего старье переворачивать, давай о другом. Сто лет прошло с тех пор. Я вот помню, как бабушка у нас в доме, в провинции, спички колола вместе с головкой на четыре части для экономии, — из одной коробки четыре коробки выгоняла. Вот так сэкономили. Две с половиной тысячи паровозов валяются под откосами. Я спрашиваю, — война кончена,—значит, опять теперь спички на четыре части колоть? Возврата нет, старое под откос. Либо нам погибнуть к дьяволу, либо мы выстроим, на местах, где по всей земле наши братишки догнивают, — построим роскошные города, могучие фабрики, посадим пышные сады... Для себя теперь строим... А для себя — по-хозяйски, по-грандиозному»...

После демобилизации Василий Алексеевич поступил снова на архитектурные курсы и пробыл в Москве до весны 1924 года. Семенов рассказывает, что все это время Буженинов работал с каким-то даже исступлением. Питался впроголодь. Одно время, — говорил, — что он ночевал в склепе на Донском кладбище. Женщин, разумеется, дичился. И носил на костлявых, сутулых плечах все ту же красноармейскую шинелишку, простреленную, в бурых пятнах, в которой его, когда-то, нашли в степях Пугачевского уезда.

В начале апреля Буженинов заболел нервным переутомлением. Семенов приютил его у себя на диване. Тогда же Буженинов получил из уездного города, со своей родины, какое-то письмо, и часто перечитывал его, будто оно было написано на мало понятном ему языке. Письмо страшно его волновало. Несколько раз он говорил, что должен побывать на родине, иначе во всю жизнь не простит себе. Очевидно, воображение его было также не в порядке.

Семенов собрал деньги между товарищами и купил Буженинову железнодорожный билет. Дня за два до его отъезда была, по случаю весенних дней, вечеринка, на которой Буженинов, захмелев, в крайнем возбуждении рассказал товарищам удивительную историю.

Рассказ его приводится здесь в том именно виде, каким был воспринят товарищами, плотно набившимися в комнату Семенова, когда за открытым окном над московскими крышами, над полосатыми от рекламных лент узкими улицами, над древними башнями, над прозрачными ветвями бульварных лип разлился синеватый свет вечера, и, пренебреженный поэтами всего Союза, весенний месяц узким, ледяным серпом стоял в вечерней пустыне.

Через сто лет.

Четырнадцатого апреля 2024 года мне стукнуло сто двадцать шесть лет... Подождите скалиться, товарищи, я говорю очень серьезно... Я был ни стар, ни молод: седой, что считалось весьма красивым, — волосы отлива слоновой кости; угловатое, свежее лицо; сильное тело, уверенное в движениях; легкая одежда, без швов, из шерсти и шелка; упругая обувь из кожи искусственных организмов, — так называемой «сапожной культуры», разводимой в питомниках центральной Африки...

Все утро работал в мастерской, затем принимал друзей, и сейчас, в сумерки, вышел на террасу уступчатого дома, облокотился и глядел на Москву.

Полстолетия тому назад, когда я уже умирал глубоким стариком, правительство включило меня в «список молодости». Попасть туда можно было только за чрезвычайные услуги, оказанные народу. Мне было сделано «полное омоложение» по новейшей системе: меня заморозили в камере, наполненной азотом, и подвергли действию сильных магнитных токов, изменяющих само молекулярное строение тела. Затем вся внутренняя секреция была освежена пересадкой обезьяньих желез.

Действительно, заслуги мои были значительны. С террасы, где я стоял, открывалась в синеватой мгле вечера часть города, некогда пересеченная грязными переулками Тверской. Сейчас, уходя вниз к пышным садам Москва-реки, стояли в отдалении друг от друга уступчатые, в 12 этажей, дома из голубоватого цемента и стекла. Их окружали, пересеченные дорожками, цветники, роскошные ковры из цветов. Над этой живописью трудились знаменитые художники. С апреля до октября ковры цветников меняли окраску и рисунок.

Растениями и цветами были покрыты уступчатые, с зеркальными окнами, террасы домов. Ни труб, ни проволок над крышами, ни трамвайных столбов, ни афишных будок, ни экипажей на широких улицах, покрытых поверх мостовой плотным, сизым газоном. Вся нервная система города перенесена под землю. Дурной воздух из домов уносился вентиляторами в подземные камеры-очистители. Под землею с сумасшедшей скоростью

летели электрические поезда, перебрасывая в урочные часы население города в отдаленные районы фабрик, заводов, деловых учреждений, школ, университетов... В городе стояли только театры, цирки, залы зимнего спорта, обиходные магазины и клубы — огромные здания под стеклянными куполами.

Такова была построенная по моим планам Москва двадцать первого века. Весенняя влажность вилась в перспективах раскрытых улиц, между уходящими к звездам уступчатыми домами, и их очертания становились все более синими, все более легкими. Кое-где с неба падал узкий луч и на крышу садился аэроплан. Сумерки были насыщены музыкой радио, — это в Тихом океане на острове играл оркестр вечернюю зорю.

Всего одно столетие отделяло нас от первых выстрелов гражданской войны. На земле шел сто седьмой год нового летоисчисления. Демобилизованные химические заводы изменили суровые и дикие пространства. Там, где расстилались тундры и таежные болота — на тысячи верст шумели хлебные поля. Залежи тяжелых металлов на севере, уран и торий, были, наконец, подвергнуты молекулярному распадению и освобождали гигантские запасы радиоактивной энергии. От северного к южному полюсу по тридцатому земному меридиану была проложена электромагнитная спираль. Она обошлась в четверть стоимости мировой войны 14 года. Электрическая энергия этой полярной спирали питала станции всего мира. Границ между поселениями народов больше не существовало. В небе плыли караваны товарных кораблей. Труд стал легок. Бесконечные круги прошлых веков борьбы за кусок хлеба, — эта унылая толчея истории изучалась школьниками первой ступени. Мы свалили с себя груз, который тащили на кривых спинах. Мы выпрямились. Людям прошлого не понять этих новых ощущений свободы, силы и молодости.

Да, уверяю вас, жить стало большим счастьем, и земля стала желанным местом жизни. Так думал я, глядя с террасы на построенный мной город. В воздухе возник тонкий звук, как бы от лопнувшей струны. Сигнал. И весь город залился светом электрических огней: убегающие к Москва-реке ряды круглых фонарей, фонари на террасах, и — потоки света с плоских крыш в лиловое небо. Мерцающим, светлым яйцом возвышался на площади Революции стеклянный купол клуба. Низко и бесшумно ночной птицей нырнул сверху вниз мимо террасы аэроплан и женский голос оттуда крикнул...

Буженинов оборвал рассказ и смущенно, почти жалко улыбаясь, оглядел товарищей. В руке у него дрожал стакан с пивом...

— А что?.. Разве не за это мы пошли в 18 году умирать, товарищи? — проговорил он глуховатым голосом, — помню, этим городом я в сыпняке бредил... В какой-то степи сижу у столба... Дождь... Мертвяки валяются... А за дождиком, из мокрых бурьянов просвечивают купола, дивные арки, вырастают дома уступами... Сейчас — закрою глаза и вижу... Эх! А мы время теряем, пиво пьем...

Не отхлебнув из стакана, он прилег на кровать, закрыл глаза. Землистое лицо его подергивалось. Начался спор. Буженинову говорили:

— Горячишься, Вася... С такой горячкой дела не сделаешь... Новую жизнь строить — не стихи писать. Тут железные законы экономики работают. Тут надо поколения перевоспитывать. А с утоп - социализмом, покуда рот разинул, тебя живо колесами переедут... Держи курс на мировую революцию, а дни пока — все понедельники. С понедельником справиться потруднее, чем твой город построить...

На все эти разумные слова Буженинов, не открывая глаз, отвечал сквозь зубы:

— Знаю... Знаю...

Товарищи пошумели и разошлись на рассвете. Шестнадцатого утром Буженинов уехал на родину. Весь багаж его состоял из папки с чертежами и ящика с чертежными принадлежностями.

Надежда Ивановна.

Письмо, взволновавшее Буженинова, было от воспитанницы его матери, Надюши, — Надежды Ивановны. Сидя у окна в вагоне он еще раз перечел его.

«Дорогой Вася, мы недавно узнали, что ты жив и даже учишься в Архитектурной Академии. Мы очень обрадовались, главное, тому, что ты жив. А ведь три года от тебя не было никаких вестей. Мне уже 22 года, я служу в Древтресте. Домик нам вернули в прошлом году, но пришлось делать ремонт. Теперь у нас — корова, куры и даже индейки. Непременно пришли по почте семян для огорода. Мама очень плоха, оглохла и ничего не видит. С ней очень трудно, — все сердится, все не так. На-днях простудилась и теперь лежит. Ты бы приехал, а то боюсь, что больше не увидишь ее. Ко мне на масленицу сватался Утевкин, наш конторщик, но я отказала, потому что он ненадежный элемент. Мечтаю пойти на сцену, но пока мама жива, это — невозможно. Хотя Утевкин все повторяет, что у меня талант, но я считаю, что это одни подходы с его стороны. Так хочется жизни. Весна у нас в полном разгаре. Любящая тебя Надя»...

Странное было письмо. Вроде сырой айвы, — и, как будто бы, вкусное, и скулы вяжет. Буженинов глядел, как за окном, за опускающимися, поднимающимися проволоками лежали плоские озера вешней воды. Утро было мглистое, солнце висело оранжевым шаром над разливами. Приминая прошлогоднюю траву, текли ручьи из озера в озеро. Вдали из вод росли деревья, стога. На островках бродил скот, вертелись обтрепанные ветрами крылья мельницы...

Буженинов вышел на площадку вагона и глубоко, зажмурясь от острого наслаждения, вдохнул запах весенней земли и половодья. Подувал свежий ветерок. Проезжали станции, где в голых еще, высоких тополях кричали грачи, кружась над гнездами. Грачи кричали так тревожно, что

больно стало сердцу. Он опять зажмурился, улыбаясь: казалось ужасно смешно, что Наде двадцать два года. А была подросток, — милое лицо, голубые глазки, каштановые, как шелк, волосы, заплетенные в косу с бантом. Когда разговаривает — подходит близко, доверчиво, опустив худые руки,— глядит прямо в глаза.

Поезд, замедляя ход, проходил железнодорожным мостом. Глубоко внизу, через вздувшуюся, мутную реку двигалось на шестах древнее судно, полное скота, телег и баб. По всей видимости, корабль достался мужикам от варягов, и плавал скоро уже две тысячи лет, развозя жителей в разлив по деревенькам.

Буженинов глядел в окно на рюриковы корабли, на озеро, на грачиные гнезда, на табунки овец, на топкие черные дороги, и мир представлялся ему прекрасным.

Как человек с повышенной чувствительностью, он видел в окружающем лишь то, что страстно хотел увидеть. Это была почти галлюцинация наяву.

Уездный городок.

Нам здесь без надобности подробно рассказывать о немощенных уличках, о гнилых заборах и воротах с лавочками для грызения подсолнухов, о заплатанных досками домишках, где на подоконниках цветут герани в знак того, что, «мол, как хотите, граждане, а насчет герани в конституции ничего прямо не сказано»...

Все знают, что такое уездный городок на берегу реки: базарная площадь, хлюпающая навозом, сенные весы, балаганы, вывеска кооператива над кирпичной лавкой, поп в глубоких калошах, пробирающийся, подобрав рясу, в проулок; милиционер, или как выражаются на базаре сердитые бабы — «снегирь», стоит, поглядывает непонятно; старый сад бывшего предводителя дворянства, — теперь городской сад, — с гнездами на тополях и тучей грачей, волнующих весенними криками некоторых девиц, ну, да еще — пожарная каланча... И над тишиной, над этой бедностью издалека долетающий свист поезда.

Идя пешком со станции, Василий Алексеевич на минуту, быть может, чорт его знает, каким-то завитком подумал: вот, житье глухое! Но продолжал быть все в том же восторженном настроении.

Деревянный домик матери, в четыре окна на улицу, урос за эти года в землю, покривился, облупился. Но за пузырчатыми стеклами в горшочках стояли герань и кактусы. Василий Алексеевич отворил калитку, — дворик был чистенький. На солнцепеке лежали рябенькие куры и глядел на солнце голенастый петух, видимо, очень глупый. У сарайчика старая женщина в солдатской шинели вешала кухонные полотенца. Она молча поклонилась Буженинову. Он взбежал по изгнившим ступеням на крыльцо, в темные сени, пропахшие плесенью и капустой, отыскал знакомую дверь, — рогожа на ней висела клочьями, — отворил ее, и в освещен-

ном пролете двери, ведущей из крошечной, с половичком, прихожей в низенькую столовую, где мещанским голосом щелкала канарейка, — увидел Надю.

На ней была нагольная овчинная куртка, короткая юбка, белая косынка.

— Что вам нужно, гражданин? — спросила она, нахмуривая бровки.

Он назвал ее по имени, — от волнения ничего больше не проговорил. У нее задрожали выпущенные из-под косынки локончики. Брови разъехались. Всплеснув руками, она подошла к Буженинову, и сейчас же не то изумление, не то жалость скользнули по ее хорошенькому личику.

— Вася, неужели ты? — спросила она тихо. Он поцеловал ее в холодноватую щеку. Прислонил к стене папки и ящик, размотал шарф, расстегнул крючки шинели, — пальцы его дрожали:

— А мама здорова?

— Мама сейчас спит.

— Ты собиралась куда-то уходить?

— На службу. Тебя чаем надо напоить. Я скажу Матрене.

Блеснув синими глазами, она убежала. Буженинов услышал ее голос на дворе, затем она прошла наискосок через улицу, выбирая, где ступить посуше, обернулась, морща нос от солнца, и юбка ее махнула за углом.

Василий Алексеевич перевел дух и сел у окна под клеткой, где шуршала семенем канарейка и снова, снова принималась от скуки нащелкивать все одну и ту же песенку про то, какая теперь Надя стала красивая, не подросток, а женщина, про то, какие у Нади тревожные глаза, кудрявые височки, как она махнула сейчас юбкой за углом. Птичий язык темен, всякий может толковать его по-своему. Буженинов глядел на пустырь, заборы, домишки, курил и вздыхал, как человек, осужденный на скверном полустанке ждать курьерского поезда... Он оглядывал комнату, — вот под этой висячей лампой он учился когда-то читать и писать. Вот пожелтевшая фотография: он — семи лет, Надя — девочка, и мать в шляпке с необыкновенно сердитым лицом. Вот, в шали и в тальме сморщенная бабушка, та, что колола спички. От окна до облезлого комода, где Надино зеркальце, пудреница и баночка с кремом «метаморфоза», — шагов пять. Смешно. А казалось — гораздо просторнее было дома. Под окнами — бутылки, в которые стекает с подоконника вода по шерстяной нитке. Да, механика устарелая. Много придется затратить сил, чтобы на этом убожестве вырос голубой город.

За стеной похрапывала мать. Затем вошла баба в шинели, поклонилась, сказала смирно: «С приездом, батюшка красавец». Накрыла стол, внесла знакомый, помятый, но страшно бойкий самовар. Василий Алексеевич пил чай, курил папиросы. Весь этот мещанский мирок был окутан волшебной песенкой канарейки. За облаками самоварного пара она пела Буженинову о несказанном будущем.

Подошвы касаются земли.

Василий Алексеевич был ужасно молод. Ну, что же: семнадцати лет влез в броневик, мчавшийся вниз по Тверской к площади Революции. Воевал три года. Потом — академия, чертежные столы, склеп на Донском кладбище, сны наяву о голубых городах. Житейского опыта не было ни на грош.

И вдруг фантастический бег времени остановился. Подошвы царапнули и стали на землю. Заскрипела калитка, спокойно заговорили буднишные голоса, запахло навозцем. Столетняя, лохматая ворона прилетела из неподвижного неба, села против окна на забор: «Карр, здравствуйте, Василий Алексеевич, что думаете прредпрррринять?».

Что же тут можно было предпринять? Вставать к одиннадцати часам, напиться чаю с топлеными сливками. Посидеть около глухой и слепой матери, которая все добивалась, — не большевик ли он, Вася. Потом — погулять до обеда, посидеть над рекой. К пяти — вернуться, скрипнув калиткой... Вытереть ноги о рогожку на крыльце... И у окна поджидать Надю, стараясь и виду не подать, что весь день он думал об этой радости: вот она прошла мимо окна, поширкала ботиночками о рогожку, звонко крикнула: «Матрена, собирай обедать». Вошла с неизменной фразой: «Фу, как устала». Повесила на гвоздь в прихожей полушубочек, оправила платье, подставила прохладную щеку для поцелуя.

— Как ты себя чувствуешь, лучше?

Матрена вносит чугун со щами. Надя говорит:

— Ты ешь, не стесняйся, тебе надо поправляться.

После обеда Надя исчезала либо к подруге, либо в синематограф, приглашенная «так, одним, ты его не знаешь». Василий Алексеевич садился в сумерках на диван под заклеванные мухами фотографии и грыз ногти, — другим чем-нибудь трудно было заняться, — Надя очень экономила керосин и просила возможно дольше не зажигать лампы. Курить пришлось бросить по двум причинам: для здоровья (Надя в первый же день сказала, что табак — вреден) и за полным отсутствием денег. Дом содержался на скудное Надино жалованье. Она говорила: «Просто в отчаяние можно притти, если ты, Вася, не начнешь скоро зарабатывать, посылать нам с мамой». Василий Алексеевич никак не мог забыть у Нади гримаски удивления и разочарования при первой встрече.

«Вид у меня паршивый, конечно, больной, зубы не в порядке, — раздумывал он в сумерках, — но разве это именно важно?.. Приятнее, если бы этакий молодчина ввалился в крепких сапогах, веселый, полон карман червонцев... Не было бы сразу разочарования... Ах, глупости, мелочи... К маю отъемся, зубы вылечу, — вот вам, Надежда Ивановна, и вид. Зато — ваши молодчики из синематографа городов строить не будут,—лобики малы».

Василий Алексеевич несколько раз пытался заговорить с Надей о своих работах, о перестройке Москвы по новому плану, о величии задач,

брошенных в человечество русской Революцией. Не было сомнения, — Надя поймет, оценит его, и весь житейский вздор, безденежье покажутся ничтожными.

Надя не уклонялась от разговоров, но едва он занесется, — у нее личико сделается озабоченное: «Ах, прости, Вася, совсем забыла... скоро приду»... И — нет ее, убежала со двора. И Буженинов опять сидит в темноте, старается привести мысли в порядок.

Однажды выручил дождь, — хлынул потопом. Надя поахала у окна, вздула лампу, села штопать чулки. Особенно хороши были у нее глаза, — голубые, покойные, с мягкими ресницами — темной каймой. Василий Алексеевич глядел в них, глядел, покуда не закружилась голова.

— Вот ты архитектор, Вася, скажи, — заговорила Надя, откусывая нитку на чулке, надетом на деревянную ложку, — неужели правда, за границей в каждом доме ванная? Вчера в синематографе видела, чудная фильма, Аста Нильсен каждый день берет ванную, моется. Правда ли это? Ведь соскучишься. — Она покачала головой, усмехнулась. — Со мной был один, ты его не знаешь, бывший военнопленный, так он рассказывал, будто в частных квартирах, за границей, все кровати под балдахинами. Вот выстрои такой дом в Москве. Прославишься. Хотя я что-то не верю. Я жизнь знаю по синематографу. Конечно, артисты в синематографе стараются показать себя в лучшем свете, а на самом деле все такие же, как у нас.

— Надя, — спросил Буженинов из темноты, с дивана, — скажи мне открыто, это очень важно... понимаешь, ты любишь кого-нибудь?..

Надя подняла брови. Штопальная игла остановилась. Надя вздохнула, и снова потянулась нитка.

— Вот что я тебе скажу, Вася... Какое там — любовь. Прожить бы.. О-хо-хо... Думаешь — выходят замуж оттого, что влюбилась? Это только в синематографе. Какое уж там — любовь. Встретишь человека случайно, посмотришь: если он чем-нибудь может улучшить твое положение — выбираешь его... Ко мне сватался один из Минска. Так мне захотелось в Минске побывать, все-таки — столица. Там, говорят, магазины, трехэтажные дома на главной улице... Едва не согласилась. Ну, а выяснилось, что он просто проходимец, ни из какого не из Минска.

— Нет, Надя, нет, ты комик, чудачка. Я тебя лучше знаю... Ты не можешь так говорить. У тебя это навеянное... Жизнь на самом деле прекрасна, увлекательна... Нужно строить, бороться, любить...

Буженинов проговорил до позднего часа, покуда хватило керосину в лампе. Надя слушала, откусывала нитки, опускала низко голову, улыбаясь. Прелесть молодой девушки, как весенний воздух, пьянила Василия Алексеевича. Заснул он, не раздеваясь, на диване, — камнем провалился в сладкую темноту. А на утро, — выглянул в окно, — сидит ворона, нахохлилась. Все тот же забор. Серое небо. На дороге ржавое ведро валяется. Ничего не изменилось за эту ночь. И от вчерашних разговоров осталась досада и недоумение.

Быт, нравы и прочее...

Мелочи жизни, сами по себе не стоящие внимания, стали принимать болезненные размеры в сознании Василия Алексеевича. Вот почему мы предлагаем пробежать эти строки. Они уясняют многое.

В городе заинтересовались Буженинихиным сыном. Пошли разные предположения. Конторщик Утевкин, говорят, даже побледнел, узнав о его приезде, и сказал более чем многозначительно:

— Ах, так... Ну, теперь мне все понятно.

Когда сутулая фигура Василия Алексеевича появлялась в дневные часы на улице Карла Маркса, упиравшейся в торговую площадь, — прохожие с ужасным любопытством оглядывали «академика». Даже милиционер благосклонно улыбнулся ему.

Однажды лавочник, Пикус, снял у дверей лавки защитного цвета картузик, — попросил зайти, и спросил контр-революционным шопотом:

— Ну, скажите, что в Москве? Как нэп? Говорят — безнадежно. Ужасное время. Мы катимся в пропасть. Я дошел до такого нервного расстройства, что по ночам кричу благим матом. Ну, очень рад познакомиться. А Надежда Ивановна вас-таки заждалась.

Пикус намекнул на то, о чем говорили по городу. В провинции не любят непонятного, причиняющего беспокойство фантазии. Действительно, за каким дьяволом было Буженинову тащиться в это захолустье? Ясное дело — приехал жениться. Но тут оказывались разные «ямки-канавки»: Буженинов разлетелся не на совсем свободное место, — так, по крайней мере, посмеивались.

В магазине у Пикуса с ним познакомился Сашок, румяный молодой человек в поддевке и плюшевом картузе, сын хлебного оптовика Жигалева. Стал расспрашивать о столице, о лекциях и кабарэ, о женщинах с Кузнецкого, и завел Василия Алексеевича в пивную «Ренессанс», во втором этаже, на площади.

Угощая папиросами, Сашок щурил смехом карие глаза, — плотный, смелый, со сросшимися бровями:

— Между прочим, Надежда Ивановна девушка — что надо. Заносится только зря. В наше время чересчур о себе много думать не приходится. Так-то, Василий Алексеевич. Новый быт идет, как говорится. Конечно, с ее внешностью — в Москву, на сцену, или машинисткой в крупный трест, — карьеру сделать можно. Но здесь...

Шевельнув бровями, Сашок бросил в рот моченую горошину, ухватил ее крепкими зубами, посмеялся...

— Да, здесь не практично с застывшей точкой зрения... Самое благоприятное: выйдет замуж — у мужа червонцев восемь жалованья, у самой — червонца три с половиной... Бесцветно... Или уж тогда, знаете, шла бы в комсомол. Что ж...

... сквозь густые ресницы он хитровато блеснул зрачками на Буженинова...

— ...это я пойму. А то ни два, ни полтора. Я вот в Англию собираюсь, между прочим, по папкиным делам. Предложил в виде шутки Надежде Ивановне попутчицей, вроде секретаря. Робеет, — что скажут. Это у нас-то испугаться общественного мнения. Смехотища.

Василий Алексеевич дико глядел на собеседника, — что такое он несет? За такие слова, в сущности, бить сейчас надо. Но Сашок, не задумываясь, перескочил на другую мысль, сыпал витиеватыми фразами:

— Одно скажу, как интеллигентному человеку: остерегайтесь Утевкина. Этот подлец на все способен. После того как Надежда Ивановна сделала ему поворот, он в эконом-отдел бегал, в ГПУ. Ну, что ж, знаете, глупо. Не произвел полового впечатления, и он бежит на девушку с доносом. Хорошо, что там его послали к сучке. Знаете, что он про вас сказал? — только что вы приехали, — «Буженинова, говорит, к нам выслали в административном порядке за некрасивые дела, но вопрос — долго ли он будет у нас на шее сидеть паразитом»... Фельетон, а не человек этот Утевкин... Кроме шуток, без политики, — долго думаете погостить?

— Не знаю. Должен лечиться. Нужен отдых.

— Венерическое заболевание какое-нибудь, конечно?

— Нервное переутомление, — сердито ответил Буженинов и застучал ногтями о жестяной подносик.

— Так вот оно что, хи-хи, — сказал Сашок и бойко пошел в уборную.

Буженинов хотел тоже уйти, но пиво отяжелило его, и он остался сидеть, угрюмо повесив голову. Дверь пивной поминутно теперь отворялась. День был базарный. Входили крестьяне, перекупщики, лавочники, мещане, заключившие мелкую сделку. За столиками журчали деловые разговоры, негромкие и бедные, как это серенькое небо над площадью, над рогожными палатками, над выпряженными возами, над грачиными гнездами в голых сучьях. Дым крепкой махорки колебался слоями по длинному помещению «Ренессанса». На досчатый пол натащили сапогами навозу с площади. Василию Алексеевичу представилось, что сидит он на дне глубочайшего колодца, и только пестрые плакаты Добролета, Доброхима, красный силуэт рабочего между красных труб на штукатуренной стене над головами чаепийц и курителей махорки напоминают о далекой, далекой Москве, где гремит жизнь.

Вернулся Сашок из уборной и сказал, кивнув на стойку:

— Из-за этой вон дамочки тоже у нас ноги кое-кому перешибли, дел двадцать в народном суде из-за нее разбиралось. Знаменитость.

Действительно, за стойкой лениво стояла полногрудая «дамочка» в ситцевом полосатом платье, широколицая, напудренная, с маленьким носиком, с гребенками в туго завитых волосах.

С ней разговаривал, навалясь локтем на стойку, низкорослый человек в черных брюках и в штатском френче. Длинный нос его только что заехал в блюдо с жареной печенкой, нюхнул из горшка с селедками.

— Пожалуй, съем,—сказал этот человек и поволоко поглядел на дамочку за стойкой, — положите мне печеночки и положите мне половину селедочки. Какую половину? А какую сами захотите,— хоть с хвоста, хоть с головы.

Он сел за столик, положил нога на ногу, закусил клыком папироску, прищурил глаз от дыма.

Дамочка небрежно поставила перед ним тарелки с печенкой и селедкой, отвернулась равнодушно. Но он пригласил:

— Садитесь, Раиса Павловна, за стол. Вы мне не помешаете, а даже наоборот.

Вместо ответа она выпятила нижнюю губу, стала поправлять гребенки.

— А я вчера в синематографе три сеанса высидел на «Молчи, грусть, молчи», — вы не изволили явиться, обидно.

Роковая дамочка дернула плечиком, ушла за стойку. Он оборотил к ней длинный свой волнистый нос и, вытаскивая из зубов селедочную косточку, сказал насмешливо:

— Ну-ка, сознайтесь, ведь я вас, все-таки, смутил немножко.

— Чем это вы меня смутили? — оставьте ваши подходы.

— Моими песнями, гражданочка,— и очень довольный, он изо всей силы принялся резать печонку. Сашок сказал Буженинову:

— Это Утевкин. Ухажер, первый фокстротист. У него расчет, что вы сестре про его фигли-мигли расскажете. А Надежда Ивановна с этой Раисой лютейшие враги, одного летчика в прошлом году не поделили.

К Сашке подошли двое неизвестных в романовских полушубках, забрызганных дорожной грязью, и они втроем отсели за соседний столик, совещаясь по хлебному делу. Буженинов вышел из пивной.

Ветер на площади покачивал баранки и связки вяленой рыбы в рогожных палатках, задирал ухо собачонке, сидевшей на возу с сеном. Визжал поросенок, которого мужик тащил за ногу из мешка. Крепко пахло соленым салом, дегтем, навозом. На сухом тротуаре, около кучи банных веников, сидела здоровенная баба в ватной юбке, и, повернувшись к площади голой спиной, искала вшей в рубашке. Седой человек в старом офицерском пальто с костяными пуговицами остановился, посмотрел бабе на спину и спросил уныло:

— Почем веники?

— Два миллиарда, — сердито ответила баба.

Вот старый еврей, тряся головой, молча тащил за шею гусенка из-под мышки у худого страшноглазого мужика. Гусенок был жалкий, со сломанным носом. Еврей скорбно осматривал лапки и крылья, дул ему в нос, давал цену. Мужик запрашивал:

— Это — гусь, его раскорми — кругом сало.

И тащил гусенка за шею к себе.

— Он и кушать не может, у него нос отломан, зачем мне такой гусь,— говорил еврей и опять тащил гусенка.

— У тебя нос отломан, — кричал мужик нутряным голосом, — ты гляди, как он жрет, — и он совал корку и гусенок жадно давился хлебом.

У телеги с глиняными горшками закричали две бабы, поссорясь. Милиционер с каменным лицом шел к ним не спеша, и бабы замолчали, уставились на красноголового, как крысы.

— В чем дело, гражданки, — пожалуйте в отделение.

Вот, почтенный старичок в очках, продавец львов из бумажного теста с зелеными рылами и расписных свистулек, не обращая внимания на суету и шум, читал книжицу. Перед его лотком стоял пьяный человек, перекинувший через плечо грязные валенки, видимо, принесенные на продажу, и повторял зловеще:

— Предметы роскоши — не дозволяются. Это мы сообщим кому нужно.

Василий Алексеевич обогнул по тротуару базарную площадь, миновал сад, где от рассвета до ночи неугомонно кричали грачи над гнездами, да на зазеленевшем лугу играла в мяч стайка мальчиков, и вышел на обрыв к реке.

Здесь он сел на скамейку и глядел на разлив, на полоски лесов вдали. Оттуда в вечереющем небе летели птицы. Мгла поднималась на широкой равнине над озерами, над полузатопленными деревнями.

Засунув руки между колен, сжав рот, Василий Алексеевич думал: «Вековая тоска, бедность, житье-бытье... Пивная с дамочкой, Утевкин, Сашка... Дрянные разговоры... Пристроились, приспособились... Утевкин фокстрот пляшет... Живут, живут... Зачем?.. Здесь, что ли, вырастет великое, прекрасное, новое племя»...

В это время какой-то человек сел рядом с Василием Алексеевичем. Снял очки, протер их, высморкался.

— А мы с вами были знакомы, товарищ Буженинов, — сказал он дружески.

Показания тов. Хотяинцева.

Во время производства следствия товарищ Хотяинцев рассказал о своей встрече с Бужениновым в сумерках на обрыве. (Хотяинцев находился в городе проездом по служебному делу.)

Показания его были таковы:

Следователь. Когда вы знали Буженинова?

Хотяинцев. В 21 году. Я был политруком в дивизии.

Следователь. Вы замечали за ним какие-нибудь странности, вспышки гнева, — словом, что-либо выходящее из нормы?

Хотяинцев. Нет. Он был на хорошем счету. Одно время работал в клубе в полку. О нем тепло отзывались товарищи.

Следователь. Тогда, при встрече на обрыве, вы также не заметили ничего особенного?

Хотяинцев. Мне показалось, что он был мрачен и возбужден. Мы поспорили.

Следователь. Его настроение носило личный характер, или причина его возбуждения была более общая, например, социальная неудовлетворенность?

Хотяинцев. Я думаю и то и другое. Он был удручен своим нездоровьем, невозможностью в ближайшее время продолжать ученье, работу. Кроме того, причины общего характера. Я был изумлен, когда услышал от него резкое и непримиримое отношение к той обстановке, куда он попал. Он начал разговор так, приблизительно:

«Помните, тов. Хотяинцев, работу в клубе, доклады, спектакли, концерты. Какие были ребята! Как все горели! Незабываемое, счастливое было время».

Мы стали вспоминать товарищей, походную жизнь. Горячо вспоминали. Он отвернулся и, как мне показалось, вытер глаза рукавом. «Упал я с коня, в грязь, в колею, полк ушел, а я сижу в грязище, — вот мне так представляется, — сказал он с большой горечью. — За один день сегодня такой гадости нахлебался — жить неохота. Мещанство. Житьишко. Семечки грызут за воротами. Да, да, товарищ Хотяинцев, отстучали копыта наших коней. Улетели великие года. Счастливы те, кто в земле догнивают»...

Я, помню, посмеялся тогда над ним. «Вы, говорю, товарищ Буженинов, стихи, что ли, пишете? Уж очень у вас жалобно выходит». Он мне тогда с еще бо́льшим напором:

«Взрыв нужен, сокрушающий... Огненной метлой весь мусор вымести. Тогда было против капиталистов да помещиков, а теперь против Утевкина... Я, говорит, вам расскажу, как Утевкин сегодня печенку ел». И стал в лицах представлять какого-то своего знакомого.

Я вижу, действительно, у него пошло на серьез. «Ваши, говорю ему, настроения, товарищ Буженинов, у нас под категорию подведены, это не ново, так рассуждать не годится. Пока вы в седле, в руках винтовка, за холмом зарево пылает, — этот час революции весь на нервах, на эмоциях, на восторге. Скачи, руби, кричи во весь голос, романтика. Взвился рыжий конь и понес. А вот впряги коня, скакуна в плуг, — трудно, полета нет, — будни, труд, пот. А, между тем, это и есть плоть революции, ее тело. А взрыв — только голова. Революция, это — целое бытие. От взятия Зимнего дворца до тридцати двух копеечек за аршин ситца. Вы представляете, какой это чудовищный размах, какой пафос должен быть, чтобы заставить боевого товарища с четырьмя орденами красного знамени торговать баранками на базаре, где ваш Утевкин печенку ел? Больше мужества нужно в конце концов эти баранки продавать, чем с клинком наголо пролететь в атаку. Мещанство метлой не выметешь — ни железной, ни огненной. Оно въедчивое. Его ситцем, и книгой, и клубом, и театром, и трактором нужно обрабатывать. Перевоспитать поколения. И пройдут мучительные года,

покуда у вашего Утевкина в голове не просветлеет. Для вас, поэтов, — если хотите — соглашусь, — наше время трагическое»...

Я старался говорить с ним на его же языке. Он молчал, вздыхал, и мне показалось, что я убедил его. Во всяком случае, прощаясь, он сказал:

«Спасибо. Если у меня хватит здоровья, мужества, силы, — постараюсь повоевать на мирном фронте. Вы правы, это — трагедия: войти в будни, раствориться в них не могу, и быть личностью, торчать одиноко тоже не могу».

За рекой.

Слякоть кончилась. Настали майские, лучезарные дни, по влажно-синему небу поплыли снежные горы с синеватыми днищами. В городе уже пылило из переулков, от заборов praванивало. Зато за рекой стало очень хорошо, — зелено.

Василий Алексеевич за эти недели отъелся, окреп, не сутулился больше. Чувствовал себя много спокойнее, не то, что раньше, когда кончики нервов раскалялись и трепетали при малейшем пустяке. Казалось, еще немного и прежнее здоровье вернется.

Тяжело было только безденежье. Хотя Надя и не намекала даже, но чувствовалось, что в доме сидит дармоед. Подавай ему и щи каждый день, и хлеб, и молоко, и сахар. Про дармоеда кричала однажды Матрена соседской стряпухе через забор.

Надя могла бы купить себе ситчику к весне на кофточку, а вот — не купила. Кофту съел Василий Алексеевич. Работы в городе достать было нельзя — все учреждения набиты, все говорили о сокращениях. Единственное разумное оказывалось не терять времени и готовить к осени зачеты. Василий Алексеевич с некоторым страхом начал работать. Надя похвалила.

— Я уже сказала на службе, что ты начал чертить, а то все смеются.

Поднимался Василий Алексеевич теперь на заре. Матрена во дворе давала ему умыться из ковшика: «Ты уж молочка-то выпей парного, я не скажу». Он садился за стол, за чертежи, почесывая босой ногой ногу, которую щекотали мухи. Он весь вдруг настораживался, когда за стеной просыпалась Надя. Обернув голову, раскрыв рот, стиснув карандаш, глядел на стену. И ловил себя на этом: «Фу, как глупо, неуместно». Когда в столовую входила Надя, умытая, свежая, с локончиками,— кровь у него начинала биться и прыгать, как розовая жидкость в стеклянной трубочке с шариком, что продают на вербах.

Он показывал ей проект вокзала. Надя кивала головой:

— Хорошо, мне нравится, Вася. Но уж очень как-то мало практично. Я люблю маленькие домики, с палисадником. Качели, на лужке — гном. Резеда, душистый горошек... Вот—моя мечта...

Василий Алексеевич не спорил, — улыбался. Он решил «открыть, наконец, ей глаза». Она должна увидеть голубой город. Глупо было о нем

рассказывать. Нужно показать. Она поймет. Дармоеда не зря кормили четыре недели.

Василий Алексеевич достал у матери из сундука холст, загрунтовал его и осторожно, не спеша, начал работать в часы, когда Надя на службе. Он закрывал глаза, и в воображении развертывалась перспектива уступчатых домов, цветочные ковры улиц, стеклянные купола, мосты — точно радуги над городом счастливого человечества.

Когда слишком уже горела голова от работы и дрожали руки, он прятал холст под диван, брал картуз и шел за реку, не замечая ни пыли, ни гнилых заборов, ни приветливо кланяющегося Пикуса в дверях лавки. На той стороне реки шагал некоторое время по низине в мокрой траве и ложился на зеленый пригорок, на спину, — скрещенные руки под голову.

Голубой свет неба лился в глаза, солнцем припекало щеку, на медовой метелке возилась пчела. Налетал ветер, шумя осинами, собирая с земли островатый запах трав, меда, влаги. Все это было очень хорошо. Глаза слипались, мягкий толчок блаженно потрясал тело, и вот он спал...

•

сверху вниз, как ночная птица, скользнул аэроплан, и женский голос оттуда крикнул: «Жду, приходи»... Прозвенел: «Жду!»... Наконец-то... И он идет по широким, блестящим лестницам уступчатого дома, — вверх, вниз, мимо зеркальных окон. За ними — ночь, прорезанная синеватыми мечами прожекторов. Мерцают светом изнутри круглые крыши... Огни, огни... Снова — лестница вниз. Он бежит, — захватывает дыхание. И вот, необъятная зала, посреди — бассейн. Тысячи юношей и девушек плавают, ныряют... Сверкают зубы, глаза, розовые руки... Он скользит по мраморному краю, ищет, всматривается, — где она, та, кто позвала?.. Милое, милое лицо... И он чувствует — синие глаза, вот, где-то сзади, где-то сбоку...

Василий Алексеевич приподнимался, садился на пригорке, дико оглядывая луга, разлив, осины, играющие с ветром, серенький городок за рекой. И лицо его, должно быть, в эти минуты пробуждения овеяно было светом фантастических огней.

Мелкие события.

В сумерки Василий Алексеевич проходил по переулку имени Марата. Через забор в щель кто-то крикнул ему страшным голосом:

— Мы тебя разнавозим!

И затопали ноги, убегая по пустырю.

Когда он пришел домой, Надя сидела у стола и сморкалась в свернутый шариком платочек, вытирала глаза. Она сердито отвернулась от Василия Алексеевича. Он пришипился на диване. Она заговорила:

— Как не понять, что ты меня компрометируешь... Бог знает, что говорят по городу. Сегодня эта дрянь, Раиса, заявляет, — нагло глядит на

меня, — вы, душечка, пополнели. Утевкин тот просто хамски стал держаться, едва здоровается. Хоть не живи... Очень тебе благодарна...

У нее припухли губы, висели волосы перед глазами. Василий Алексеевич, потрясенный, сказал тихо:

— Надя, я не понимаю.

Она обернулась и так поглядела покрасневшими глазами, что он сейчас же опустил голову:

— Я заранее знала, что ты так ответишь, — «не понимаю»... А чего ты понимаешь?.. Ходишь по городу, как лунатик... На базаре уж все знают, — вон жених пошел... Со смеху прямо катаются... Жених!

— Надя, мне казалось, что это само собой должно выйти...

— Что?.. Замуж, за тебя?.. В самом деле, не мешало бы тебе серьезно полечиться...

Надя оттолкнула тарелку с недоеденным, ушла к себе, легла. У Василия Алексеевича в голове качалась такая толкучка, что пришлось сидеть на крыльце. Голову стискивало свинцовым обручем, он прирастал к ступенькам, не решаясь кинуться к Наде, разбудить и сонной сказать: «Надя, люблю, Надя, страдаю, Надя, сжалься, хочу тебя... Гибну»... В темноте подходила собака, Шарик, нюхала Василию Алексеевичу коленку, и вдруг, царапая по земле лапами, завивалась и щелкала старыми зубами блох в задней ляшке. За низенькими крышами, за скворешнями разливался еще мертвенный, оранжевый свет зари. Небо было непроглядное. В холодке за плетнем у соседа шелестели листья. Разумеется, Василий Алексеевич ничего не решил и не понял в эту ночь.

На завтра он ждал продолжения разговоров. Но день прошел обычно,— жаркий, с мухами. Ветер гнал пыль по переулку. Надя появилась к обеду мимолетом: что-то укусила, в глаза не взглянула ни разу, убежала.

Томиться, ждать ее было невыносимо. И в первый раз Василия Алексеевича укололо сомнение, — здорово, как иголкой, запустило под мозговые извилины, — а куда, собственно говоря, Надя уходит каждый вечер? Он выскочил на двор, нагнув лоб, пошел на Матрену, — она колола лучинки.

— Куда Надя ушла?

— Милый, не знаю. Чай к Масловым, все к ним.

— Кто такие?

— Масловы-то? Лавошники. Раньше богатеи были, и теперь, слава богу, с достатком. Слетай, они не далеко.

Прежние сады Масловых тянулись версты на три вдоль реки. Теперь остался трудовой участок, огороженный новым забором, а где колючей проволокой, запутанной по зарослям акации. Около этих акаций Василий Алексеевич и остановился. Взялся руками за пояс, глядел в пыль.

Он очутился здесь в два прыжка: первый — на двор к Матрене, второй — к акациям. Промежуточного ничего не было. «Войду, и если она там, скажу, что...». В это время за акациями засмеялись. Он нагнулся и между стволами увидел Надю и какую-то полную, краснощекую девушку.

Они лежали на лужку, на одеяле, на ситцевых подушках. Перед ними стояла пожилая на низком ходу женщина, на руке держала платье,— видимо, портниха. Большие губы ее вытянулись, улыбались добродушно, глуповато. Краснощекая девушка проговорила, мотаясь по подушке:

— Ох, умереть. Так отчего же вы, Евдокия Ивановна, замуж не вышли?

— Порфирий Семеныч ужасно сколько раз умолял, плакался: «Евдокия Ивановна, измените ваше решение». Но я: Порфирий Семеныч, как я пойду замуж, когда я щекотки боюсь, не переношу.

— Ох, не могу... Ну, а он что же?

— Да что ж тут поделаешь, я —непреклонно. Ну, он с горя и присватался к Чуркиной, Настасье. Настасья—рада-радешенька, приданое справила, подвенечное платье сшила. Вот — свадьба, а вечером Порфирий Семеныч является к невесте пьяный, конечно, и все платье ей облювал подвенечное. Я, говорит, первую любовь не могу забыть...

Портниха насмешила и ушла. Девушки кисли от смеха и жары на подушках. Порыв предвечернего горячего ветра пронес над садом облако пыли. Краснощекая Зоя Маслова приподнялась и, оправляя голыми до плеч руками рассыпавшиеся волосы, сказала:

— Что же он не идет, в самом деле, дурак несчастный. — И опять легла, обняла Надю за талию. — Цыпочка моя, котинька, не обращай внимания, наплюй, — пусть языки чешут — кому не лень. Живи, заинька, как тебе подсказывает молодое сердце. Валяй во-всю — покуда валяется.

Она засмеялась и куснула Надю за шею:

— Старая будешь — так не заваляется, кукушечка.

Помолчав, повертев травинку, Надя ответила:

— Тебе хорошо с деньгами. А мне своим горбом старуху корми да этого блаженного. Надеялась, выписала — поможет, облегчит... Ужасное разочарование, Зоичка. И при этом влюбился в меня, можешь себе представить.

Зоя всплеснула руками. Надя продолжала сдержанно:

— Я решила, если отдамся человеку, то по законному браку, пусть обеспечит мне материальное существование. Тогда, может быть, в Москву поеду, в театральную школу.

— Вот и верно, — с горячностью крикнула Зоя, — у тебя, Надька, в голове зонтиком помешали. Найди сейчас богатого дурака — женится...— Сто раз тебе повторяла—Санька не может жениться, ему отец не велит, нельзя. Так ты весь век и просидишь вороной в переулке...

Зоя вдруг обернулась и толкнула Надю. К ним подходил Сашок в палевой, вышитой рубашке, в полосатых брюках, в желтых полуботинках. Под мышкой он держал гитару. Снял клетчатую кепку, — московской моды «комсомолка», — опустился перед девушками и поздоровался за руку:

— Томитесь, гражданочки?

— Во всяком случае, по вас меньше всего томимся,— бойко ответила Зоя, смехом прищурила глаза.

Надя оправила юбку на ногах, слегка выпятила нижние зубки. Сашок поглядел на небо, где снова пронеслась пыльная туча.

— Жарковито, гражданочки, и до чего эта температура может довести молодого мальчишку, — с ума сойти...

— А до чего довести, примерно? — спросила Зоя.

Сашок кивнул на Надю, мигнул, тронул струны гитары и запел в полголоса, хриповато:

Люблю измятого батиста
С ума сводящий аромат...

Между куплетами, на мотив «Алла верды», Сашок острил, говорил приговорочки, остро поглядывал на Надю. Когда музыка прискучила, все трое захватили одеяло и подушки и пошли пить чай.

Василий Алексеевич как присел тогда у акации, так одним глотком и проглотил эти ядовитые разговоры. Криво усмехаясь, он побрел к реке и там сел на глинистом обрыве.

Что случилось? Ничего не случилось. Как и в первые дни приезда, с ужасной остротой увидел, услышал мелочи жизни. Сегодня — ничего нового. Хотя, нет, эти выпяченные зубки, головка — на бок, голое плечико, будто нечаянно вылезающее из ситчика... Это — новое... И про «блаженного» — новое... Хотяинцев говорил: «Больше мужества — баранки продавать, чем с клинком наголо пролететь в атаку»... Мужество нужно, спокойствие, воля. А впечатлительным — смерть. Вздор, две девчонки и балбес с гитарой наплели вздору с три короба, так уж и мрак опустился на душу, и свинцовый обруч на голове... Хорош строитель. Вздор, вздор, с завтрашнего дня по двадцати часов работать, через две недели — в Москву...

Все же, если бы случайный прохожий со стороны посмотрел на Василия Алексеевича, ему бы представился сутулый, в выцветшей рубашке, с нечесаными, отросшими волосами молодой человек... Впавшие щеки, заострившийся длинный нос, лицо такое несчастное, что вот еще одно какое-то умозаключение сделает этот молодой человек и, полон противоречия, махнет с обрыва в речку...

Но этого не случилось. Когда за потускневшими лугами погасла заря и зажглись кое-где костры на покосе, Василий Алексеевич пошел домой. В переулке, имени Марата, со свистом мимо его носа пролетел камень, и опять чьи-то шаги, убегая, воровски затопали по пустырю.

Жаркие дни.

«Всего хотеть — хотелок не хватит», — говорила Надя. Она была очень благоразумна. Но дни становились все жарче, по ночам жгла даже простыня. И поневоле каждый день Надя попадала в сад к Масловым, на подушки под яблоню. Благоразумие было само по себе, а жаркий вечер, сухие пилочки

кузнечиков в скошенной траве, зацветшие липы да пчелы, истома под батистовым капотом (подарок Зои) и нахальный Сашка — все это было само по себе.

Лукаво шептала Зоя про свою «даже нестественно страстную любовь с молодым, женатым доктором». Надя крепилась, хотя подумает: «А ведь засасывает меня омут, июльские дни», — и не страшно.

Давно не помнили горожане такого пекла в конце июня. Деревья начали вянуть. На лугах за рекой стояла мгла. Говорят — горел хлеб. От сухости по ночам трещали стены. В учреждениях служащие пили воду, вялые, как вываренное мясо.

Буженинов заканчивал зачетные работы. От зари до сумерек в раскаленной комнате под жужжание мух он чертил, рисовал, красил, зубрил. Поддерживало его неимоверное напряжение. Полотно с планом голубого города он приколотил на стену и работал над ним в минуты отдыха. С каждым днем город казался ему совершеннее и прекраснее.

На будущей неделе он решил ехать в Москву. У матери оказались припрятанными три золотых десятирублевика ему на дорогу. («Возьми, Вася, берегла на похороны себе, да уж люди как-нибудь похоронят... Не говори Надьке-то».) И он, действительно, уехал бы, исхудавший, восторженный, в лихорадке фантазии и работы, если бы не толчок со стороны. Напряжение его неожиданное вырвалось по другому направлению.

Жизнь, по всей вероятности, не прощает уходящих от нее, — фантастов, мечтателей, восторженных. И цепляется за них и грубо толкает под бока: «Будя дремать, продери глаза, высоко занесся»...

Назвать это мудростью жизни — страшно. Законом — скорее. Физиологией. Жизнь, как злая, сырая баба, не любит верхоглядства. Мудрость в том, чтобы овладеть ею, посадить бабу в красный угол в порядке, в законе, — так, по крайней мере, объяснял в сумерки на обрыве товарищ Хотяинцев.

Случилось вот что. Надя, как всегда, в половина девятого, с портфелем, в белом платочке, заглянула перед службой в столовую, где лежал животом на столе Буженинов, равнодушно скользнула глазами по голубому городу, занимавшему половину стены, и молча вышла. Скрипнула калитка, и сейчас же послышался болезненный, негромкий крик Нади. Она побежала по сеням, рванула дверь и упала головой и локтями на стол между чертежами.

— Негодяй, негодяй! — закричала она, топая ногами и заплакала на голос. На дворе шумела Матрена, ругалась: «Ах, паршивцы, ах, разбойники»!

— Уезжай, слышишь, уезжай сию минуту от нас! — повторяла Надя сквозь слезы.

Оказалось, ворота в трех местах были измазаны дегтем и написано дегтем же, аршинными буквами, матерное слово. Матрена уже отвела во двор обе половинки ворот и смывала деготь щелоком. Надя на службу не

пошла, заперлась у себя. У Василия Алексеевича так тряслись руки, что он швырнул карандаш и попытался постучаться к Наде.

— Убирайся, ты один виноват в моем позоре, — еще злее крикнула Надя, — уезжай в свою Москву, дармоед блаженный...

Руки дрожали все сильнее. Дрожало, било тревожным пульсом в середине груди. Василий Алексеевич некоторое время стоял в комнате, мухи ползали по его лицу. Затем как-то так вышло, — он очутился на площади. (Опять из сознания выпал кусок.) Над ним в горячей мгле жгло белое солнце. На площади завился пыльный столб и шел кругом по сухому навозу. Василий Алексеевич глядел на окна «Ренессанса». Кое-какие посетители уже пили пиво. И вот, в окне из-за стены выдвинулся длинный, волнистый нос. За Буженииовым наблюдали.

Он стиснул зубы и взбежал по лестнице в трактир. Но волнистый нос исчез. Из-за стойки с ужасным любопытством глядела пышная, напудренная Раиса и ротик ее, как ниточка, усмехался многозначительно. Буженинов схватился за стойку и спросил (на следствии Раиса показывала: «заревел на меня, вращая глазами»).

— Был здесь Утевкин?

Раиса ответила, что — почем она знает, посетителей много.

— Врете! Это он, я знаю...

— Вы, гражданин, полегче кричите.

Но Буженинов уже опять стоял на площади под мглистым, раскаленным солнцем. Оглядывался. По горячей пыли бродили только сонные куры. Раиса видела, как он поднял кулаки к вискам и так, сжимая голову, зашагал к речке.

К вечеру его видели в лугах, сидящим на кургане. Там он и остался на ночь.

Из опроса Надежды Ивановны.

Следователь. Почему Буженинов был убежден, что ворота вымазал Утевкин и что им же брошен камень в переулке Марата?

Надя. Не знаю.

Следователь. А вы уверены, что это сделал Утевкин?

Надя. Кому же еще? Конечно, он.

Следователь. Какая была цель? Утевкин ревновал вас, что ли?

Надя. И это отчасти. Да, ревновал.

Следователь. Какие же у него были основания ревновать вас именно к Буженинову?

Надя. Над ним шутили... Александр Иванович (Жигалев) говорил мне как-то, что встретил Утевкина и смеялся над ним, будто Утевкин остался с носом... Я тогда рассердилась, но Жигалев успокоил, что все это только шутки...

Следователь. Жигалев, говоря Утевкину «с носом», имел в виду Буженинова, не себя, конечно?

Надя. Да.

Следователь. Стало быть, Утевкин был убежден, что вы живете с Бужениновым?

Надя. Я ни с кем не жила.

Следователь. Прошлое ваше показание было несколько иное.

Надя. Я ничего не знаю... Не помню... У меня все смешалось...

Следователь. Буженинов имел обыкновение носить при себе спички?

Надя. Нет, он не курил.

Следователь. Вы не можете указать, каким образом у Буженинова третьего июля оказались спички?

Надя. Когда он побежал — он схватил их с буфета.

Следователь. Вы это видели и помните, как он схватил спички? Это очень важный пункт в показаниях.

Надя. Да, да, вспоминаю... Дело в том, когда у нас испачкали ворота, на другой день, — мне было очень тяжело, — я пошла к Масловым. По дороге встречаю его... Глаза белые, ну, весь — ужасный. Подошел ко мне: «Ты куда?» — «Тебе какое дело, иду к подруге». Он: «Я им отомщу, я этот городишко сожгу»... И кулаком погрозил. Так что, когда он схватил спички, я вспомнила угрозу...

Следователь. Куда он пошел после этого?

Надя. Домой. Матрена подала ему щей. Рассказывала, он съел две ложки и не то задумался, не то заснул у стола. Потом пошел ко мне в комнату и рассматривал мою фотографию, лег даже на постель, но сейчас же вскочил и ушел.

Следователь. Это было в вечер убийства?

Надя. Да.

Следователь. Затем вы его видели, когда он вбежал, показывая окровавленные руки, и тогда же схватил спички?

Надя. Нет, не сейчас же... Я забыла...

Убийство Утевкина.

Повышенное настроение, напряженная работа, сборы в Москву,— все это оказалось чистым обманом.

Все его тощее тело, все помыслы жаждали Надю. Буженинов просыпался на заре с оглушающей, затаенной радостью. Весь день за работой радость пенилась в нем, и была так велика, так опьяняюща, что даже разговор, подслушанный в саду у Масловых, утонул в ней пылинкой. Какие мелочи, — ну, не любит, полюбит... Надя — еще не жившая, не раскрытая, ей еще не время.

По всей этой фантастике мазнули дегтем матерное слово. Он не сразу понял всего чудовищного смысла дегтя на воротах. Ночью в лугах, на ско-

шенном кургане, охватив голову, опущенную в колени, — он глядел закрытыми глазами на вереницы дней своей жизни. В нем поднималась обида, злая горечь, мщение.

Утром, возвращаясь из лугов, он увидел Надю у сада Масловых. Она показалась ему маленькой, пронзительно жалкой, — любовь, синие глазки! Он сильно взял ее за руку и зарычал, что отомстит. Она не поняла, испугалась.

Дома перед тарелкой со щами он думал о мщении. Мысли обрывались, было слишком много передумано за ночь. Он пошел к матери, но она скучно похрапывала в духоте с занавешанным окошком. Тогда, как вор, он прокрался в Надину комнату, схватил ее фотографию с комода и в нем все сотряслось. Он даже прилег на минуту, но сейчас же вскочил и вышел из дома. Военным движением подтянул пояс. Теперь он был спокоен. Оперативное задание дано, — мысли работали по рельсам: точно, ясно.

В переулке Марата он перелез через забор и пошел по пустырю, заросшему между ямами и кучами щебня высокой лебедой. Он пересек едва заметную в бурьяне тропинку, сказал: «Ага», и свернул по ней к развалинам кирпичного сарая.

Было уже темно. Лунная ночь еще не начиналась. Буженинов обогнул развалины и шагах в пятидесяти увидел два освещенные окошка деревянного домика, выходившего задом на пустырь. Свет падал на кучу щебня, ржавого мусора, битой посуды. Буженинов обогнул ее и в окне увидел Утевкина, набивавшего папиросы, — видимо, он куда-то спешил. Он был в фуражке с чиновничьим околышем без кокарды и с парусиновым верхом. Губы его, помогавшие набиванию папирос, улыбались под волнистым, большим носом, с угла на угол ходила самодовольная усмешечка.

Утевкин ловко заворачивал кончики набитых папирос, укладывал их в портсигар, последнюю — закурил от лампы, поправил фуражку, взял тросточку со стола, взмахнул ею и дунул в пузырь лампы.

Буженинов отскочил от погасших окон, кинулся за угол дома, — забор был выше роста... Кинулся направо — забор... За ним бойко простучали шаги Утевкина.

Впоследствии, на допросе, Буженинов с чрезвычайным старанием припоминал все подробности этой ночи. Он оборвал показания, изумился, пришел в крайнее волнение от простого вопроса следователя: «Какие реальные данные были у него, Буженинова, чтобы предполагать, что именно Утевкин вымазал ворота? Уверенность только?»

— Если бы вы сами видели, как он набивал папиросы, усмехался... Ну, конечно, он... Нет, вы меня не собьете, тов. следователь... Три года воевать, чтобы увидеть, как Утевкин в фуражечке стоит... Нет, нет... Какие там реальные данные... Он во все время гражданской войны у себя на пустыре отсиживался, и теперь мажет ворота, папиросы набивает... Не только я уверился, что это он, но просто увидел, как он тогда подхихикивал, когда мазал... Я побежал вдоль забора, перелез на ту сторону улицы. Утевкина — не видно. Я был в «Ренессансе», на бульваре, в городском

саду — нигде его нет... Тов. следователь, преступление мое заранее обдумано... Там, где начали мостить площадь, я выбрал из кучи булыжник, и с этим оружием искал Утевкина...

Буженинов появлялся в разных частях города. К некоторым обывателям, носившим белые фуражки, он подходил с таким странным видом, что они в ужасе отшатывались, и долго ворчали, глядя на сутулую, с прилипшей рубашкой, спину убегавшего «академика».

Ночь посветлела: за лугами из июльской мглы взошла половинка луны, в городе легли невеселые тени от крыш. Наконец, Буженинов нашел Утевкина. Тот стоял у сада Масловых, — фуражка на затылке, задом упирался на трость... Рот у него был раскрыт, будто он подавился...

— Ну, и чепуха, — в величайшем удивлении проговорил Утевкин не то самому себе, не то Буженинову, подходившему (в лунной тени от акации) со стиснутыми зубами, с отведенной за спину рукой,— ну и, стерва эта Надька... А я-то дурак, ах, трах-тарарах... А с ней Сашка оказывается, очень просто, голяшки заворачивает...

Буженинов резко кинулся вперед и со всей силой ударил Утевкина камнем в висок...

Коробка спичек.

В этот день Сашок ездил по отцовским делам в уезд и появился в саду у Масловых поздно. Весь он был еще горячий от полевого солнца, обгоревший и веселый. Карманы у него были набиты стрючками, горохом, уворованным по дороге.

В саду под яблоней на подушках лежала одна Надя. От огорчений этого дня, истоменная духотой, вся влажная, растревоженная, она заснула, подсунув ладонь под щеку. Такою ее нашел Сашок, — очень мила, конфеточка... Он подкрался, отвел у Нади локон с лица и поцеловал ее в губы.

Надя ничего сначала не разобрала, раскрыла глаза и ахнула. Но куда уж там благоразумие. Руки не согнуть,—такая истома. От Сашки пахло дорожной полынью, колосьями, свежим горохом. Он прилег рядом и зашептал в ухо про сладкие вещи.

Надя покачивала головой, — только и было ее сопротивления. Да и к чему,— все равно уж опозорена на весь город... А Сашка шептал что-то насчет Гамбурга, модных платьев... Про шелковые чулки бормотал в ухо, проклятый. Он уж и руку положил Наде на бочок.

В это как раз время голос Утевкина из-под акации проговорил:

— Ах, трах-тарарах!

Надя взвизгнула, побежала. Сашок догнал ее, стал божиться, что женится. Она дрожала, как мышь. И они не слышали ни короткого разговора Утевкина с Бужениновым, ни удара, ни вскрика, ни возни.

Надя повторяла:

— Пустите, да пустите же, мне нужно домой.

Сашок сказал многозначительно:

— Домой, ну хорошо, — и отпустил ее вспотевшие руки. Надя ушла, но не переулками, как обычно, а обходом через выгон, где под луной чернели тени холмиков давно заброшенного кладбища. Сашок следовал за ней издали.

Дома Василия Алексеевича не было. Матрена спала на погребице. Надя заперлась у себя на крючок, разделась и сидела на кровати, — кулачками подперев подбородок. Странный свет от половинки луны падал через окно. Надя смотрела на крючок, и легкая дрожь, не переставая, пробегала по спине. Не напрасно смеялись по городу, что у нее «в голове помешали зонтиком».

Через небольшое время скрипнула калитка. Потрогали дверь в сенях, вошли. Надя проворчала:

— Не пущу.

В ее дверь поскребли ногтем.

— Нельзя же, — прошептала Надя. Сашкин палец просунулся в щель, нащупал крючок и поднял его. Надя только прошевелила губами. Вошел Сашок, лунный свет упал ему на белые, большие зубы. Он молча, живо присел рядом на кровать и Надя ртом почувствовала костяной холодок этих зубов.

Сашок был ловок обращаться с девушками. Вдруг руки его быстро расжались, он откачнулся в сторону. Надя раскрыла глаза и задохнулась от испуга, — в дверях стоял Буженинов... глаза без зрачков, руками схватился за косяки, руки — в темных пятнах, в пятнах — рубаха. Сашок, головой вперед, молча кинулся на Буженинова, сбил его с ног и выскочил на двор, — бухнул калиткой. Все это — в несколько секунд. Надя нырнула под одеяло, сжалась в комочек. Что-то кричали, топали, — она под одеялом, под подушкой зажмурилась, заткнула уши.

Вопрос, которому следователь придавал важное значение: — когда и при каких обстоятельствах у некурившего Буженинова появилась в кармане коробка спичек, — оставался темным. Сам Буженинов отвечал и так и этак, — из памяти выпала мелочь. Хотя он хорошо помнил половинку луны — низко в окошке — в Надиной комнате... Надю и Жигалева в густой тени на постели. (Он даже не сразу и сообразил — кто на постели.) Помнил, как закричал: «Я убил Утевкина». (Ни Надя, ни Сашок этого не слыхали.) Он не мог оторвать рук от косяков двери и, затем, опрокинулся навзничь, сбитый Сашкиной головой — в живот. Он помнил даже, как пронеслось в мозгу слово «осквернитель», и оно-то и кинуло его к дальнейшим неистовствам.

Видимо, он не сразу выбрался из темного, заставленного скарбом коридорчика. Он что-то ломал и швырял, покуда не выскочил в кухню. В темноте зажужжали разбуженные мухи. Он ударился коленом об угол плиты и ощупью схватил небольшой утюжок. Когда почувствовал в руке

тяжесть — выругался матерно и выбежал на улицу. Когда бежал, — помнит отчетливо, — в кармане были спички: постукивали в коробке.

Следователь. Вы утверждаете, что до того момента, когда вы с утюгом преследовали Жигалева, у вас не было мысли о пожаре?

Буженинов. Может быть, я и говорил раньше: «Хорошо бы этот городишко сжечь», наверно говорил...

Следователь. Значит, и раньше ваши мысли вертелись около пожара?

Буженинов. Я очень страдал от внутреннего разлада, то-есть разлада между собой и обстановкой, куда попал. Мои навыки были только одни — война. Я мыслил, как боец: негодное—смести. Но после разговора с тов. Хотяинцевым я успокоился. Начал работать, стремился подавить себя. Это мне удалось. Если бы тогда сказали: «Перестань существовать, так нужно обществу, революции, будущему», — я бы не дрогнул... Но меня поймали на удочку.

Следователь. Яснее.

Буженинов. Можно подавить в себе страх смерти, честолюбие, жажду жить... Животное благополучие... Все, что хотите... Воля верховодит надо всем... Я доказал это моею жизнью, тов. следователь. Но сколько бы я ни хотел — сердце мое будет биться так, как само хочет... Жизнь моего тела, вся до последних тайн, — не подвластна мне... Когда мне вырывают сердце с жилами, — все летит к чорту... Вы спрашиваете — на какой я попался крючок?.. Любовь... На то, что мне не подвластно. Взбунтовались во мне соки жизни. Не знаю уж, какие там железы, какие токсины отравили мой мозг... Может быть, и так... Не знаю, я не физиолог... От меня отдирали с кровью, с мясом женщину, которую я любил, я даже не сознавал, как хотел ее. Начался бунт, я уже не управлял собой. Я ударил камнем Утевкина и почувствовал облегчение. Не знаю, правду ли пишут поэты про любовь,— того я не испытывал. Я горел три года в гражданской войне... Я горел и мучился два года в институте, — видел во сне голубые города... Может быть, это была тоже любовь... Не знаю... Но когда камень вонзился Утевкину в висок — мне на минуту стало легко... Если это — любовь, это — от любви, тогда будь она проклята. Простите, тов. следователь, вы все хотите допытаться, откуда у меня в кармане очутились спички... Так вот, когда я увидел то, что происходило в комнате у Надежды Ивановны, — не знаю, как вам рассказать: в глазах у меня все заплясало, в глазах стало красно... И когда я с утюгом бежал за Сашкой, за осквернителем, и услышал, как дребезжат спички, этот красный свет превратился в мысль—сжечь, все, сию минуту... Ах, да, вы все про спички... Чорт их знает, откуда они завелись... Должно быть, на дороге поднял... Когда он упал, рука отлетела, и в руке была коробка спичек. Я схватил. Зачем? Зажег спичку и смотрел ему в лицо, долго смотрел, пока не обгсрели пальцы...

Следователь. Итак, вы утверждаете, что подняли спички на дороге с целью осветить лицо убитого вами Утевкина, — показание

весьма существенно, — и что заранее обдуманного намерения поджечь город у вас не было? Так?

Буженинов. Видите ли, тов. следователь, все это частности. Теперь я думаю, что так или иначе — катастрофы было не избежать. Не Утевкин, так — другой... Не пожар, так что-нибудь другое... Судите по существу, судите меня, а не какие-то там случайные поступки.

Следователь. — Это вы будете говорить на суде. Теперь я прошу рассказать, что произошло с того момента, как вы выбежали из дома, держа в руке вот этот утюжок...

Ночь третьего на четвертое июля.

Рассказ Буженинова запутан и противоречив. Беспомощны его попытки обосновать свое поведение. Здесь все нелогично. Он выбегает из ворот, размахивая утюжком, и уже через тридцать шагов не думает больше об осквернителе. Он во власти нового, огромного желания. Страсть в нем набегает волнами, покрывающими одна другую, все плотины прорваны, — теперь все возможно. Это начинается от мысли о спичках.

Буженинов останавливается с разбегу. Он даже завертелся в пыли на дороге, и, насколько можно было разглядеть при неясном освещении, широко оскалился.

Луна в это время закатывалась в конце переулка. Желтоватый, над самой землей, свет ее падал на Сашку Жигалева, стоявшего на перекрестке, шагах в тридцати от дома. Тогда мысли Буженинова снова вернулись к осквернителю, и он стал подходить к нему, но уже не с гневом, а скорее с каким-то диким любопытством.

Сашка был очень зол, и, когда увидал у Буженинова утюжок,— решил расправиться без пощады. Он первый кинулся на Буженинова, свернул ему руку, вырвал и швырнул в сторону утюжок, и так плотно въехал Василию Алексеевичу кулаком в глаз, что тот зашатался.

— Не лезь не в свою кашу, сопляк проклятый, выкидыш, здесь все равно тебе не жить, — сказал Сашка и вторым ударом сбил Буженинова с ног. После чего пошел по переулку, не оглядываясь.

Василий Алексеевич на секунду потерял сознание от чугунного кулака. Но сейчас же приподнялся на руках и глядел, как в узком переулке, между двумя глянцевитыми заборами, по длинным теням от репейников уходила черная Сашкина фигура, застилая луну. Поднимался ветер порывами, душный, как из печки, — бросил Василию Алексеевичу в лицо пыль и мусор. За рекой в непроглядной тьме мигнуло белое око молнии. Сашка обернулся и погрозил кулаком. Тогда Василий Алексеевич, прикрыв ладонью разбитый глаз, пошел за Сашкой по направлению к площади.

Это было опять-таки совершенно бессмысленно. (Следователю он объяснил так: «Если бы у меня обе ноги были переломаны — и тогда бы пополз за Сашкой».) Ветер усилился. Зловеще, по-грозовому, в темноте

зашумели деревья. Облако пыли закутало переулок. Сашка скрылся по направлению к площади.

На завтра предстоял большой базарный день. Множество палаток с вечера уже было разбито вдоль городского сада, где махали ветвями, грачиными гнездами, гнулись вековые тополя. Ближе к реке стояли воза с сеном. Пыль, сено и листья крутились над площадью.

Буженинов опять увидал Сашку на тротуаре под освещенными окнами «Ренессанса». Несколько человек, в том числе два милиционера, о чем-то с ним возбужденно разговаривали. «Это он Утевкина убил, — долетел Сашкин голос, — я его сейчас видел, у него вся рубашка в крови». Люди зашумели. Из окошек трактира высовывались головы любопытных, прикрываясь от пыли. Снова облако закрыло и людей и трактир.

Несколько секунд Буженинов стоял за углом. Быстро соображал, оценивал обстановку. История с Сашкой снова покрылась волной неистового желания. Он стучал зубами от нетерпения. Сквозь пыль багровая молния упала за речкой. Раскололось небо от грохота. Буженинов, нагнувшись, побежал через площадь к возам с сеном. В спину ему затрещали свистки. Ветер кинул обрывки голосов: «Вот он... Лови... Лови»... Пронеслось над головой, должно быть, грачиное гнездо. «Ну, и буря, гнезда летят»,—мелькнуло в сознании. Он нырнул между возами, продираясь рвал руками сено, лез под телегами. Присел, слушал, придерживая сердце... Справа — слева верещали свистки. Голосов было все больше... «Здесь он... не уйдет... шарь под телегой... сюда, ребята... забегай»... Должно быть, весь трактир кинулся в погоню, рыскал, порскал, шарил между возами.

Тогда Буженинов чиркнул спичку и сунул в сено. Загорелось несколько невинных стебельков и сухой листочек. Буженинов коротко вздохнул, протиснулся несколько дальше и справа и слева от себя поджег сено. Подполз под телегами до наветренной стороны, где кончались воза, и там сунул в сено последний пучок спичек.

Между возами повалил белый дым. Буженинов отбежал, обернулся. Вырвалось пламя. Завыли голоса преследующих. В трех местах сразу поднялись огненные шапки. Ветер примял их, разнес, и огромным столбом красного огня занялись десятки возов. Огонь бросался в тьму бешено летящего ветра и развеивался. Искры, пучки горящего сена полетели над городом. Забил набат. Осветились размахивающие вершинами деревья и туча грачей над ними.

Буженинов стоял на скамейке, на бульваре над обрывом, и глядел на то, что сделал. По городу уже в нескольких местах выбросилось пламя. Деревянные крыши, заборы, одинокие деревья, скворешни выступали все яснее из темноты, заливались диким светом. По всей торговой площади плясало пламя. Как живые шевелились, пылая, лотки и палатки, свертывались, падали. Сквозь крышу «Ренессанса» просвечивали раскаленными угольями стропила. Густой дым валил от пожарной каланчи.

По бульвару бежали женщины с узлами, плачущие дети. На Буженинова не обращали внимания. Дурным голосом кричала женщина, плача,

упала на землю. Пробежал, подняв руки, бородатый человек в подштанниках. Кого-то пронесли, положили под деревом. Все это проходило перед глазами Василия Алексеевича будто не настоящее, будто его фантазия, будто цветные картинки на полотне синематографа. Несомненно, ум его в эти минуты помутился.

Город пылал теперь целыми кварталами. Бульвар опустел, — здесь от жара нельзя было оставаться. Но Буженинов стоял на скамье и глядел.

•

Во всех показаниях Буженинова в этом месте — провал, пустота. Он ничего не может вспомнить, кроме мучительного чувства какой-то боли в мозгу при виде телеграфного столба, с висящими по обеим сторонам проволоками, на площади среди догорающих балаганов.

Им овладевает настойчивая идея. Трудно понять, как он мог пробраться через пылающие кварталы к своему дому. Здесь он помнит, как влез через окно в столовую и сорвал со стены план голубого города. Крыша дома уже пылала.

Через выгон и старое кладбище он вернулся на бульвар. Это было уже под утро. Вместо базарной площади — широко кругом дымилось черное пожарище, торчали обгорелые трубы, валялись листы железа, и одиноко над пеплом стоял телеграфный столб с повисшими проволоками.

— Тов. следователь, уверяю вас, — в эту минуту меня охватило чувство восторга и острой печали, я был один среди пустыни. Страшное ощущение себя, личного, своего Я, — этой буквы, стоящей лапками на горячих угольках и круглым завитком — в тучах, в утренней заре. Иногда теперь мне жутко сознавать: всегда казалось, что себя утверждаешь в творчестве, в созидании... Я же, вы видите, — в чем... Или я чего-то не понимаю?.. Винта у меня какого-то нет?.. Или живу я в иное время, — неизведанное, незнакомое, дикое?.. Или прав тов. Хотяинцев?.. Не знаю... Но я честно вам все рассказал... А план голубого города я должен был утвердить на пожарище, — поставить точку...

Держа полотнище в зубах, Буженинов полез на столб, но сорвался и потерял сознание. Дальнейшее известно. Следствие по этому беспримерному делу закончено.

Буженинов, Василий Алексеевич, предстает перед народным судом.

История моей голубятни [1].

И. Бабель.

М. Горькому.

В детстве я очень хотел иметь голубятню. Во всю жизнь у меня не было желания сильнее. Мне было девять лет, когда отец посулил дать денег на покупку тесу и трех пар голубей. Тогда шел тысяча девятьсот четвертый год. Я готовился к экзамену в приготовительный класс Николаевской гимназии. Родные мои жили в городе Николаеве Херсонской губернии. Этой губернии больше нет, наш город отошел к Одесскому району. Мне было девять лет всего, и я боялся экзаменов. Теперь, после двух десятилетий, очень трудно сказать, как ужасно я их боялся. По обоим предметам — по русскому и по арифметике — мне нельзя было получить меньше пяти. Процентная норма была трудна в нашей гимназии, всего пять процентов. Из сорока мальчиков только два еврея могли поступить в приготовительный класс. Учителя спрашивали этих мальчиков хитро; никого больше не спрашивали так замысловато, как нас. Поэтому отец, обещая купить голубей, требовал двух пятерок с крестами. Он совсем истерзал меня, я впал в нескончаемый странный сон наяву, в длинный детский сон отчаяния и пошел на экзамен в этом сне и все же выдержал лучше других.

Я был способен к наукам. Учителя, хоть они и хитрили, не могли отнять у меня ума и жадной памяти. Я был способен к наукам и получил две пятерки. Но потом все изменилось. Харитон Эфрусси, торговец хлебом, экспортировавший пшеницу в Марсель, дал за своего сына взятку в пятьсот рублей, мне поставили пять с минусом вместо пяти, и тогда по закону приняли маленького Эфрусси. Отец мой очень убивался тогда. С шести лет он обучал меня всем наукам, каким только можно было. Случай с минусом привел его к отчаянию. Он хотел побить Эфрусси или подослать двух человек с рынка, чтобы они побили Эфрусси, но мать отговорила его от дурных мыслей, и я стал готовиться к другому экзамену, в будущем году, в первый класс. У меня за спиной родные подбили учителя, чтобы он в один год прошел со мною курс приготовительного и первого классов

[1]) Данный рассказ является началом автобиографической повести.

сразу, и так как мы во всем отчаивались, то я выучил наизусть три книги. Эти книги были: грамматика Смирновского, задачник Евтушевского и учебник начальной русской истории Пуцыковича. По этим книгам дети не учатся больше, но я выучил их наизусть, от строки до строки, и в следующем году на экзамене из русского языка получил у учителя Караваева недосягаемые пять с крестом. Небольшой наш город долго шептался о необыкновенной моей удаче, и отец был так жалко горд ею, что мне непереносимо становилось думать о суетливой, переменчивой его жизни и о том, что он поддается так бессильно всем переменам и только радуется на них или слабеет.

Учитель Караваев был по мне лучше отца. Караваев был румяный негодующий человек из московских студентов. Ему едва ли исполнилось тридцать лет. На мужественных его щеках цвел румянец, как у крестьянских ребят, не работающих тяжелой работы, не противная бородавка сидела у него на щеке, из нее рос пучек пепельных кошачьих волос. Кроме Караваева на экзамене присутствовал помощник попечителя Пятницкий, считавшийся важным лицом в гимназии и во всей губернии. Помощник попечителя спросил меня на экзамене о Петре Первом, я испытал тогда чувство забвения, чувство близости конца и бездны, сухой бездны, выложенной восторгом и отчаянием.

О Петре Великом я знал наизусть из книжки Пуцыковича и стихи Пушкина. Я навзрыд сказал эти стихи, цветистые человечьи лица покатились вдруг в мои глаза и перемешались там, как карты из новой колоды. Они тасовались на дне моих глаз, и в эти мгновенья, дрожа, выпрямляясь, торопясь, я кричал Пушкинские строфы изо всех сил. Я кричал их долго, никто не прерывал безумного моего визга, захлебывания, бормотания. Сквозь багровую слепоту, сквозь неистовую свободу, овладевшую мной, я видел только старое склоненное лицо Пятницкого с посеребренной бородой. Он не прерывал меня и только сказал Караваеву, ликовавшему за меня и за Пушкина:

— Какая нация, — прошептал старик, — жидки ваши, в них дьявол сидит...

И когда я замолчал, он сказал:

— Хорошо, ступай, мой дружок...

Я вышел из класса в коридор и там, в коридоре, прислонившись к набеленной стене, стал просыпаться от судороги загнанных моих снов. Русские мальчики играли вокруг меня, гимназический колокол висел неподалеку над пролетом казенной лестницы, маленький сторож дремал на продавленном стуле. Я смотрел на сторожа и просыпался. Дети подбирались ко мне со всех сторон. Они хотели щелкнуть меня или просто поиграть, но в коридоре показался вдруг Пятницкий. Миновав меня, он приостановился на мгновение и сюртук трудной медленной волной пошел по его спине. Я увидел смятение на просторной этой, мясистой, барской спине и двинулся к старику.

— Дети, — сказал он тогда гимназистикам, — не трогайте этого мальчика, — и положил жирную нежную руку на мое плечо.

— Дружок мой, — обернулся Пятницкий, помощник попечителя, — передай отцу, что ты принят в первый класс.

Пышная звезда блеснула у него на груди, ордена зазвенели у лацкана, и большое черное мундирное его тело стало уходить на прямых ногах. Оно стиснуто было сумрачными стенами, оно двигалось в них, как движется барка в глубоком канале, и исчезло в дверях директорского кабинета. Маленький служитель понес ему чай с торжественным шумом, а я побежал домой, в лавку.

В лавке нашей, полон сомнения, сидел и скребся мужик-покупатель. Увидев меня, отец бросил мужика и, не колеблясь, поверил моему рассказу. Он закричал подмастерью закрывать лавку и бросился на Соборную улицу покупать мне шапку с гербом. Бедная мать едва отодрала меня от помешавшегося этого человека. Мать была бледна в ту минуту и испытывала судьбу. Она гладила меня и с отвращением отталкивала. Она сказала, что обо всех принятых в гимназию бывает объявление в газетах и что бог нас покарает, и люди над нами посмеются, если мы купим форменную одежду раньше времени. Мать была бледна, она испытывала судьбу в моих глазах и смотрела на меня с горькой жалостью как на калечку, потому что одна она знала, как несчастлива наша семья.

Все мужчины в нашем роду были доверчивы к людям и скоры на необдуманные поступки, нам ни в чем не было счастья. Мой дед был раввином когда-то в Белой Церкви, его прогнали оттуда за кощунство, и он с шумом, очень скудно, прожил еще сорок лет, изучал иностранные языки и стал сходить с ума на восьмидесятом году жизни. Дядька мой Лев, брат отца, учился в Воложинском ешиботе, в 1892 году он бежал от солдатчины и похитил дочь интенданта, служившего в Киевском военном округе. Дядька Лев увез эту женщину в Калифорнию, в Лос-Анжелос, бросил ее там и умер в дурном доме среди негров и малайцев. Американская полиция прислала нам после его смерти наследство из Лос-Анжелоса — большой сундук, окованный коричневыми железными обручами. В этом сундуке были гири от гимнастики, пряди женских волос, дедовский талес, хлысты с золочеными набалдашниками и цветочный чай в шкатулках, отделанных дешевыми жемчугами. Изо всей семьи оставались только безумный дядя Симон, живший в Одессе, мой отец и я. Но отец мой был невыразимо доверчив к людям, он обижал их восторгами своей первой любви; люди не прощали ему этого и обманывали. Отец верил поэтому, что жизнью его управляет злобная судьба, необъяснимое существо, преследующее его и во всем на него непохожее. И вот только один я оставался у моей матери из всей нашей семьи. Как все евреи, я был мал ростом, хил и страдал от ученья головными болями. Все это видела Рахиль, моя мать, которая никогда не бывала ослеплена нищенской гордостью своего мужа и непонятной его верой в то, что древняя наша семья станет когда-нибудь сильнее и величественнее других людей на земле. Она не ждала для нас удачи, она

не хотела новой форменной блузы и только позволила мне сняться у фотографа для большого портрета. И все же нам пришлось купить шапку с гербом.

Двадцатого сентября тысяча девятьсот пятого года в гимназии вывешен был список поступивших в первый класс. В таблице упоминалось и мое имя. Вся родня наша ходила смотреть на эту бумажку, и даже Шойл, мой двоюродный дед, пришел в гимназию. Я любил хвастливого этого старика за то, что он торговал рыбой на рынке. Толстые его руки были всегда влажны, покрыты рыбьей чешуей и воняли холодными прекрасными мирами. Шойл отличался этим от обыкновенных людей и еще лживыми историями, которые он рассказывал о польском восстании 1861 г. В давние времена Шойл был корчмарем в Сквире; он видел, как солдаты Николая Первого расстреливали графа Годлевского и других польских инсургентов. Может быть, он и не видел этого. Теперь-то я знаю, что Шойл был всего только старый неуч и наивный лгун, но побасенки его не забыты мной, они были очень хороши. И вот даже глупый Шойл пришел в гимназию прочитать таблицу с моим именем и вечером, не боясь никого, не боясь того, что никто в свете его не любит, плясал и топал на нашем нищем балу.

Отец устроил бал на радостях и позвал товарищей своих — торговцев зерном, маклеров по продаже имений и вояжеров, продававших в нашей округе сельско-хозяйственные машины. Вояжеры эти продавали машины всякому человеку. Мужики и помещики боялись их, от них нельзя было отделаться, не купив чего-нибудь. Изо всех евреев вояжеры самые бывалые веселые люди. На нашем вечере они пели хасидские песни, состоявшие всего из трех слов, но певшиеся очень долго, со множеством смешных интонаций. Трогательную прелесть этих интонаций может узнать только тот, кому приходилось встречать Пасху у хасидов или кто бывал на Волыни в их шумных синагогах. Кроме вояжеров к нам пришел старый Либерман, обучавший меня Торе и древне-еврейскому языку. Его называли у нас мосье Либерман. Он выпил бессарабского вина поболее, чем ему было надо, шелковые традиционные шнурки вылезли из-под красной его жилетки, и он произнес на древне-еврейском языке тост в мою честь. Старик поздравил родителей в этом тосте и сказал, что я победил на экзамене всех врагов моих, я победил русских мальчиков с толстыми щеками и сыновей грубых наших богачей. Так в древние времена Давид, царь Иудейский, победил Голиафа, и подобно тому, как я восторжествовал над Голиафом, так несгибаемый наш народ силой своего ума победит врагов, окруживших нас и ждущих нашей крови. Мосье Либерман заплакал, сказав это, и плача выпил еще вина и закричал vivat. Гости взяли его в круг и стали водить с ним старинную кадриль, как на свадьбе в еврейском местечке. Все были веселы на нашем балу, даже мать напилась пьяна, хоть она и не любила водки и не понимала, как можно любить ее,—всех русских она считала поэтому сумасшедшими и не понимала, как живут женщины с русскими мужьями.

Но счастливые наши дни наступили позже. Они наступили для матери тогда, когда она стала привыкать к счастью делания для меня бутербродов.

до ухода в гимназию и когда она ходила по лавкам и покупала елочное мое хозяйство — пенал, копилку, ранец, новые книги в бумажных переплетах и тетради в глянцевых обертках. Никто в мире не чувствует новых вещей сильнее, чем дети. Дети содрогаются от этого запаха, как собака от заячьего следа, и испытывают безумие, которое потом, когда мы становимся взрослыми, называется вдохновением. И это чистое детское чувство собственничества над вещами, пахнувшими нежной сыростью и прохладой новых вещей, передавалось матери. Мы месяц привыкали к пеналу и к утреннему незабываемому сумраку, когда я пил чай на краю большого освещенного стола и собирал книги в ранец, мы месяц привыкали к счастливой нашей жизни и только после первой четверти я вспомнил о голубях.

У меня все было припасено для них — рубль пятьдесят копеек и голубятня, сделанная из ящика дедом Шойлом. Голубятня была выкрашена в коричневую краску. Она имела гнезда для двенадцати пар голубей, резные планочки на крыше и особую решетку, которую я придумал, чтобы удобнее было приманивать чужаков. Все было готово. В воскресенье двадцатого октября я собрался на охотницкую, но внезапные беды преградили мне путь.

История, о которой я рассказываю, т.-е. поступление мое в первый класс гимназии, происходило осенью тысяча девятьсот пятого года. Царь Николай давал тогда конституцию русскому народу, ораторы в худых пальто взгромождались на тумбы у здания городской думы и говорили речи народу. На улицах по ночам раздавалась стрельба и мать не хотела отпускать меня на охотницкую. С утра в день двадцатого октября соседские мальчики пускали змей против самого полицейского участка, и водовоз наш, забросивший все дела, ходил по Рыбной улице напомаженный, с красным лицом. Потом мы увидели, как сыновья булочника Калистова вытащили на улицу кожаную кобылу и стали делать гимнастику посреди мостовой. Им никто не мешал, городовой Семерников подзадоривал их даже прыгать повыше. Семерников был подпоясан шелковым домотканым пояском, и сапоги его были начищены в этот день так блестко, как никогда не бывали они начищены раньше. Городовой, одетый не по форме, больше всех испугал мою мать, из-за него она не отпускала меня, но я пробрался на улицу задворками и добежал до охотницкой, которая помещалась далеко за вокзалом.

На охотницкой, на постоянном своем месте, сидел Иван Никодимыч, голубятник. Кроме голубей он продавал еще кроликов и павлина. Павлин, распустив сияющий хвост, сидел на жердочке и поводил по сторонам бесстрастной прелестной головкой. Лапа его была обвязана крученой веревкой, другой конец веревки лежал прищемленный Ивана Никодимыча плетеным стулом. Я купил у старика, как только пришел, пару вишневых голубей с затрепанными пышными хвостами и пару чубатых и спрятал их в мешок за пазуху. У меня оставалось сорок копеек после покупки, но старик за эту цену не хотел отдать голубя и голубку крюковской породы. У крюковских голубей я любил их клювы, короткие, зернистые, дружелюбные. Сорок копеек была им верная цена, но охотник дорожился и отворачивал от меня

желтое лицо, сожженное нелюдимыми страстями птицелова. К концу торга, видя, что не находится других покупщиков, Иван Никодимыч подозвал меня. Все вышло по-моему, все вышло худо. В двенадцатом часу дня или немногим позже, по площади прошел человек в валеных сапогах. Он легко шел на раздутых ногах, в его истертом лице горели оживленные глаза.

— Иван Никодимыч, — сказал он, проходя мимо охотника, — складайте инструмент, в городе иерусалимские дворяне конституцию получают. На Рыбной Бабелевского деда на-смерть угостили...

Он сказал это и легко пошел между клетками, как босой пахарь, идущий по меже.

— Напрасно, — пробормотал Иван Никодимыч ему вслед, — напрасно, — закричал он строже и стал собирать кроликов и павлина и сунул мне крюковских голубей за сорок копеек. Я спрятал их за пазуху и стал смотреть, как разбегаются люди с охотницкой. Павлин на плече Ивана Никодимыча уходил последним. Он сидел, как солнце в сыром осеннем небе, он сидел, как сидит июль на розовом берегу реки, раскаленный июль в длинной холодной траве. Я смотрел вслед старику, его сапожному стулу и милым клеткам, завернутым в цветное тряпье. На рынке никого уже не было и выстрелы гремели неподалеку. Тогда я побежал к вокзалу, пересек сквер, сразу опрокинувшийся, и влетел в пустынный переулок, утоптанный желтой землей. В конце переулка, на креслице с колесиками, сидел безногий Макаренко, ездивший в креслице по городу и продававший папиросы с лотка. Мальчики с нашей улицы покупали у него папиросы, дети любили его, и я бросился к нему в переулок.

— Макаренко, — сказал я, задыхаясь от бега, и погладил плечо безногого, — не видал ли ты деда моего Шойла?

Но калека не ответил. Грубое его лицо, составленное из красного жира, из кулаков, из железа, просвечивало. Он в ужасном волнении ерзал на креслице, и жена его Катюша, повернувшись ваточным задом, разбирала вещи, валявшиеся на земле.

— Чего насчитала? — спросил безногий и двинулся от женщины всем корпусом, как будто ему наперед невыносим был ее ответ.

— Камашей четырнадцать штук, — сказала Катюша, не разгибаясь, — пододеяльников шесть, теперь чепцы рассчитываю...

— Чепцы! — закричал Макаренко, задохся и сделал такой звук, как будто он рыдает, — видно меня, Катерина, бог сыскал, что я за всех ответить должен... Люди полотно целыми штуками носят, у людей все, как у людей, а у нас чепцы...

И, в самом деле, по переулку побежала женщина с распалившимся прекрасным лицом. Она держала охапку фесок в одной руке и штуку сукна в другой. Счастливым отчаянным голосом сзывала она потерявшихся детей; шелковое платье и голубая кофта волочились за летящим ее телом, и она не слушала Макаренку, катившего за ней на кресле. Безногий не поспевал за ней, колеса его гремели, он вертел рычажки и все не поспевал.

— Мадамочка, — оглушительно кричал он, — ради бога, мадамочка, где брали сарпинку?

Но женщины с летящим платьем уже не было. Ей навстречу из-за угла выскочила вихлявая телега. Крестьянский парень стоял стоймя в телеге.

— Куда люди побегли? — спросил парень и поднял красную вожжу над клячами, прыгавшими в хомутах.

— Люди все на Соборной, — умоляюще сказал Макаренко, — там все люди, душа-человек, чего наберешь — все мне тащи, все покупаю...

Но парень, услышав про Соборную, не стал мешкать. Он изогнулся над передком, хлестнул по пегим клячам. Лошади, как телята, прыгнули грязными своими крупами и пустились вскачь. Желтый переулок снова остался желт и пустынен, тогда безногий перевел на меня погасшие глаза.

— Меня што ль бог сыскал, — сказал он безжизненно, — я вам што ль сын человеческий...

И Макаренко протянул мне руку, запятнанную апоплексической проказой.

— Чего у тебя в торбе? — сказал он и взял мешок, согревавший мое сердце.

Толстой рукой разворошил калека турманов и вытащил на свет вишневую голубку. Запрокинув лапки, птица лежала у него на ладони.

— Голуби,—сказал Макаренко и, скрипя колесами, подъехал ко мне,— голуби, — повторил он, как неотвратимое эхо, и ударил меня по щеке.

Он ударил меня наотмашь, сжатой ладонью, голубка треснула на моем виске, Катюшин ваточный зад повернулся в моих зрачках, и я упал на землю в новой шинели.

— Семя ихнее разорить надо, — сказала тогда Катюша и разогнулась над чепцами, — семя ихнее я не могу навидеть и мужчин их вонючих...

Она еще сказала о нашем семени, но я ничего не слышал больше. Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска. Они текли вдоль щек, извиваясь, брызгая и ослепляя меня. Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу и я закрывал последний незалепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен. Камешек лежал перед моим глазом, камешек, выщербленный, как лицо старухи с большой челюстью, обрывок бечевки валялся неподалеку и пучок перьев еще дышавших. Мир мой был мал и ужасен. Я закрыл глаза, чтобы не видеть его, и прижался к земле, лежавшей подо мной в успокоительной немоте. Утоптанная эта земля ни в чем не была похожа на нашу жизнь и на ожидание экзаменов в нашей жизни. Где-то далеко по ней ездила беда на хромой и бодрой лошади, но шум копыт слабел, пропадал, и тишина, горькая тишина, поражающая иногда детей в несчастьи, истребила вдруг границу между трепещущим моим телом и никуда не двигавшейся землей. Земля моя пахла сырыми недрами, могилой и цветами. Я услышал ее запах и заплакал без всякого страха. Я шел по чужой улице, заставленной белыми коробками, я шел в убранстве из окровавленных перьев, один в середине тротуаров, подметенных чисто, как в воскресенье,

и плакал так горько, полно и счастливо, как не плакал больше во всю мою жизнь. Побелевшие провода гудели над головой, суетливая дворняжка бежала впереди и в переулке сбоку молодой мужик в жилетке разбивал раму в доме Харитона Эфрусси. Он разбивал ее деревянным молотом, замахивался всем телом и, вздыхая, улыбался на все стороны доброй улыбкой опьянения, пота и душевной силы. Вся улица была наполнена хрустом, треском, пением разлетающегося дерева. Мужик бил только затем, чтобы перегибаться, запотевать и кричать необыкновенные слова на неведомом не-русском языке. Он кричал их и пел, раздирал изнутри голубые глаза, пока на улице не показался крестный ход, шедший от думы. Старики с крашеными бородами несли в руках портрет расчесанного царя, хоругви с гробовыми угодниками метались над крестным ходом, и воспламененные старухи летели вперед неудержимо. Мужик в жилетке, увидев шествие, прижал молоток к груди и побежал за хоругвями, а я, выждав конца процессии, пробрался к нашему дому. Он был пуст, наш дом. Белые двери его были раскрыты, трава у голубятни вытоптана. Один Кузьма не ушел со двора. Кузьма, дворник, сидел в сарае на трупе Шойла и убирал мертвеца.

— Ветер тебя носит, как дурную щепку, — сказал старик, увидев меня, — убег на целые веки... Тут народ деда нашего, вишь, как тюкнули...

Кузьма засопел, отвернулся и стал вынимать у деда из прорехи штанов судака. Их было два судака всунуты в деда: один в прореху штанов, другой в рот, и хоть дед был мертв, но один судак жил еще и содрогался.

— Деда нашего тюкнули, никого больше, — сказал Кузьма, выбрасывая судаков кошке, — он весь народ из матери в мать погнал, изматерил дочиста, такой славный... Ты бы ему пятаков на глаза нанес...

Но тогда, десяти лет от роду, я не знал, зачем бывают надобны пятаки мертвым людям.

— Кузьма, — сказал я шопотом, — спаси нас...

И я подошел к дворнику, обнял его старую кривую спину с одним поднятым плечом и увидел деда из-за милой этой спины. Шойл лежал в опилках с раздавленной грудью, с вздернутой бородой, в грубых башмаках, одетых на босу ногу. Ноги его, положенные врозь, были грязны, лиловы, мертвы. Кузьма хлопотал вокруг них, потом он подвязал челюсти и все примеривался, чего бы ему еще сделать с покойником. Он хлопотал, как будто у него в дому была обновка, и поостыл, только расчесав бороду мертвецу.

— Всех изматерил, — сказал он, улыбаясь, и оглянул труп с любовью, — кабы ему татары попались, он татар погнал бы, но тут русские подошли и женщины с ними, кацапки; кацапам людей прощать обидно, я кацапов знаю...

Дворник подсыпал покойнику опилков, сбросил плотницкий передник и взял меня за руку.

— Идем к отцу, — пробормотал он, сжимая меня все крепче, — отец твой с утра тебя ищет, как бы не помер...

И вместе с Кузьмой мы пошли к дому податного инспектора, где спрятались мои родители, убежавшие от погрома.

Корень.

Рассказ.

Леонид Завадовский.

Необозримая равнина осенних полей тянулась уже целую неделю, как миновали курские холмы, похожие на опрокинутые миски. Из нахлобученного неба непрерывно сыпался холодный дождь, завешивая горизонт тонкой сеткой. Прорези-колеи отвратительными вязкими рельсами тянулись бесконечно и однообразно до одурения. Южные лошади, несмотря на свою выносливость, худели, люди тупели, дни мешались в одну грязную кашу.

Двуколка Корня, из передка с двумя дощечками, прибитыми на оглобли под самый хвост лошади, вихляя колесами, смачно воротила жидкую грязь. Словно окунутый до ребер, буланый мерин, безнадежно опустив голову, уставясь в одну точку, тянул повозку без всякой надежды когда-либо вылезти из большого рваного хомута.

Под суконным вытертым пиджаком было сыро и холодно. Неприятно зудела кожа на плечах. Корень сполз с двуколки на красно-бурую травку меж колеями и, приотстав, зашагал толстыми от намотанных тряпок ногами, рядом с другим таким же экипажем, на котором, согнувшись в три погибели, лежал под куском грязного войлока Михей, односельчанин. Лошаденка, видимо, всю дорогу мечтала нагнать переднюю повозку — тужилась, спешила, но не уменьшала расстояния. Корень ударил ее кнутом, подумав: «Тихоступ, не шаговитая; полдесятины не обходишь в день».

От толчка войлок зашевелился, показалась распутившаяся до плеч шапка, выглянуло забрызганное, словно в огромных черных бородавках лицо.

— Ай дюже отстала? — спросил сонно мужик. — Давай вертеть, што ль?.. Трут бы не отсырел...

Дым изо рта и ноздрей, как грязная тряпка, опускался книзу на грудь.

— Да когда же она, эта непогодь, окончится! Пора бы снегу быть.

— Не накличь. Заморозит, по шаршкам ни на санях, ни на колесах не поедешь. А верхом — не дай тебе, господи!

Корень оглянулся. Позади, словно печальный караван неведомой породы верблюдов, тянулась вереница всадников, странными горбами при-

лепленных к спинам лошадок. Верблюды казались шестиногими от висящих длинных ног наездников.

— Ни тебе размяться, ни тебе погреться, — сказал он. — Добро в двуколке!

Позади раздались громкие зычные крики. Смешным щенячьим галопом скакала крохотная мышатая лошадка, всадник мотал локтями, выставив вперед лаптищи с лошадиную голову.

— Аяй, ая!

— Ай, тю!

Внезапно оживившись, мужики визгом и свистом поощряли коня и всадника, решившихся показать свою удаль.

— Ай да Тимоха, приведет скакуна!

— Виноход — не лошадь!

Дождь сеял не переставая, точно по заказу, ровно, мерно, безнадежно.

— Што там, ай нагнали кого? — привстал Михей.

— Какие-то стоят. Тоже с лошадьми.

Когда подъехали, пришлось выворачиваться из колеи, чтобы объехать передних.

Совершенно залитая грязью лошадь лежала в колее задом, приподняв перед под ударами кнута. Смешной выпачканной мордой с отвисшей губой, с красными белками глаз, она тыкалась в грязь и снова валилась на бок, словно решив не вставать никогда.

— Аль что попритчилось?

— От живота катает ее вчера с вечера, — не глядя ответил мужик, заботливо бегая глазами по лошади, собираясь вновь поднять кнут.

— То-то мы, мужики, дураки. Все подешевле ищем, а дешевая она дороже выходит...

Корень шагал, выбрасывая ноги из-под пиджака. Маленькое лицо с птичьим вострым носом казалось слепком из грязной глины, серые живые глаза беспокойно бегали в орбитах.

«Тоже, поди, коровенку загнал на лошадь, страдал в дороге, какую-никакую скотину вел, хотел попахатца на своей,—думал он про беднягу на дороге. — Куды теперь с ней посередь дороги? Скидай хомут, седелку, да иди сам в хомуте».

— Эх жисть, — вздохнул он.— А у кого и на такую если нету? Я вот тоже, как ты: пущай коровки не станет, овченки не будет, а скотину привесть, не калеку. Чтоб лошадь стояла на дворе. А у кого нету?

Он отошел в сторону, чтоб взглянуть на своего буланого, идущего передом. Меренок ему достался сытенький, крутой, с крепкими короткими ногами, без пороков. Копыта стаканчиком, никаких следов опоя или окорма, ни козинца, ни накостничка, умный, старается, ползет, грязь не грязь, гора не гора. Надежный, не выдаст.

Дуга как будто неровно покачивалась, припадая в правую сторону. Корень беспокойно переводил глаза на ноги, но они ровно шлепали, как заведенные пружиной.

С одной упорной мыслью привесть домой лошадь Корень был равнодушен ко всему, — к семье, которая месяц не имеет от него ни слуху, ни духу; к каравану — то длинному, то короткому, стягивающемуся с разных сторон и расползающемуся под свинцовым небом по тысячам дорог и дорожек; к встречным; поперечным; к себе, голодному, холодному, разутому, раздетому, — кроме лошади, ее здоровья, ее покоя. И знал — доедет теперь, никакая сила, непогода не удержит.

И, действительно, ни на час, ни на минуту не удлиннял свой путь остановками. Его крепенький буланый плел петли короткими спорыми ногами, вытягивал нить с юга на север, через холмы, равнины, через овраги, мостки, туманы, ночи и дни все ближе к родной деревушке. Приставшая к их повозкам партия верховых прозвала его Корнем, почти угадав его фамилию. В переписанном удостоверении на лошадь он значился Василием Корневым.

— Корень настоящий, — говорили мужики, — и содит, и содит все вглубь. И конишка так и снует, как челнок, настоящий корешок. Достался такому же.

За ним тянулись, зная, что с ним не проспишь, не задержишься лишнее в тягостном пути, надоевшем, набившем мозоли на глазах и в голове.

О чем думать в такой унылой, медленной дороге? На что смотреть вокруг? Ветер, дождь, дождь, ветер. Хомут с торчащей соломой из желтой хомутины, железка седелки, хвост, подвязанный узлом, как у бабы наспех волоса, зад, словно танцующий на блестящей дороге, гужи набухшие, дужонка.

— Опять будем бить до темна, Корень?

— А чаво стоять! Какого лешего!

Серые, запавшие глубоко в кости глаза глядят привычно, — внимательно на далекий, отступающий шаг за шагом мутный горизонт.

— Будем бить, пока можно. Чево стоять, — не дома!

С краев небо посветлело, окрасилось желтым светом, ночь быстро покрыла поля. Дождь будто перестал, хотя трудно было сказать наверняка. Шлепанье слышалось где-то в пропасти не то впереди, не то сбоку. Лошадь что-то видела, куда-то осторожно спускала двуколку на чересседельнике. Твердые колени задних ног стукали в доску сиденья. Рука Корня нащупывала хвост, в нос ударял приятный запах пота лошади.

— Эге-ге-ге! Ого-го-го! — слышалось где-то в непроглядной тьме.

— Э-э-э! — кричал Корень, — спущай тише! Яру-га-а-а!

— О-оо! — тупо, коротко, едва доносилось из-за черной стены.

— Тпру!

Корень соскочил в жидкую грязь, лошадь не хотела стоять.

Почудилось — не то крутой откос не то берег реки.

— Но! Ишь я, дурак, тебя остановил. Вали, вали, маленький. Но, милашка, корешок.

Дорога шла в гору. В стороне, словно из-под земли, вынырнул желтый огонек, мигнул два раза и пропал. «Деревня, што ль, по лощине?» Опять

чваканье копыт, покачивание и от времени до времени подбадривающие крики.

— Эге-ге-ге! Ого-го-го-го!

Давно ночь, или только что был вечер, или утром до зари двинулись в путь? Колеса льют жижу по ободу, в голове несвязные обрывки, как хомутина с торчащей соломой. Корень дремлет и ему беспокойно представляется всякая чепуха. Ноги становятся толстыми, словно вздувшийся бок давешней лошади в колее, возжи наматываются на ступицу колеса, морда мерена пригибается к оглобле; двуколка пятится назад, и они все вместе летят под кручу. Мужик вздрагивает.

— Фу ты, задремывать стал. Вишь што померщилось.

Пересаживается иначе, чтобы не прикладываться к мешку с овсом.

— Ого-го! — кричит он, доставая кисет. Долго старается нащупать толстыми потрескавшимися пальцами листок бумаги. Немного погодя мелькает огонек тлеющего трута, делает сложную линию и исчезает.

С цыгаркой приходят мысли о доме. Как там баба управляется с хозяйством? Телку бы в избу надо теперь, — коростные они от сырости. Свинье пороситься на Михалов день. Без коровки, без овечек, поди, скучно. Делается неловко сидеть от мысли, что нет коровы и овец, словно стыдно. Потом вдруг вспоминает: корешок-то буланый ведь за них куплен. Огонек около носа жарко разгорается.

Вдруг кто-то хватает за плечо.

— Дай-ка прикурить. Задремалось малость.

Рядом, колеблясь, движется красная точка. Она раздваивается: одна приближается, суется в руку — другая отстает, исчезает.

— Погоняй, коль пожиже будет под колесами! — кричит Михей позади.

Опять спуск. Мост, видимо, из хвороста, того и гляди вывалишься. Лай собаки где-то в стороне. Тьма. Лошади становятся. Начинает сильный дождь. Ничего не поймешь, где дорога, можно ли двинуться дальше. Мужики сходятся, толкуют, что делать. Отправляются на поиски настоящей дороги.

— Деревня, аль село? Собака брешет...

— На собаку не поедешь. Может, она на той стороне, за речкой...

Говорящие не видят друг друга. Лошади влипают во что-то вязкое по колена. Сверху мочит сильнее. Струйки бегут по щекам, по шее, на спину.

— Ночевать придется, видать. Куда поедешь? Эх!

Стоят, ждут уже, предвкушая ночевку под открытом небом, на дождю, в грязи. Вдруг откуда-то сверху раздается бодрый голос:

— Эй! Суды правь! Прямо на бугор. Ты, Михей, садись на мово мерина, твой следом пойдет!

— Чаво-нибудь нашел этот Корень. Всех мер человек!

Снова путаются по буграм, по вязкой пашне, переезжают канавы, межевые столбы, наконец, голос Корня кричит:

— Изба, аль обмет! Тпру! Выпрягай, дядя Михей! Дальше ехать некуда. Лошадей поряшишь.

Нащупывая, опухшими согнутыми пальцами возятся с распряжкой затянувшейся от воды сбруи, вяжут лошадей к повозкам надежным калмыцким узлом. От дождя лезут под какой-то навес. Кто отстал, кто здесь— никто не знает. Все молчат, стараясь согреться, поджав ноги к подбородку. Лошади тихо, словно не дыша, стоят, опустив покорно головы под дождем.

Корень возится, беспокоится, вылезает на дождь, по поводу находит морду лошади, ведет рукой по шее, по спине.

«С тела спала. Половину оставила в дороге», — думает он.

Эта мысль сразу собирает в комок. Он забывает про хлещущий холодный дождь. Осторожно двигая ногами обходит глубокую яму, нащупывает какие-то снопы, вроде конаплянных, бредет дальше, соображая, где бы промыслить сена или просяной соломы.

Возвращается с двумя снопами. Нашел кладушку, вытянул из середины сухие, заложив западину. Лошадь тихо гогочет, зная заботливость хозяина. Дергает неожиданно из рук сноп, когда Корень думает, что не подошел еще к двуколке. Он сердится от такой грубости, бьет в темноте по морде.

— Эх, штоб ты! Оголодала она! Стой, куда прешь!

Ему теперь как-то теплее, когда лошадь не стоит без корма. Он дремлет, положив голову на мешок с овсом, накрыв мокрой шапкой ухо. Ноги кажутся далеко под дождем, но до них почему-то нет дела. Лошадь жует проворно, бодро.

«Работает жернов. Ишь, рушит как. Наедается скоро — тело держать будет», — думает он очнувшись, сразу ловя этот звук.

Тихо. Только дождь сеет, шурша по соломенной крыше.

— Поела, што ль? Ну, пущай постоит.

Через пять минут он вновь возится, прислушиваясь.

«Аль скинул с двуколки, не достанет мордой?»

Утром, как рассвело, оказалось — ночевали на бугре около ветряной мельницы за большим селом, под навесом для сушки кирпича. Село, растянутое по лощине, уходило в туманную даль. Как игрушечные, избы просвечивали белыми стенками чрез прозрачные ветлы.

— Эка, занесла нас! Подержи маненько вправо — ночевали бы в сухоте и лошади были бы с кормом, — говорил разбуженный Корнем Михей, трясясь, как в лихорадке, с просонок.

— Задавай овес. Надо бить. День, как воробей. Бить надо.

Внизу, около таких же кирпичных сараев, там и сям виднелись лошади, вылезали мужики, подвязывали мешки лошадям на спины, садились, подъезжали в кучу, давали овес, отмеривая горстью.

— Дядя Корень проспал! Дал хоть разочек выспаться как следует, — шутили мужики, закуривая, потирая плечи, приплясывая.

— Нет, он, мол, не проспит! Вишь, куды заехали, на ерлаплане не залетишь. Подержи не так, долго в яму свалить лошадь, да и сам изувечишься на-смерть.

Караван снова двигается с Корнем во главе. Путь лежит к селу. Досадно на крюк, сделанный ночью. Он легонько трогает кнутиком, лошадка трусит под горку к мосту через речку, опушенную голой вербой. На свинцовой воде белыми комками плавают гуси, по-осеннему трубно кричат, пробуя крылья.

— А разведривает на мороз! — кричит Корень Михею.

— Гляди снег, пойдет. Вона туча какая валит!

Из-за ветреной мельницы ползла снеговая туча, скрывая поля за белой густой завесой. В воздухе закружились снежинки.

Соображая, как бы миновать сельсовет и волисполком, Корень свернул в длинную грязную улицу. Неоднократные задержки в пути научили объезжать крупные села с властями, придирчивыми ко всякой мелочи.

— Но, трогай, — пониженным тоном погонял Корень.

«Эка неудача, наехали на селищу какую, — беспокойно думал он, высматривая проулки и дороги, — по незнати сам въедишь в волость. Дело не дело, а задержка».

В темные окна глазели широкие белые лица, на гумнах брели мужики с кошелками за спинами. Кланялись журавли. Бабы с высоко подоткнутыми юбками торопливо носились с ведрами. Впереди появилась фигура, словно ожидающая чего-то.

Корень задергал возжи, завозился. Проезжая, не поднимал глаз, надеясь на какой-то счастливый случай, хотя было ясно, что эта фигура ждет их. Он проехал уже, как услышал:

— Эй, чего морду отворотил, тебе говорят — останови! Откуда лошади?

— Знамо с юга, из Курской, — отвечал Михей, к которому уже подходил человек в новеньких высоких сапогах, в желтом коротком полушубочке с выпушкой, из-под которой топырились широкие твердые «галифы».

— Стой, тебе, чорт, говорят! — услышал Корень громкий властный окрик. — Живо подъезжай вон к избе под железом!

— Сс-сель-с-совет, — прочитал Корень на коричневой вывеске. — «Задержит, как бог свят. Видать по обличию».

— Привязывай лошадей, приготовь учетные карточки. Чаю напьюсь, проверять приду.

Милиционер повернулся и пошел в избу напротив. Мужики столпились с беспокойными испуганными глазами.

— Карточки... У кого они есть, а кому их и не давали, достоверение заместо их?

— Когда он таперь? День, как воробей...

Корень, сняв шапку, поплелся через дорогу. Отворив несмело дверь, заглянул в избу. Начальник стоял у окошка в белой рубахе, с подтяжками через плечи, держал зеркальце левой рукой — правой зачесывал вихор.

— Тебе чего? Дожидайся, когда приду. Занятия не открывались. Закрывай дверь, говорят!

— Господин товарищ!

— Дверь закрывай!

— Дозвольте сказать?

— Вот идолы-то, ты ему хоть кол на голове теши! Видишь, я не одет еще.

Начальник подошел и сердитой рукой захлопнул дверь перед носом. Корень вернулся к мужикам. Каждый был неуверен в правильности своего документа.

— Ен там правильный, — начальства тоже писала, а тут, вишь, карточки требовают.

Чувствуя себя, словно пойманными с крадеными лошадьми, мужики лезли в соседнюю хату, закуривали, просили соломы или сена.

— Какая тут соломка! Самим нечем кормить будет, — как сговорившись с сотнями других отвечал мужик-хозяин.

Через час, одетый опять в полушубочек, явился милиционер с плетеным шнуром, висящим у кармана.

— Ну, заходи все в Совет. Показывай, у кого что.

Мельком осмотрев удостоверения, сказал:

— Я должен вас всех задержать, вот что. Ни одного правильного документа нет.

— Как же так? Не своей рукой писали, — заерошился Михей.

— Я тут не при чем. У них порядок, у нас — другой. Не от себя выдумал. Все равно задержут лошадей.

Милиционер окинул загалдевших мужиков сердитым взглядом:

— Поговорите еще тут! Сказано — выяснить придется. Денька три поживете, узнаете, как без карточек ездить. Может они все краденые. Я почем знаю!

Мужики тяжело заворочались, засопели. Руки опустились, наступило тяжелое молчание. Милиционер с деловым видом перелистывал книгу на столе.

— Чаво ж, выпрягай, когда такое дело, — сказал Корень, делая глазами знак мужикам итти за ним. На улице он деловито объяснил:

— Прямой расчет дать ему.

— Щож, последний грош отдать!

— Давай, вынимай по милиену, а то сидеть будешь.

— Гражданин товарищ, — говорил, он войдя в избу, остановясь возле стола, — вроде ежели стоять сутки, аль двое, все одно — по пуду овса, да на солому, да то, да се, — их не видать. Нам ращщет чем стоять — заплатить. И к дому ближай.

Милиционер, не поднимая головы, ожидал. Корень разгладил бумажки, положил на краешек стола.

— Вроде нас восемь лошадей. Примите, будьте в сочувствии. Три недели в дороге...

Полушубочек с выпушкой поднялся, спиной загородил деньги, рукой проводил в карман. Через несколько минут, стоя на крылечке, он говорил отъезжающим мужикам:

— Езжайте, что с вами поделаешь. Документы они правильные, только не в том порядке, не военные. Вы как-нибудь объезжайте мимо. Чего сами лезете в лапы.

Корень весело подстегнул мерина.

— Ишь она, мокрохвостая! Уноси ноги от добрых людей!

На ночь остановились в деревушке, растянувшейся по дороге. В избе было тепло и просторно. Голодные лошади под окошками жадно жевали ржаную солому, ожесточенно дергая из снопов, брошенных на землю.

— Дядя Корень, не ты бы, сидеть нам в этой Кобыленке, аль Жеребцовке; шут ее знает!

— Подержали, подержали — отпустили бы. Куда ему с нами, не один человек.

— А ему чаво, — не хребтит. Сиди ты хошь месяц.

Огонь весело пылал в печи, длинными языками изгибаясь в трубу. Хозяева ходили к свинье с фонарем, ужинали, потом мужик притащил охапку соломы для спанья.

Когда картошка сварилась, накрыв тряпкой, хозяйка опрокинула чугун над лоханью, слила воду, поставила на стол. Горячий пар окутал тесно усевшихся мужиков. Достав из мешочков по краюхе хлеба, ели картошку, макая в соль, насыпанную прямо на стол. Кто прикусывал салом, кто поливал маслицем, а кто даже без хлеба, запивая водой. Опорожнив чугун, курили.

— Ночь покараулить надыть, — сказал Корень, — одна, гляди, запуталась в поводу, та оторвалась пошла, — спокойней будет. А то и уведут напоследях; недолго до беды.

— У нас тихо, нашшот этого не слыхать, — сказал хозяин внушительно.

Дело было уже близко к дому. До уездного городка оставалось двадцать верст. На завтра шесть верховых отделялись в сторону по большаку в другой уезд. Корень с Михеем ехали прямо.

— Самогончику бы на ростани надо. Почитай, четырнадцать ден вместях ехали, — предложил Михей.

— Знамо дело. Как свои. Ну-ка, хозяин!

Четверть мутно-желтой самогонки развязала языки, притащились соседи, изба набилась битком.

— Ешше четвертуху, ребята! Деньги небольшие с мира. Валяй ешше, хозяин, одну!

Корень выпил один стакан, вышел к лошадям, сел на заваленку. Дневной холод помягчел от наступившей тишины. Было ведрено, обещая легкий мороз.

«Эх, народец, пьют не знамо с кем», — думал он.

Корешок в темноте жевал, хрустя соломой. Лез к лошадям, затевал драку и снова жевал, провожая длинные пучки в рот, объев с вечера колоски.

— Ну, ты, раскидал мордой! Тпру! Попяться чуть! — журил он мерина, подбирая солому.

Выпитый стакан размаривал, клонил ко сну. Корень шел в избу, присаживался к сторонке, не мешаясь в пьяный разговор. Махорочный дым застилал потные, возбужденные лица, со спутавшимися копнами разноцветных волос. Сидели на лавках, на полу, толпились у стола, разгребая скрюченными пальцами шкурки и крошки, ища закусить. Незнакомый мужик, наверное, сосед, опершись о стол ручищей, увязшей в шкурках, напряженно слушал. Михей разглагольствовал, взмахивая брови под волоса.

— За деньги никак нипочем! Удивление, почему? Дурь какую взяли. Ты беги в киператив, в очередь стань, получи ярлык, насыпь. Время? А он будет ждать? Приглядел себе меринка. Пока туды-суды, — он продал другому. За деньги никак нипочем. Да ты на деньги, получай, да купи сам хлеба! — удерживал он брови вверху.

— Знаем, не бывали што ль. Народ глупой! Денег боится, все на хлеб. Чижало с ним...

— Нет, ни чижало! — вдруг сердито закричал большой мужик в синей рваной рубахе. — Нет, ни чижало. А не бывает? Деньги получил, — они новенькие вроде, а старые, строк им вышел, не ходют больше. Из нашего брата — таких сколько хошь. Чижало!

— Эх, разлю-ю-безная моя, — запел другой, склонив голову на руки, видимо, мучаясь отравой. Встал и вышел на двор, распахнув дверь настежь.

Хозяин, словно крадучись, накинул зипун, достал бутыль и ушел, Корень видел, как он из дверей оглянул гостей быстрым взглядом. Беспокойство подняло его, он вышел на заваленку. Лошади мирно жевали, темными кучами выделяясь на звездном небе. Выкурив цыгарку, завернул другую. Из-за угла неожиданно вывернулся хозяин.

— Ты чего, миляга, сумлеваишься? иди в избу, все в порядке будет. Ешшо есть, — он звякнул ногтем по бутыли.

«Не спроста наливает мужиков, — подумалось Корню. — Врешь, не омманешь!»

После этого он не думал спать вовсе. Дремоту, как рукой сняло. Напряженно вслушиваясь в ночные звуки, он отходил от избы, подолгу стоял около лошадей, но ничего подозрительного не было в ясной тихой ночи. Лошади, поев солому, дремали.

Когда Корень снова вошел в избу — почти все спали. Четверть недопитая до половины стояла на столе. Только Михей и мужик с рукой в шкурках сидели на прежних местах, беспомощно глядя друг на друга. Михей, тараща глаза, бормотал:

— Су-п-проти-и-ив, к примеру-ыть. Да? Верно? Три недели, как один день. Кум ты мне, аль нет? Товаришш дорогой....

Сосед молча тянулся к четверти, наливая стакан. Обернувшись к Корню, словно непьяным лицом, растянул губы в улыбку.

— Страдаишь? Выпьем, пропадать добру. Не пьешь? Тверезый? Лезь на печку, ай ко мне в хату ступай. Ложись под дерюгу в кучу с девками.

«Тверезый»,— подумал Корень. Но мужик скоро свалился на стол головой, сопел носом, сдувая мусор. Михей, оставшись без собеседника, пытался вылезть из-за стола, зачем-то звал хозяина, громко ругался:

— Хозяин, а-а х-хозяин? Не подумай, недурак. Напоил? Н-нет, братец!

Затем, уткнувшись в передний угол, как распятый на стене, заснул.

На небе сияли туманные звездочки, грязь подстывала. Пел петух где-то на повети второй раз. Корень стал успокаиваться. Заходил в избу, садился у порога, дремал чутким сном. Один раз проснулся от толчка. Мимо хозяин вел соседа, еле переставлявшего ноги. Видимо, соседка, жена пьяного из темных сенец, шипела:

— Коленом его под зад, кум, как следовает. Как спустишь с глаз — напился и напился, домовой их задави. Ух, бесстыжие бельмы налил!

Пьяный молча упирался, не желая итти в темноту. Из сеней протянулись цепкие руки, вцепились в бороду и качнули его через порог. Он споткнулся и исчез

«Обмишулился я нашшет ево — как следовает нахлестался»,— подумал Корень. Пригревшись, с мыслью, что скоро вставать надо, он заснул. Во сне ему снилось серое поле с потемневшим жнивьем и грязная дорога. Потом внезапно пошел густой снег, а милиционер в полушубке посадил пить с собой чай и заплатил деньги — восемь миллионов. «Да это я должен платить»,— подумал он, но взял и положил в карман. «Что с вами поделаешь»,— сказал милиционер, улыбнулся и снег моментально растаял. Стало тепло, как летом. Корешок шел в сохе с новыми вобжами по огороду, а он, Корень, утирал пот рукавом с лица и не мог нарадоваться на меринка. «Вот удалось, — уморит. В день десятину пашет». А баба Марья вдруг и говорит: «Лошади овесца-то давать аль не будешь? Вставай, скоро свет займется!»

Жарко разгоревшаяся солома в печи, челом прямо на Корня, грела лицо. Легкий пот выступил на лбу под сырой нагретой шапкой.

— Овесца-то ай не будешь давать лошади? — повторила хозяйка, стоя над ним со снопом, развязывая свясло.

— Буду, буду, как не буду, — торопливо вскочил Корень.

Выйдя на улицу, с тревогой нащупал лошадь, облегченно вздохнул, найдя ее на месте. Средь мужиков, спящих с похмелья тяжелым мертвым сном, Михея не было.

Зайдя в избу соседа, увидел уже опять пьяных Михея с мужиком, соседом. На сковороде перед ними стояла поджаренная картошка с салом и хлеб. Лица у обоих были опухшие и возбужденные.

— Ты не думай — порок какой в мерену оказался. Никакова. Как стрыгун, ножки — хоть аршин прикладывай, мышки налитые, в груди —

во! — Михей показывал руками ширину груди. — Сам видел небось. Избави меня бог зря хвалить. Дело сурьезное. Пойдем, ешшо смотри, сколько хошь, мне не жалко. Не изъездишь лошадь.

— Нашшот годков сумлительно. Вроде без годков он.

— Восемь, девятая весна. Не веришь? Вот человека спроси. На образа перекщусь. Себе покупал, — горячился Михей, — придачи червунец давай, не жалей, спасибо скажешь, и давай богу молиться!

Сосед мрачно думал, вдруг ласково говорил:

— С кобылой не в жисть не расстался бы, каб не нужда в деньгах. Вагон — не лошадь. Силища — двух не надо. Одна в плужке за двоих, ложись, спи на спине. Печь! Из-за денег меняю, из придачи. А ума в ней!

— Да я разь корю? Кобыла всех мер. Передком только тронута дюжа. Коленок нету. Чево на ней делать? Не нужда — даром не взял бы!

— После таких слов не купец ты, а тряпло, как есть. Ровняет лошадь-кобылу на котенка.

Михей, спохватившись, менял тон. Они вновь принимались ладить, как бы объегорить один другого. Хлопали по рукам, молились, вновь расходились.

Корень не вмешивался в торги, прислонясь к печке, спокойно слушал пьяных. Его глаза презрительно щурились.

— Ну, — наконец, торжественно проговорил Михей, подставляя ладонь, — твое счастье, так на так, убыток пополам!

— На, держи, — воскликнул сосед, ударяя огромной ладонью по ладони Михея, — хороший ты, видать, человек, другому бы не отдал. Самогон твой — еще четвертуху!

— Я думал твой. Ну, так и быть. Попалашний!

— А ехать когда? — спросил Корень.

Михей не брал втолк никаких доводов. Расхаживал по избе, как дома.

— Загулял теперя. Еще ночую, видать. Пойдем кобылу глядеть. Вагон! Передком маленько, ну, ничего — жеребая зато. — Понизив тон, словно тайну он сообщил: — Кому, к примеру, матку надо — она есть у Михея. Получай за цену. Мужик — охотник до кобылы. Последнее отдаст. А сам опять на ярмарку к рождеству. Даром лошадь достанется.

— Смотри, с бугра видней, — сказал Корень, — прощевай!

— А закусить? Ну, кланяйся там. Увидишь, еду, мол, на вороной!

Корень запрег двуколку, не дожидаясь света.

— Дорога тут одна. Вали и вали. Канаву как переедешь, лесок будет, там она прямая, — говорил хозяин. Ну, с богом!

Отдохнувшая лошадка бойко потрусила по дороге, слегка постукивая по подмерзлой земле. За деревней пришлось въехать в глубокую колею с застывшей грязью. Лошадь пошла шагом.

Сухой воздух с удовольствием втягивался грудью, просохший пиджак грел спину, хотелось насвистывать или петь. Звезды к утру стали яснее, туман унесло. Устанавливалась погода перед зимой.

«Дурак мужик, — думал Корень про Михея, — какая она кобыла, ежели на мерина меняет? А што жеребая—не узнаешь — зеркала у ей нету. Цыган — не кресгьянин».

Меринок аппетитно, бодро фыркал, просил возжи.

— Будь здоров, — каждый раз говорил Корень лошади. — Дорожка ничево, ну-ка, тронь маленько, — подбадривал он, выбравшись из колеи на твердое.

Канава осталась позади. Восток светлел. Зад лошади приплясывал у самых лаптей. Впереди завиднелся лес. Близость своего городка, а там и родной деревни — двадцати верст не будет, — оживляла, веселила.

«Завтра к обеду и дома. Ну, хозяйка, отворяй ворота, — думалось Корню. — Детишки выскочат глядеть лошадку, притащат — кто сенца, кто соломки, а сама хозяйка ломоть хлеба с солью. Заработали лошадку, — корова будет. Сосед Митроха зря не поехал, не собрался деньжонками, обрядились бы на плужок лошадьми. Вали, отваливай! Не то, что сохой».

— Но же, маленькай, потрогивай! — говорил Корень благодушно.

Между тем совсем рассвело. Лес серой стеной перегораживал поле. Впереди на дороге завиднелся одинокий человек. Быстро, мелькая подошвами лаптей, он направлялся к лесу. На нем был короткий пиджак, подмышкой желтел не то узелок, не то мешок.

Когда Корень догнал его — он приостановился, поправил мешок под мышкой. Бросились в глаза рост и богатырская грудь.

— Далече? — спросил человек, — подвези маленько.

— Да садись, неудобно только. Ты вот суды, а то с колеса кидает — опачкает.

Богатырь легко вскочил, уселся рядом. Стал вертеть цыгарку.

— Ну, вот спасибо, а то бы махать. Намахаешься! Лошадка не здешняя, гляжу я? Видать приведенная?

— Веду...

Тут Корень заметил, что пальцы мужика необычно дрожали, цыгарка не вертелась, развертывалась. На мгновенье, точно ледок за шею промелькнула мысль: «недобрый человек», но под влиянием погожего утра, приятных мыслей, тотчас исчезла без остатка.

— Почем же дал за такого?

— Полкрасной. Пять червунцев.

— У нас за такого двадцать мало.

— Ня знай. Дюже много кладешь.

— За четвертной не купишь, — убежденно-строго сказал человек.

Въехали в лесок. Сначала тянулся дубовый молодняк с серыми большими листьями, неподвижно висящими на ветках, потом порубка с пнями.

— Вона линейка пошла. Верстов... на четыре короче тебе. Прямо на большак так и выскочишь. А там и город скоро видать станет. А ежели по дороге — крюк большой. И мне бы как раз, к крыльцу прямо подвез. На кардон я. Наши мужики лыки дерут на делянке.

Мягкий сырой лист чуть слышно шелестел под колесами, лошадь с удовольствием тянула двуколку, поматывая головой. За порубкой виднелся сосновый бор, темнея из сизой дымки лиственного оголенного леса. Кое-где краснели березы уцелевшим осенним убором. По краю дороги поднимались прямые дубки и среди них старые обомшелые могучие осины, словно великаны среди толпы.

«Одна такая деревина полсруба», — с восторгом подумал Корень.

— И ляса у вас! — воскликнул он громко.

— Как, поедешь по линейке? — не отозвавшись, спросил человек, — а то мне слезать тут.

— Не. Кто ее знает, какая там колесница. Вишь, дожжи какие всю осень. Как-нибудь добью. Поболе крюки были.

— Тпру!

Человек медленно опустил ноги на листву.

— Слез, щоль, милай человек, а то мне некогда прохлаждаться? У всякого свое дело. Всяк о своем заботу имеет.

Человек вдруг снова забрался на двуколку.

— Трогай, я еще с тобой съеду. Там долевой просекой попаду на кардон.

— Што так? — удивился Корень. — Ты, добрый человек, видать, тово...

Он мысленно договорил себе: «Не знаешь, чего ищешь, такую рань поднялся. И тут тебе близко, и там еще ближе. Чудеса».

— Што того? — переспросил человек и умолк.

Лес загустел. Нечищенный ельник - саженец, как стена, стоял по сторонам, убегая куда-то вниз, может быть, к болотам, а то и к речке. Лошадь, словно догадалась о чем-то, насторожилась, поставила уши назад.

Корень вдруг почувствовал слабость в руках, державших возжи. Неожиданный страх опустился к коленам, заныл, как ревматизм в костях. Сознание огромной беды налило тяжестью тело,—беды неизбежной, близкой. Зачарованный этим страхом, сидел он, боясь скосить глаза на человека рядом. От прикосновений широкого плеча словно холодные искры шли по телу. Зубы начали стукаться друг о дружку. Он вздрогнул всеми внутренностями, когда услышал неожиданный громкий смех.

— Ну, миляга, ты я вижу — пугливый. Видать степной человек. Мне тут бежать. Придержи. Тпру! — крикнул человек на лошадь, потому что Корень не мог владеть губами. — Спасибо, что подвез.

Корень выдохнул воздух ртом. Елочки весело зеленели, гурьбой теснясь к дороге.

Но словно кто-то повернул его голову назад. В кратчайший миг он успел увидеть развернутый мешок, летящий по воздуху, протянутые руки и за ними серые стальные, большие глаза, похожие на глаза мужика-соседа, променявшего кобылу Михею. «Брат родной», — успел подумать он. Щека его влипла в грязь на колесе, шею сдавили железные тиски. «Душит»,— появилась мысль. И вдруг освободившимися от страха руками и ногами он

стал защищаться. Лапти беспомощно ерзали по навалившемуся пиджаку, руки искали шею противника, за широкими, словно чугунными плечами.

Очнувшись в ямке под деревом, Корень на четвереньках продвигался, как ему казалось, к дороге. От вида беспечной синички на суку, обирающей перышки, ему становилось покойней, он ложился, отдыхал. Но вдруг, вспомнив про уведенную лошадь, издавал громкий протяжный вой.

Кругом было тихо, как в могиле. Лес не шелохнется. Темная ель тянулась мохнатыми лапами, чтобы схватить и задушить.

— О-о-о-й, о-о-й!..

Под боком, на спине и на груди, что-то теплое и липкое переливалось с места на место. В голове шумело, уши ничего не слышали, кроме этого, отливающего и приливающего шума. Боли он не чувствовал никакой, только при движении на боку резало, словно болотной осокой.

Из зеленой ель делалась желтой. Снова впадая в беспамятство широко открытыми, мутными глазами он шарил вокруг, ясно видя своего мерина. Казалось — вот он стоит, зацепив осью повозки за дерево, и мордой тянется к траве. Боясь напугать лошадь, он ласково шептал:

— ... тпру, Корешок, тпру...

Белый, без кровинки в лице, с присохшими листьями к пиджаку, с закрытыми глазами, изредка приоткрывая рот, словно рыба, умирающая на песке, лежал он и слышал шаги ровно бы о пол. Открыв глаза, видел склоненное над собой лицо и внимательные глаза, устремленные как на диковину.

— Живой, — произносил наклонившийся человек, пошевелив седыми усами: голос казался далеким, но не страшным.

Видел потолок, стены, окна, у двери человека в милицейской форме. Затрепетав от надежды, завозился:

— ... меренка, вот те Христос... буланенького...

— Человека узнаешь, какой убивал?

— о-о-х... не знаю... милостивцы, товарищи, меренка. Восемь годков он. Из Курской вел... Окажите милость...

Очнувшись в больнице под рукой врача, он, вызвав улыбки, снова застонал:

— ... буланенький меринок, товариши...

Худой, сурового вида врач, держа его руку, говорил:

— Вот это организм! Вот в ком жизнь глубоко засела. Душили и резали, и жив будет. Пульс почти хороший. — А попробуй кого-нибудь из нас так пырни? А?

— ... задушил, потом дорезал, разбойник... — повторял раненый, словно пьяный... — Ваше благородие, будьте милостивы... меренка вел, всей скотины решился...

Как только больной мог толком понять, что ему рассказывают, он узнал, что милиция на следующий, после нападения, базарный день захва-

тила человека, продававшего буланого мерина по удостоверению на имя Василия Корнеева.— Убийца, будучи уверенным в полной безопасности, стоял в конном ряду, как был с преступления, и даже на двуколке.

— А тебя нашли подводчики, — говорил ему санитар, — ехали с лыком. На дорогу ты, вроде, сам приполз. Приполз и лег поперек. Ночью было. Передовая лошадь встала и не пошла. Испугалась.

Словно о ком-то другом слушал Корень, выспрашивая подробности, качал головой и удивлялся.

— Поди ты? А? Сколько духу этого в человеке, особливо в мужике...

И как только стал держаться на ногах еще больной, словно восставший из гроба, стал проситься отпустить его.

— Да ты, голубчик, всего неделю лежишь, а нужно бы, по крайней мере, месяц полежать, — говорил врач, — не бойся, теперь лошадь никуда не денется. Себя-то побереги, а то и пахать не сможешь.

Но он не мог сидеть спокойно на койке, когда лошадь в чужих руках.

— Заездиют, известная под седлом порча лошадям. Заставьте бога молить, господин... Гоняют их несусветно. Им што — не свои — казенные. А то хвосты режут, гриву отчекрыжут, обезобразют лошадь...

Но, видя в лице врача что-то вроде неудовольствия, добавлял:

— Товаришш, отпусти, заставь поминать, как отца родного.

— Ну, что же, иди. Силой держать не можем.

— Вот благодарим, — засуетился Корень. — Случится в город — свининки, аль маслица предоставлю за спасенье. И не махай руками, обидишь ни за что. Как за сыном ходили. И не отказывайся...

— Не меня благодари, а отца с матерью. Сшили тебя очень крепко. Корни в тебе глубоко сидят.

— Будешь жить, коль надо жить, куда денешься...

— Ну, брат, я вот хочу жить, да что-то не выходит, смотри какой!

Корень посмотрел внимательно на врача.

— Дух не тот в городу, — от этого корешки короткие. Как зеленя, то кустистые, глубокие, то так себе. Плюнь ты на все, ступай в деревню, попашись годок-другой, всю болесть выкинет.

Одев пиджак весь в крови, засохший коржиком на спине, боку и на груди, он попросил свои лапти. Кое-как пристроив их на ноги, ушел с одной мыслью: как там его буланый мерин.

На улице оборки развязались, размотались портянки, голые ноги ступали на снег, за следом на веревочках волочились огромные растоптанные лапти. Пройдя полквартала, садился, задыхаясь и берясь за голову. В глазах становилось темно, улица кружилась, плыла под ногами. Прохожие с удивлением смотрели на пьяного средь белого дня, но, догнав или встретившись ближе, видели белое лицо, окровавленный пиджак, нерешительно приостанавливались, не зная, как помочь этому странному существу Собравшимся на углу, Корень объяснил:

— Задушил, потом, видать, дорезал, не понадеялся. Сам дойду, недалече. У всякого свои дела. Спасибо на добром слове.

Так и явился он в деревню. Белый, страшный, но уже оживевший на воздухе в дороге, бодро подкатил на своем отдохнувшем меринке к избе с кривой ветлой, когда баба доставала воду из колодца. Та выпустила «журавль», ахнула, всплеснула руками, завыла на всю улицу:

— Ды госпо-о-о-ди-и! Ды што с тобой издеялось, ды лучше по миру ходить, чем такой крест терпеть!

— Чаво, дура, голосишь? Подь сена надергай из маленького стожка,— просто, деловито сказал Корень, — небось из большого тут брали.

Завел в котух мерина, снял уздечку, повесил на колышек, словно вернулся из соседнего села, куда уехал утром по делам.

— Свинья-то поросилась, аль нет? — войдя в избу, сняв шапку, спрашивал он. На него глядели большие, раскрытые от страха глаза жены, не узнающей в этом привидении мужа Василия.

Цемент.

Роман.

(Продолжение).

Федор Гладков.

X.

Внутренние прослойки.

1.

Тихие минуты.

Из заводской столовой, через усталую толпу, усталые, Даша и Глеб вышли на шоссе и свернули на одичалую дорожку в кустах, опутанных космами дикого винограда и гирляндами жирной, неумирающей зелени плюща. И только нырнули в молодую поросль дубков и грабов, по-весеннему сизых и слепых, по-весеннему прозрачных и дрожащих от нутряного шопота,—догнала их Поля Мехова.

— Товарищи, хочу проводить вас до вашей норы. Хочется отдохнуть около вас... в тишине...

Оба — и Даша и Глеб — взглянули друг в друга. Что-то вспыхнуло в глазах у него и у ней. Вопрос? Удивление? Досада? Не сказалось ни в движении, ни в слове.

Даша протянула руку и подхватила Полю под локоть.

— Ты у нас, товарищ Мехова, не бывала ни разу. Живем вместе в работе, а как живем сами с собою — не знаем...

Поля тряхнула кудрями и запуталась ими в лапчатой ветке. Вскрикнула, остановилась и засмеялась. Взяла пальцами шелудивый, в плесени, сучок, поглядела на него в пытливой радости и понюхала.

— Как у вас хорошо здесь! Я давно не видала леса. Пахнет прелью и мокрой землей. А этот горький и сладкий запах, это — почки и древесный сок. Как это было давно!.. точно от детства... Здесь, в этих зарослях и ущельях, будто чувствуешь себя не изнутри, а со стороны... а потому немного больно и грустно. Там, в горах, на работе, не было грустно, и обедала — не было больно, а вот сейчас от этого дубка и весеннего запаха — колыхнулось... Должно быть, мне нельзя уходить в природу от дела...

Возьму под руку твоего мужа, Даша: у него силы столько, что хватит налить нас обеих... Мы же — слабые женщины...

Она болтала, как девочка, играла с ветками, смеялась, нервно вздрагивала, торопилась от волнения, хотела сказать что-то большое: может быть, заплакать хотела, может быть пожаловаться, может быть отдаться омуту собственных чувств... Перебежала к Глебу, взяла его под руку и через Глеба посмотрела на Дашу.

— Ты не ревнуешь, Даша?

А Даша усмехнулась и тоже взглянула на Полю — взглянула хорошей подругой.

— Тебе, товарищ Мехова, хочется, чтобы и я оттрепала тебя за волосья? Коли тебе так втемяшился этот медведь, можешь не сомневаться в его силе...

— О, я знаю его силу!.. Чего стоит одна
на горе...

И Глеб почувствовал, как рука Поли прижала его руку к теплой мякоти своей полно налитой груди. Здесь — Дашка, здесь — кучерявая Поля: обе женщины волнами проходят через сердце и встречаются в нем горячим наплеском. Тут — Дашка, такая большая и такая близкая, которую трудно понять и осилить. А Поля — огонь и слабый ребенок, и она дрожит от тревоги и постоянных порывов. Он прижал локтями руки обеих женщин и тоже засмеялся.

— Ну, вот вам руки... садитесь обе: дотащу до самого дому...

Даша толкнула его в бок и задрала голову в горластом выкрике:

— Уф, не хвалися, на рать идучи, вояка!..

— Туда к чорту... Садитесь!.. Стали женотделками, так воображаете, что не такие же бабы?.. Садитесь!..

У Поли шаловливо вспыхнули глаза и смехом задрожали ресницы.

— Садись, Даша, — пусть попыхтит... Сегодня ему здорово досталось: на бахвальстве он далеко не уедет.

— Ых, чекалки курносые!.. Садись... на!..

Он раскинул руки, пригнулся и подхватил и Дашу и Полю под бедра. Обе в один мах с криком и смехом обняли его за шею, и их руки переплелись локтями и пальцами. Щелкнули у Глеба кости в коленках, и шея и лицо напрыжились кровью. Не убавляя шага, он твердо шоркал ботами по щебню и нес обеих женщин, как малых смехотушек-девчонок.

Первой спрыгнула Даша, задыхаясь от смеха, а Поля замедлила и украдкой прижалась к нему грудью и кудрями.

— А-а... то-то!.. Вот вам — не хвалися, идучи... свистульки!..

Обе — бабы, и у обеих — мягкие, налитые груди. Но Даша — иная, своя, а Поля — иная, чужая.

Солнце уже догорало: оно тухло в ущербе за дальними городскими хребтами, и небо над головами было густое, жирное, в сини, а над солнцем, в опаловой мгле, — огненное. Горы очень близко сползали с вершин застывшими потоками железа и меди в изломах и террасах разработок. А вправо,

из-за пологого отложья, по крутому ребру, желтой распаханной бороздой резался бремсберг.

Со дна ущелий вверх, по кратерным впадинам, плыли фиолетовые вечерние тени, покрытые пеплом. А горящие полосы и пятна на ребрах и склонах еще жарко пылали и звенели камнями. И здесь, в сизых паутинных кустах, в пустотах, с дорожкой, заросшей травой, низинная предвечерняя тишина наливалась густо, как вода. Она струилась из земли, из дремучих зарослей леса, из оврага с ручейком в погремушках. Мокрые камни на дне — живые, как черепахи, и вода плещется там, черная, с синими вспышками. Эта долинная мгла, насыщенная хмелем весенней земли и травы и еще нерожденных листьев в беременных почках, вздыхает земной глубиной, корнями и воздушными недрами. И только в прозрачной путанице ветвей оранжевыми факелами пылают вершины бетонных труб. И Уютная Колония невыносимо ослепляет глаза пожарным раскалом в стеклах. Это — наверху, а внизу, по взгорью, домики и казармы дымились и таяли в сумерках.

Эти две женщины (Даша — иная, своя, Поля — иная, чужая) близки, они двумя волнами проходят через сердце и в сердце встречаются горячим наплеском. Какая волна отхлынет первой из сердца? Или обе волны пройдут одна через одну и уйдут в разные стороны навсегда, без возврата?

— Да... то, что пережито сегодня, не забыть никогда...

И в размахе ресниц Поли увидел Глеб скрытое значение сказанных лов. Понял, что там на вершине, на краю пропасти, под пулями, между им и Полей кровью завязан, помимо их воли, новый волнующий узел.

Глеб промолчал, будто не слышал, что́ сказала Поля. А Даша шла емного впереди и ломала черные ветки.

— Какой воздух хороший, товарищи... словно мед!.. Скоро все будет зелени и цветах.

Зачем отошла от них Даша? Нарочно? Почуяла их тайную связь? Іожет быть, она одна хотела купаться в этом предвечернем воздухе, пьяном есною?

Поднимались по дорожке в улочку. Солнце было, как кровь, на далеих хребтах, и они, зубатые и черные, грызли его, как огненный блин. ород под горами четко полосовался прямыми сизыми улицами от набережой вверх, по склонам, и глыбами камней скатывался в ущелья. Между ристанями и молами море дымилось перламутром, и смахивались раз а разом пленки с поверхности — черные и рыжие. Корпуса и башни авода громоздились в глубоком молчании, как нетающие льдины.

— Я переживаю сейчас мучительные вопросы, товарищи. Новая кономическая политика... Мы вступаем в полосу тяжелых противоречий, все делают вид, что их не замечают. Я все время в тревоге и жду чего-то рашного.

— Что такое, товарищ Мехова? Тебе нужно починиться: у тебя подили подпорки. Пойдем, я тебя подпою кипятком с сахарином, а потом леб тебя проводит до дому.

Поля взглянула на Дашу испуганными и растерянными глазами и быстро пошла по дорожке к пролому.

Даша долго смотрела ей вслед и лицо ее вздрагивало от ласковой насмешливой улыбки.

— Хорошая девка... прямо — золото... А какая у ней треснула пружинка?.. Хочешь, проводи ее, Глеб: ты ее здорово зацарапал за сердце...

— Дашок!.. Не хочу в камору, будь она проклята. Пойдем на гору — посидим и подышим.

— Ну, да!.. И я то же говорю... Пойдем на бассейн...

Глеб удивился: сейчас вот, впервые, Даша взяла его за руку, кисть в кисть, и пошла рядом с ним, как милая подруга. Шла и молчала, а Глеб чувствовал, что она волновалась. Рвалась сказать ему слово, а какое слово — не в догадку: может быть, такое слово, которое говорилось только в первые дни их любви, а может быть, такое, которое не говорилось еще никогда. И Глеб молчал — ждал этого Дашиного слова.

Мимо палисадников и домиков шли в гору по щебню, по зубцам горных пластов. Бассейн был высоко над Уютной Колонией, и вода отсюда подавалась по магистрали вниз, до рабочего поселка, а дальше распределялась по службам, по лабораториям, по цехам и корпусам.

Они обошли каменные отвалы и штольню с железной заржавленной дверью на замке, и эта заржавленная дверь и заваленный камнями ход в нутро горы были зловещи, как тайна древнего капища.

Широкая длинная площадка из бетона — ровная и легкая на шаг, колокольно-звонная и поющая нутряными струнами.

Внизу, под горой, ступенились к трубам красные крыши казарм, за ними — корпуса и вышки завода, а еще ниже — фиолетовый залив в спиралях зыби у берегов, и за молами море пучилось необъятным пузырем с горизонтом выше труб и далеких хребтов, и эти далекие горизонты нельзя уже было отделить от неба.

По дорожкам от завода к Уютной Колонии группами и в одиночку шли рабочие. А по бурому отеку горы, далеко, за стеною, бежала по узенькой бледной дорожке маленькая девочка и размахивала руками.

Даша села на гладкий бетон и обхватила коленки отекшими от работы руками.

— Товарищ Мехова шагает... Золото девка, коли не сломается. Она — странная, товарищ Мехова: то не согнешь ее никакими клещами, то вся дрожит, как лозинка. Боюсь я, чтоб с ней чего не случилось. Ты разве не чуешь, как она до тебя цепляется? Ведь ты же ее не отшибешь, коли она схватит тебя за нутро?

Глеб, пораженный, лег около нее и ничего не увидел в ее лице, кроме затаенной улыбки. Что с нею? Берет ли она его на испытку, или в этих ее словах скрывается особый, неведомый ему смысл? Он не знал, как ответить на этот ее вопрос, и не знал — сердиться ему или смеяться. Она угадала, чем дышит его кровь, и уловила в его нечаянных взглядах, в улыбках

і движениях отражения Поли — нетухнувшие искорки ее бровей и ресниц. Две волны встретились наплеском и прошли одна через одну и через удары его сердца.

— Ну, Дашок... Ты ныряешь по всяким заковыркам. А закидываешь удочки далеко, на глубокое место...

Даша вскинула голову и усмехнулась (овва, усмехнулась по-бабьи!), но на него не взглянула.

— А я разве сказала тебе загадку? Я только говорила прямым, неукрытым словом: то — твое дело. Ведь ты ж был независимый, коли имел дело с бабами. А разве и я и Мехова — не равноправные бабы?

— Вот туда к чорту!.. Ты меня просто затуркала: не знаешь, чем тебя крыть!..

— Ой, Глеб, какой ты нехитрый!.. Нехитрый и скрытный. Непрямой и слабый. Разве я била тебя упреком за твои бабьи дела? И ты думаешь, я буду брать у тебя мандат на мои бабьи поступки, коли б на то была моя охота?

Ее слова били больно по сердцу, и она была такой неотразимой, такой новой и крепко сбитой в своей правде, что он не мог уже взять ее голыми руками, и на ее слова у него не было слов. И тогда уже, в первый раз (проклятое ущелье!), он сразу почувствовал, что и он, Глеб, стал иным — не тем, каким был вчера, точно внутри у него сгорела старая кровь, и в мозгах произошла передвижка. И нестерпимой болью, через ужас, его душа метнулась тогда незабываемым порывом любви к ней — не к бабе, а к человеку, роднее которого нет никого. Что было бы с ним, если бы она погибла в тот день, когда он не думал о ней, а думал и горел заводом, машинами и цехами?

Вот она вся здесь, и вся она вышла из прежней. Ну, да: она таила себя такою и в прежние годы, но глаза его были слепы, и весь он был до этих дней только дикий самец.

И как это вышло в ту ночь молодо и бурно! Не он потащил ее к себе на кровать,— не ломал ее и не путал ее рук, — она сама пришла нагой девчонкой и схватила его сильной обнимкой...

Под бетонной площадкой, в глубине, сверчками играла вода и пела далекими струнами, и что-то большое и живое вздыхало в пустоте, под бетоном. И казалось, что эти вздохи и струны плывут и колышутся в лесу и над лесом и струятся из низинных фиолетовых сумерек.

Все было воздушно, глубоко и необъятно. И горы были уже не хребты, в камнях и скалах, а густой копотный дым, а море в безбрежном вздыблении — не море, а небо, лазурная бездна, и они здесь на взгорье, над заводом и вместе с заводом — на осколке планеты, под бездной и над бездной, в неощутимом полете в бесконечность.

Глеб положил голову на колени Даши и увидел над собою ее лицо и лиловое небо, и лицо ее с огнистым пушком на щеках было тоже лиловое, а в глазах — удивление и созревшая, невысказанная мысль.

Боль волнами обливала нутро... Она, его Даша... жена... И в этой боли было одно: Дашу нельзя было убить — она стала сильнее его руки и недостижима навеки.

— Здесь, на верхотуре, под небом, хорошо лежать у тебя на коленях, Даша. Мы с тобою еще никогда не были такими закадычными друзьями, как в этот вечерний раз... Расскажи же мне, как ты без меня сбивала свои мозги и кости и в каких была переделках...

Воздух вспыхнул молнией, и лиловая мгла пеплом запылилась до неба.

Глеб поднялся на локте, долго смотрел на корпуса, на взгорья и лощины в садах: везде большими и маленькими звездами роились огни, летали и рассыпались созвездиями. Волна восторга плеснулась кровью в груди, и он задохнулся от волнения: что это — слезы или радость застряли судорогой в горле?

— Вот оно, Дашок... Это — наши руки и мозги... Хорошо бороться и строить свою судьбу... Эх, Дашок... то — все наше... мы... Пущай... Я буду лежать у тебя на коленках, а ты говори... Теперь ничего не страшно, и твои страхи я буду слушать, как сказку...

Даша опять положила руки на его грудь. Она сама волновалась, и Глеб слышал, как глухими толчками билось ее сердце.

— Ну, и что ж... Теперь можно трепануть тебя и словами... Ты не стал теперь такой недотрога... Уф, какую же ты лупил горячку, Глеб!.. Какой же ты был дурачина!..

2.

Рождение в силу.

И в этот лиловый вечер рассказала она о себе так.

...Отлежался Глеб от побоев на чердаке, у мышей и пауков, и ушел однажды ночью в горы; там, в ущельях и дебрях, засели зеленые.

Знала, что отрывается от нее Глеб, может быть, навсегда, и сама отрывалась от него, как от мертвого. Не провожала его за двери — провожала во тьме комнаты. Рыдала без стонов и крика и не могла отлипнуть от него, любимого, взявшего в себя ее душу. И когда он сторожко, невидимкой, провалился в ночь — не зажгла она огня, и сама, невидимая во тьме, с дочкой Нюркой прометалась в незабываемой муке до утренних проталин в окне. И с этой слезной мукой вросла в немужнюю кровать с дочкой Нюркой у сердца, и дни и ночи мутно, туманным месивом, жухли за кисейной занавеской.

И дрогнула она от этой полужизни без дней и ночей так же внезапно, как и замерла в ней.

С грохотом, с армейским гиканьем, с ружьями и револьверами, готовыми к взрыву, вломились к ней офицеры, окружили ее топотной кучей и сразу из нескольких глоток:

— Где муж?..

Дрогнула впервые, потому что дрогнули стены, и пол заколебался под ногами. И оттого, что она дрогнула сердцем, заплакала и закорчилась на руках Нюрка.

— Говори, где твой муж? Мы знаем, что он был здесь. Ты не строй, пожалуйста, невинных глаз и не изображай цацу...

— А я знаю, где муж? Вы же знаете лучше... Вы утащили моего мужа, а что с него сделали — не сказали. Что ж вы пришли ко мне с поиском?

И не плакала. Только синяя была, и глаза светились насквозь, как стекляшки. А плакала Нюрка, и она крепко прижимала ее к сердцу.

Один из всех, молодой, почти мальчик, весь в острых углах и занозах, вставал и садился, курил и бросал папиросы, не сводил с нее глаз и говорил слово за словом одно и то же:

— Ну, ты не ври так нахально... Ты знаешь... Знаешь, молодка... очень хорошо знаешь... Ты от меня не отвертишься...

И сразу оборвал ударом кулака о стол.

— Ты сейчас будешь арестована, и мы тебя немедленно расстреляем за мужа. Говори, а очков не втирай...

А она стояла, прежняя, и говорила:

— А где ж я знаю? Ваша власть — убивайте. Вы же его утащили — вы и скажите мне: где он? Вы же видите: я — одна. Зачем вы меня мучаете?

Помолчал офицер и опять пристально взглянул на Дашу. Увидел ли муку в ее глазах, горящих насквозь, или в Нюркиных криках услышал невнятный укор, — рваком встал со стула.

— Произвести тщательный обыск. Обращать внимание на всякую мелочь.

Посадил ее между двумя бородатыми дядями, и до утра рылись во всех углах, щелках, закутах и тряпках.

— Утек во-время, сволочь...

Потом, перед утром, потные и измятые напрасной работой, потащили ее с Нюркой за завод, на дачи. И там, в подвале, в грудах людей, чужих, угарных и всклокоченных предсмертной горячкой, просидела она с Нюркой нелюдимо до полудня. Кто-то из этих людей — не один, а много — говорил с ней, а о чем говорил — ни слова не помнит.

А в полдень вывели из подвала, и тот же офицер в углах и занозах опять посмотрел на нее пристально.

— Ну, так где же твой муж, молодка? Ты не отпирайся... все равно не выпустим отсюда до тех пор, пока не скажешь. Если он в надежном месте, так чем же ты страдаешь? Не запирайся, чорт тебя подери, это—бесполезно.

А она опять так же без слез, готовая упасть от изнеможения, говорила:

— Как я могу знать, коли вы сами взяли его. То вы скажите, как вы его домучили до смерти...

И кто-то позади нее гавкнул собакой:

— Да брось ты ее к чорту, полковник... Разве не видишь, что она очумела от страха?

А полковник кувырнул глазами и зашипел от заноз:

— Ты знаешь, босячка, что за твое упрямство мы должны тебя расстрелять вместо мужа? Все равно, не удастся тебе до конца разыграть дурочку.

— Ну, и стреляйте... ну, и что ж... ну, и что ж...

И не она, а кто-то другой задрожал стрункой внутри:

— Вы же его растерзали, и нет же его... Растерзайте и меня... И меня и Нюрку... и меня и Нюрку...

И когда очнулась — будто солнце облило ее молоком, — нашла себя на гладком, горящем пылью, шоссе. Впереди — завод, а вон, дальше, на взгорье, — рабочий поселок, и видна издали красная крыша, где осталась пустой от ночи ее комната.

Ну, и опять стала одна. Сдружилась с Мотей Савчук, и с Мотей проводила домашние дни. А дни и ночи уже не были мутью: дни цвели солнцем, а ночи — звездами. И когда сидела на своем крылечке, смотрела на звезды, слушала, как звенели колокольчиками ручьи в ущелье, и думала о Глебе: где он? жив ли? придет ли к ней когда-нибудь из безвестности?

Днем, когда таяли в мареве горы до самых вершин, сидела Даша, как всегда, на крылечке и штопала тряпки, а Нюрка играла с котенком рядом, на цементной площадке дворика. Музыканили на гребенках цикады, и далеко, над морем, за аркадами завода, вспыхивали в воздухе чайки.

Шел мимо усатый солдат в обмотках (разве мало ходит солдат мимо ее ограды?). Подошел к ограде, прислонился грудью к переплетам (разве мало солдат подходили к ней, голодные от безбабья?). И тут необычно, украдкой, строго позвал ее:

— Даша, не скачи кошкой — сиди. Вести от Глеба. Гляди — упала бумажка. Ночью вползу — не пужайся.

И ушел. Только приметила: шматками пакли — усы, шматками пакли — брови.

Хотела курицей слететь с крылечка к забору, но опять обернулся солдат — шматки пакли упали на глаза. Поняла — надо было ждать, когда уйдет развалистым шагом под гору. И с сердцем, которое визжало от крови, с глазами, в которых день кружился в красном вихре, с последним усилием воли, ласково поманила Нюрку:

— Иди сюда, к маме, Нюсенька... Скорее, скорее... Подними вон ту бумажку, принеси ее маме... Вот так... Иди к маме на ручки с бумажкой... Скорее, скорее...

И Нюрка цыпчонком клюнула бумажку и цыпчонком заковыляла к Даше.

— Мама, на!.. мама, на!..

Легла на коленях у матери и заболтала ножонками.

А красный вихрь кружился в глазах, и сердце готово было лопнуть от крови.

И такие слова прочитала в бумажке, и слова были написаны Глебом (разве так может писать кто-нибудь, кроме Глеба?):

«Даша, я — жив и здоров. Ты почем зря бережи себя и Нюрочку. Это сейчас сожжи, а Усатый Ефим тебе выскажет, что и как».

Глеб, милый, родной. Коли ты — живой и здоровый, и бодрый до жизни — так и она, Даша, сильна и до жизни — горазда...

А ночью пришел Усатый Ефим, пахнущий горами и лесом, а Даше чудилось, что не лесом он пахнет, а Глебом. Во тьме комнаты, у окна (только по небу капали звезды), сидела Даша рядом с Усатым Ефимом и дрожала от радости и любви к Глебу. А Усатый хриплым махорочным шопотом, с револьвером в руках, сразу же начал выворачивать из нутра такие слова, которые Даша едва могла осилить.

— Ты вывози, Даша, с перьвого разу. Перьвый удар: Глеб поволок свои ноги через белые силы до Красной армии. Не лопнет кишка — догромыхает. Попадет в капкан — капут-алаур... Но не о нем разговор...

Даша дрожала и бормотала рваные слова:

— А може... так, може... скажи мне, товарищ Ефим... Так он же сгибнет от такого бродячего разу?.. Так он же — один... он же средь людного зверя — один...

— Не о нем разговор для второго удару. Второй же удар — слово для тебя — Глебозо: держися и жилься. Такое зыбучее время... Я буду всегда у тебя на виду. Ты же будешь наша зеленая баба: то — от меня и от Глеба единой душой. Вникай. Испольни не Глебу, а всей зеленой братве. Пущай наша банда тебе на течение время за мужа. Помни. Я буду везде ударом — на всяких местах. Ты ж гарнизуй зеленых всех вдов в хорошую свору. Иди сама по продовольственной части в заводской кооператив. Мы это устукаем разом. Ну, а больше — аминь. Не ходи до дверей, а только шмыгни щеколдой.

— А как же... а как же дочка моя?.. Нюрочка как же?..

— Брось на руки доброй бабе. Нюрка от тебя воробцом не уфукнет. Говори еще одно слово, что хотишь сказать...

Все дрожала Даша и все не могла твердо, упором на всю грудь, вымолвить нужного слова. А сказала только так:

— Товарищ Ефим, може, Глеб сейчас идет один в ночи... и смерть у него — на отмашку... Коли Глеб — так, и я ж иду на так... По дороге пошел мой Глеб, по той же дороге пошагаю и я...

Ефим икнул в усмешке во мраке, и рука его ласково трепанула ее по коленке.

И ушел так же неслышно, как будто его не было вовсе, будто темной ночной тенью прошел через мысли во сне.

И еще раз дрогнула Даша, но это было потом, в истоке долгих упрямых ее дней.

Дочку Нюрку сдала на руки Моте за дачку с пайка. Хорошая баба Мотя, хорошая подруга, и хорошая была у ней рука до Нюрки.

Стала работать в кооперативе на раздаче хлеба в пекарне. Приходили днями неизвестные люди (эти дни и люди сжигали сердце горячей кровью)

и по бумажкам брали краюшки хлеба мешками для «рабочих на горных стройках».

И баб, «зеленых вдов», было до полдюжины. Половина из них — мешочницы — крыли мужей почем зря и сошлись с другими и скоро забыли о прежних. А три остальные, безработные, кормились стиркой белья на офицеров, а ночью принимали англичан и солдат за натуру. Сбила их в малую кучу Даша и дала им работу: в горы ходить, в город ходить на передачу зеленым одежды, обуви и всяких бумаг от разных нужных людей.

То были: Фимка (девка-невеста, а брат Петро — в зеленых), нежным видом под барышню; Домаха — широкая костью и рыжая кожей, с тремя вперемежку ревущими цыпчатами, и Лизавета—бездетная молодка, высокая грудью и жаркая румянцем (даром, что голодное время). Фимка — покорная, никогда от нее нет отказу ни мужику по бабьему делу, ни бабе по части дележки продуктом. Домаха — только зла и готова по первому поводу мстить всем за свою лихоту. А Лизавета — замкнута и на людях днем — недоступна. Вот кого сбила в кулак Даша: только с ними она проводила свой отдых.

Приходил глухими ночами Усатый Ефими, бил револьвером по коленке.

— Знай, товарищи бабы, один верный удар; мольчи и — капут-алаур. Откуси свой язык зубами... самое проклятое мясо — человечий хвост... Накрыли, примером, и схапали — язык откуси и выплюнь, а глазами не цапай другого, а сховай их в утробу. Вникай. Язык не поднимет горы, а слизнуть может целые горы...

Вот кто был первый их верный учитель.

Так было времени — год. И год это крепко сколотил Дашу опытом, хитростью и силой: откуда что взялось... И бабы вросли в ее силу, и стала она их атаманом.

А на исходе первого года дрогнула Даша еще раз. С этих пор надежно завязались у ней брови на переносье, и глаза огранились кристаллом.

Утром, когда Даша была за прилавком у хлеба, перед хвостатой толпою, — а утро было ядреное, синее, огнем и запахом — осень, — растолкали людей офицеры с ружьями и вытащили ее из хлебной закуты. Люди шарахнулись брызгами, в ужасе разбежались по домам. А ее посадили в грузовик, в кучу офицеров, и умчали на дачу, — туда, где она была с Нюркой, — и бросили в тот же подвал. И опять грудами в свалку лежали и сидели там люди и опять все были ей чужие, все провалившиеся в собственную беду.

Но уж иная была Даша, чем прежде. Знала, что много у нее было риску и была готова ко всякому часу. Думала много, как быть ей с собою, как не допустить себя до слабости. Через все могла пройти — через муки и, может быть, смерть, — а в сердце ныло непереносно одно: не пройти через Нюрку.

Огляделась в плесенной цементной мгле и увидела усы и брови шматками пакли. Не узнают и скользят по другим. Поняла — нельзя узнаваться.

И еще увидела: лежит раскосмаченная, дрожит от рыданий Фимка, а рядом с ней сидит ее братишка Петро, и щеки его мальчишечьи шерстятся пухом, как пылью. Гладит он ее по волосам, по спине и что-то шепчет ласково, а лицо — будто с похмелья.

Тут впервые узнала она ужас человеческих мук.

Потащили сначала Усатого, а вслед за ним — ее. Привели. Усатого нет. Тот же молодой полковник в занозах посмотрел на нее — сразу признал.

— А, опять ты угодила к нам в гости?.. Ну, теперь ты отсюда не уйдешь. Ну-ка, как ты кормила зеленых? Что ж ты врала, что не знаешь где твой муж?

Дурочкой лупоглазила Даша на полковника и дурочкой отвечала:

— А вы мне сказали про мужа, где его дели? А теперь наворачиваете про меня зеленых...

— А вот мы проверим, какая твоя правда. Отвести ее в кухню и покормить хорошенько.

Уволокли ее в другой, малый подвал, где не пол, а грязное смрадное месиво и вонь трупной гнили. Увидела в грязной жиже лепехи кровавого студня. И голый, весь в гнусной грязи, лежит человек, возит головою по жиже и обливается кровью. А двое дюжих казаков хрипят и рычат и жвыкают шомполами.

Кто-то — не помнит — обжег ее огнем по спине и плечу нагайкой, и ожоги взорвались звериным ревом:

— Рраз, рраз!.. Вот тебе, сволочь!.. То же будет — гляди — сейчас и с тобою... Покажи этой стерве красавца... Узнаешь эту скотину?

А у ней ничего уже не было, кроме тошнотного сердца. Собрала все силы из души, чтобы не упасть.

— Что ж вы мучаете?.. За что?.. Да откуда ж я знаю этого дядю?..

— Прибавь еще дяде жаркого...

И опять жвакали Ефима шомполами, а он лежал, крутил головою и молчал. И почуяла Даша великую жертву и жуть в этом молчании Усатого. А почуяла — надо только одно: молчать, натянуть до треска все силы и к ребрам притиснуть сердце.

— А ну, говори, чортова кукла, какие ты шашни имела с этим провостом? Говори — и мы его больше не тронем, а ты отошьешься до дому...

— Ну, никаких же я шашней не знаю... Я осталась с малой дочкой без мужа... Ну, пошто же вы мучаете?..

И опять насквозь прожег невыносимый огонь. Не удержалась, разовалось сердце, и закричала пронзительным визгом:

— Да что ж я вам сделала? Ну, зачем же вы меня бьете?

— Говори... Скажи только слово — и ты будешь на свободе...

И как только услышала эти слова Даша, поняла: не знают эти люди ничего из ее дел. А взяли ее так, по старой заметке. Не взяли других баб, а взяли ее. А Фимку? Фимка — другое: за брата. Должно быть, ненароком схватили в ее хате. Поняла это Даша, и кровь опять вошла в свою жилу.

— Оставьте меня мучить... Я работаю и никому не мешаю...

— Еще поддай дяде лапши, так его, этак... Бей!.. Сильней, чтоб захрюкал и поел киселя.

Тело Усатого уже мертво лежало в грязи и вздрагивало в разных местах остывающей судорогой. А казаки утомленно, распаренные потом, шлепали по кровавому мясу, и от шомполов чвыкали шматки и брызги.

Мимо Даши кувырнулось в кровавый кисель со стоном ужаса тело братишки Фимки, Петра. Обляпанный грязью, с животным страхом в глазах, он вскочил на ноги, поскользнулся, упал, опять вскочил и побежал по болоту, шваркая ляпухами месива. За ним с шомполами запрыгали два казака. Петро заревел не горлом, а всем телом. Увернулся от них и опять, слепой и обреченный, побежал в оборот. Но на перескок ему прыгнул казак, крякнул и со всего плеча шлепнул его шомполом по коленкам. Петро завыл по-собачьи и брюхом брякнулся в грязь.

Остылыми глазами глядела Даша на пытку товарищей и, немая, тронутая умом, не могла оторвать от них взгляда. Смотрела и не видела ничего, кроме крови, которая кипела, клокотала, как взбаламученное море. И в воздухе была кровь, и кровь была в мозгу и за пыльными дырами окон.

Очнулась в той светлой комнате, где сидел и курил полковник, морщась от заноз.

— Ну, что, молодка, понравилась наша кухня? А теперь говори, что знаешь...

— А ничего же я не знаю... ничего я не знаю...

— И того парня не знаешь и ту девку?

— Фимку я знаю и Петра... я ж их знала дитятками...

Двое офицеров, таких же юных, как он, зашептали ему в ухо. Он сначала нахмурился, а потом дернул щекою.

— Теперь, полковник, отдайте ее нам: мы ее продезинфицируем немножко.

И прямо в лицо ей, гримасничая, ударили страшными словами, и эти слова были больнее нагайки.

Она бросилась в угол комнаты и замахала руками.

— Не надо!.. не надо!.. Я не дамся до смерти... Ой, не надо!..

Полковник поднял руку и усмехнулся.

— Ну, хорошо... Этого не будет, если ты будешь говорить правду. Подойди сюда и рассказывай.

— Что я вам расскажу, коли ничего не знаю... И что вам от меня нужно?.. Как вам не стыдно: вы же молодые...

Полковник откинулся на спинку стула и ехидно прищурился.

Оба офицера подхватили ее под мышки и уволокли в другую комнату. Повалили ее на пол, бесстыдно оголили и изнасиловали.

...До полуночи лежала, полумертвая, в подвале, с голыми ногами и грудью. Как бросили, так и осталась. Подползала к ней Фимка, вся в стонах, без слов, стукаясь головою об ее грудь, и опять уползала. Два

раза мерещилась Нюрка: топочет к ней ножками и пляшет пьяный гопак. И Даша тянулась к ней, кричала от страха и отвращения:

— Не надо... ой, не надо же, Нюрочка... не надо...

Ползла к ней, как Фимка, и молила в отчаянии, не зная о чем. И потом, до последнего часа, не вспоминалась и не виделась Нюрка: будто не было Нюрки, будто Нюрка была потухшим образом потухшего сна.

После полуночи — тоже помнит, как сквозь сон, — она очнулась от грохота грузовика. Сидела на полу деревянного короба, и с нею лежали и сидели другие. Узнала не сразу: Фимка, братишка Петро и Ефим Усатый. А вокруг стояли офицеры и казаки с винтовками в руках. Все молчали и сыро встряхивались, как трупы.

И только одно ярко осталось в памяти — разноцветные искры звезд, и звезды были очень близко, на взмах руки.

И не было страшно. Знала, что — смерть: остановится машина, швырнут их с деревянного короба, отведут на косу, к морю, и ее не будет. Знала это, и сердце было — не сердце, а кусок льда. И не было ужаса. Был только нестерпимый холод в сердце. И так просто было и неподвижно в душе, будто не явь это была, а обычный, скудный движением сон, в который не веришь, когда видишь, и знаешь, что эти образы скоро погаснут. И Нюрка то забывалась, будто совсем ее не было никогда, то вдруг волной пролетала через нее, с растопыренными ручонками и с одним коротким: — ай!.. Потрясала ее эта волна, как удар нагайкой в подвале, и опять исчезала и забывалась, как давно угасший сон.

Тряслись мертвецами лежавшие товарищи: и Усатый Ефим (он на машину был брошен, как труп), и Фимка, и Петро. И не было ей жалко никого, а только сердце было — не сердце, а нетающий кусок льда.

И когда остановилась машина, — неживая была Даша, будто вместе с машиной перестала жить и она. А сдернули ее на землю — стала и стояла так же неподвижно, как и лежала. Стала около нее и Фимка и вся дрожала в ознобе, хватала ее за платье и прижималась к ней, как ребенок. Усатый Ефим лежал мертвецом у их ног. Петро же дурачком топтался на месте, исковерканный поркой, крутил башкой (лицо черное от крови), мычал, курлыкал и плевал раз за разом.

И только одно торопливо, сердито — не она, а кто-то помимо нее — прошептала на ухо Фимке:

— Молчи и молчи... молчи и молчи... слепая, немая... молчи...

Почудилось: навалилась большая толпа и отбросила ее в сторону. Это четверо казаков толкнули ружьями Фимку и Петра.

Они засеменили, покорно и молча, не оглядываясь. И только, когда отошли немного, закричала и забилась птицей Фимка. Рванулась назад и замахала руками.

— Даша, моя родненькая Даша!.. Что они со мною делают, Даша!..

Ее подтолкнули и оглушили матом, а она взвизгнула, забилась и упала на песок. Ее дернули за руки и опять поставили на ноги. Прошла молча еще несколько шагов. Остановилась и озабоченно крикнула:

— Даша... что же я исделала?.. Я ж забыла шаль на ахтанабиле...

И опять смял ее лошадиный мат и отбросил вперед.

И там, впереди, на песчаной косе, тающей в море тусклым раскалом, где море без отблесков поющей черной пашней уходило во тьму, видела Даша только мутные тени, и тени эти будто пьяно плясали на одном месте.

И опять метнулся визгливый крик Фимки:

— Не хочу, не хочу... Свома глазами хочу взглянуть на мою на молодую смерть...

И вплоть до залпа не переставала кричать:

— Уйдите, уйдите!.. Хочу... Свома глазами хочу!..

А когда грохнули выстрелы, Даше казалось, что море кричало и пело криками Фимки.

Вплотную к Даше подошла упругая тень.

— В последний раз укажи, кто орудует вместе с зелеными? Я даю тебе слово немедленно отпустить тебя домой. Или — вот... видишь?.. сейчас же будешь там...

И так же, как раньше, дурочкой ответила Даша:

— Я же — баба, не могу же я знать, который — зеленый, который — не зеленый. Есть у меня дочка Нюрка, и я работаю... надо ж кормиться...

И заплакала. Правда, заплакала, но не она, а в сердце забилась цыпчаткой дочка маленькая Нюрка.

— Хорошо...

И, отвернувшись от нее, скомандовал тихо:

— Забирай этого гуся. Оттащи к тем за руки и за ноги.

Поволокли Усатого Ефима, и слышала Даша не залп, а только один выстрел.

И опять подошел упругий офицер.

— Даю полминуты...

— Ну, что ж я могу сказать?.. Ну, стреляйте... стреляйте же...

И чувствовала — пройдет еще мгновенье, упадет она на песок и забьется, как Фимка, — таяло и лопалось сердце — и закричит на весь свет.

И потом сразу кувыркнулась в воздухе и ударилась головою о железо.

Опять бултыхалась и барабанила машина, и опять вверху, очень близко, на взмах руки, звенели золотыми каплями звезды, а над горами огненным туманом горело небо.

Не втолкнули в подвал, а ввели в ту же комнату. И тот же полковник в запозах, не глядя на нее, отчетливо и лениво сказал:

— За тебя поручился инженер Клейст. Мы верим не тебе, а инженеру Клейсту.

...Хорошая баба Мотя и хорошая подруга (а ведь у ней тогда сгорали цыпчата от мора)...

— Можешь итти. Но знай: попадешься — уж домой больше не воротишься. И еще знай: здесь с тобой не было ничего, и твои глаза не видели ничего. А если твой язык сбрехнет что-нибудь не под час — тебе будет то же, что с этими собаками. Ну, убирай свои ноги — марш!..

И уже больше не дрогнула Даша, потому что крепко и навсегда захлестнулся узелок бровей на переносье.

Никому ничего не сказала, а слова научилась говорить кстати и к делу. Дома была только ночью, и комната зашелудивела, и углы зацвели паутиной и пылью. Повяли и засохли цветки на оконце, сбледнело лицо, и глаза стали холодными и прозрачными. Пропадала у Моти, у хорошей подруги, у приветной домашней бабы. Подружилась с Савчуком, подружилась с Громадой и подолгу сидела на дворах завода с горбатым Лошаком. Готовились незаметно к встрече Красной армии. И Лошака, и Громаду, и Савчука запутала в свое тайное дело. Раньше они спали по ночам, а днем смотрели на горы. Теперь по ночам глаза их стали несонными, а днем они притворялись слепыми.

С немым вопросом в глазах приходили солдаты. Поглядеть со стороны — дурака валять приходили, поиграться со вдовой молодой приходили. Придут раза-два, потом пропадают, а вместо них — новые. А куда пропадали прежние — ничего не могли сказать людям граненые глаза Даши.

И тут впервые, по свободной воле, без измены душою Глебу, узнала Даша других мужиков. И когда вспоминала об этом — не каялась.

В порту стояли английские корабли — грузили несметные толпы бегущих с севера богатых и знатных.

И откуда-то, далеко, из-за гор, глухим подземным громом рокотала земля, и по ночам от этого необъятного грома огнем капали с неба звезды.

...И в весеннее горячее утро, в солнечных нитях, когда море нельзя отделить от неба, а воздух — от цветущих деревьев, — по разгромленному мусору, по трупам лошадей и людей, сквозь смрад панической смерти белой орды, — прошла Даша в красной повязке в город, искать коммунистов. Шла одна, когда обыватели и рабочие, еще ошалелые, не решались выходить из конур. Шла Даша, и глаза ее и повязка горели в солнечных нитях и в сини неба и моря: глаза изнутри — янтарем, а повязка — алым шматком крови.

Попадались навстречу конные красноармейцы с красными бантами на гимнастерках, и эти банты издали цвели пышными маками. Смотрела на них и смеялась, а они взмахивали руками, тоже смеялись и кричали:

— Ура — красной повязке!.. Женщине красной — ура!..

Глеб, раздавленный, лежал неподвижно на коленях Даши и долго не мог выдавить из груди слова. Вот она, его Даша... Сидит около него, как родная жена, тот же голос, и лицо и руки те же, и так же бьется, как раньше, ее сердце. Но нет той Даши, которая была три года назад: та Даша ушла от него навсегда.

И волна невыразимой любви к ней потрясла его болью. Он обхватил ее дрожащими руками и, задыхаясь, борясь со слезами, застонал от ярости, бессилия и нежности к ней

— Даша, голубка!.. Коли б был я здесь в эти дни... Ты тогда выносила одна... Коли б я знал!.. А сейчас мое сердце лопается, Даша... Ты лежала с чужими... Даша!.. Я могу тебя бить и мучить... зачем ты мне это сказала, Даша?.. Моей руки на тебя нет... Она отсохла и будь она проклята!.. Но сама... сама ты... с солдатами... Разве я могу это понять?.. Даша!.. Пущай... Я не могу писать тебе законов... И ближе тебя у меня нет никого... Ты ж осталась живая... Ты пошла сама, и у тебя своя дорога борьбы... Даша, голубка, родная!:.

— Глеб... ты — хороший... Глупый ты, Глеб, а хороший. .

И до ночи сидели в обнимку, как не сидели никогда от первых дней их женитьбы.

XI.

Ущемление.

1.

Хозяйские руки.

Глеб до рассвета ходил по квартирам и лично руководил работой отряда. По улицам, на мостовой, стояли с винтовками за плечами зоркие немые фигуры рабочих. В улицах, ушедших в себя и во тьму, грохот тяжелых бот ночь сгущал жутью. А с неба уже воздух пылился голубым рассветом, и звезды дрожали близко весенней капелью.

Жук — в карауле. Не тот был Жук — шатун, соглядатай, балагур-обличитель, сутулый смутьян, — стоял перед Глебом налитый угрозой солдат. И когда подошел к нему Глеб, не забулькотил, как всегда, а твердо держал винтовку упором между носками обуток. Из открытых дверей особняка с зеркальными окнами мяукали истерические вскрики женщины.

— Кто здесь работает, Жук?

— Шуруют почем зря, друг... Чуешь, как раскололась баба!.. Савчук, твоя жинка, Сережа и двое чекистов. Крой к ним — погляди, как разворачивают буржуазию... двадцать два удара!..

В стеклянном коридоре, в рассветном сумраке, стоял красноармеец с винтовкой, и в открытую дверь, в больших хлопьях теней, видно было, как корчилась раскосмаченная женщина на диване и рыдала, ломая руки.

Шоркала тяжелая торопливая работа: крякала, передвигаясь, мебель, пухло падали пузатые узлы, топотали и хрипели боты...

Глеб вошел по военной привычке смело — последним растоптал своими ботами культурный уют. Не взглянул на женщину, распятую на диване, а она, полураздетая, с лицом из студенистого месива, в ужасе глядела на людей с винтовками и на людей, которые очищали комоды, гардеробы и сундуки. Должно быть, не чувствовала около себя маленькой голенастой девочки, с любопытством глазевшей на чужих дядей, так внезапно и громко упавших из ночи.

Человек в подтяжках и туфлях, в золотом пенснэ на носу, с длинной бородой винтом, стоял, растерянный, но одиноко важный, у большого письменного стола и с судорожной усмешкой пожимал плечами.

Даша умелой рукой, как хозяйка, заботливо и внимательно отбирала все, что находила попроще, наиболее необходимое из белья, одежды и домашних вещей, и складывала на разостланные простыни и в дорожные корзины.

— То — для детских домов... для детишек... для домов матмлада... Хо-хо, материя... Вот богато напхали материи. Тут сколько одето будет детей!..

Савчук по-бычьи ворочал шкафы и комоды, и пятки его грязно бледнели от натуги, а лицо наливалось кровью.

— Вот, идоловы души, нагрохали скрыни всяким добром. Наши свинопасы клепали зажигалки и терли мешками горбы. Подлые люди, в этих скрынях жирели дикачи, как лабазные крысы. Го-го, такая музыка — не балабайка, а портовая баржа (он ворочал рояль): кому ж на ней балабайкать, как не быкам?..

Сергей стоял с винтовкой в руках и не знал, что делать. В этом доме он бывал когда-то, в дни юности. Чирский — известный адвокат. В прошлые годы был дружен с отцом. Социалист. Член Государственной Думы всех созывов. Член Учредительного Собрания по списку № 7.

Сергей не глядел на него и боролся с волнением: боялся — вдруг подойдет к нему Чирский, протянет руку и заговорит с ним, как с близким человеком. Он делал вид, что не узнает его, и, до боли сжав зубы, старался быть твердым, — таким, как товарищи, но чувствовал, что ноги его дрожат от предчувствия неизбежного скандала.

И то, что он считал ужасным и непоправимым, случилось просто и незаметно. Чирский смотрел на него в упор и кривил рот в брезгливую улыбку, — смотрел и все ловил момент зацепиться за него словом.

— Сергей Иваныч, и вы также занимаетесь такими непотребными вещами, как этот налет? На нашем с вами языке это называлось когда-то разбоем. Отсюда вы пойдете, вероятно, к вашему отцу, Ивану Арсеньичу, и тоже будете производить подобную операцию. Там вы, очевидно, оставите папаше немного больше, чем здесь. Тут вы сдираете последние подштанники. Не гарантируете ли вы себе неприкосновенность наследства? Может быть, и здесь, по старой дружбе, сделаете снисхождение?

А женщина, разрывая плач, протягивала к нему руки, и по щекам ее искорками ползли слезы и дрожали на подушечках дряблого подбородка.

— Сергей Иваныч... голубчик!.. Ведь вы были когда-то близки нам... Что вы делаете?.. Неужели это вы, Сергей Иваныч?..

Стараясь быть невозмутимым и суровым, Сергей сжал до хруста в суставах винтовку и резко, со звоном в мозгу, сказал, глядя мимо Чирского:

— Да, мой отец подвергнется той же участи, что и вы. Так же, как и вы, он будет выдворен из дома и больше в него не возвратится.

И когда он сказал эти слова, стало вдруг легко, и человек, стоявший у стола, показался смешным в своем прошлом чванстве и важности.

— Так, так... Вы научились быть достаточно свирепым... Поздравляю!..

Савчук сопел и ворчал. Выносил из спальни постели, кучи одежды и бросал на пол. Вытирал пот и волком глядел на людей и вещи.

— Вот, идоловы души, сколь напхали!.. То — работа, хужее бондарного цеха... Будь оно проклято, сподручней работать на бремсберге...

Даша подошла к Глебу и деловито доложила:

— Все переписывается, Глеб... Изъято все, что надо... Из белья и одевки оставлено на смену... Я решаю изъять картины, туда же всякие редкие вещи: часы, посуда, игрушки, книги (уф, этих книг, как черепиц на крыше!). Книги мы утром припечатаем Наробразом. И все, и этот рояль — в детские дома и клубы.

Глеб был холоден и командирски замкнут.

— Так, добре. Все остальное, кроме белья, оставить на месте. Караул в два человека. Кончайте.

— Так. И я соображала то же. Ожидаем подводы.

И отошла с лицом строгой хозяйки.

В звездном рассвете голубели дома. С гор сугробами валились лавины тумана, и над заливом дымилась фиолетовая марь. Капелью звенели утренние воробьи. И в стальном сумраке гор и очень далеко и очень близко блуждали, гасли и опять зажигались таинственные факелы.

Вперерез Глебу, по верхней улице, размеренно шоркая шагом, походным порядком, в щетине штыков, плотными рядами шли красноармейцы. Шли они, должно быть, многими колоннами: необъятный шорох движения рокотал всюду — и над городом, и в пролетах домов, и по камням мостовой. Хрустальным перезвоном катились телеги. Красная армия, поход, боевая работа... Ведь это так было недавно! Родные ряды. Шлем Глеба еще не остыл от огня и походов. Они идут, и штыки лязгают, сплетаясь в стройном движении. Они идут, а он здесь — вот он. Почему он — здесь, когда его место свободно в этих рядах? Военком полка. Жжет голову шлем не остывшим еще жаром боевого огня...

Широким шагом, задыхаясь от волнения, он торопился к штыкастым рядам, чтобы коснуться их упругого стройного потока и отдать им привет красного солдата. Но ряды оборвались и растаяли за углом, и только двое красноармейцев один за другим, молча трепыхая сумками и размахивая винтовками, догоняли товарищей.

2.

На выгон.

По ту сторону залива, над заводом, горы были бурые, с черными провалами ущелий. Небо на зените — синее и глубокое, а над горами — огненное, и зубцы хребта четко резались ослепительной линией, будто грани их

плавились металлом. Только с седловин перевалов жирными облаками, горящими изнутри, водопадно клубились, переваливаясь через высоты снежные лавины тумана.

Громоздился завод внизу, над заливом, далекими сказочными дворцами. Голубели упруго трубы и стройно и тонко взлетали навстречу ползущим сугрубам. Море небесно наливалось под горами и смахивало с поверхности светлые и черные пленки.

А на другой стороне, за городом, горы сияли в вершинах сиреневым накалом, туманились внизу утренней тенью, и город грудой каменных свалок, в сизых облаках садов, огромным оползнем грудился по склонам до самого моря, кувыркаясь в воде разорванными клочками отражений.

На главной улице, во всю ширину булыжной мостовой, на несколько кварталов, густо будоражились базарным гомоном человеческие толпы. Женские выкрики и истерический плач полосовали каменные дали улиц. Гомон и стоны сбивали толпу в стадное месиво и разрывали ее в панические хороводы и вихри. А нутро ворочалось в судорогах страха и обреченности. Мужчины покорно-тупо стояли, сбитые в разноликий сброд, моргали, улыбались в бледной растерянности. Женщины, с узелками и коробками, с детьми на руках, с детьми рука в руку, сидели на пожитках, кричали без слов, плакали, неподвижно и молча стояли, лежали с безумными глазами. В некоторых местах корчились слабонервные, и над ними будоражными шматками в ужасе копошились люди.

Чирский стоял на виду, немного наотлет от толпы, в нижней рубашке и подтяжках, без шляпы, в туфлях, и с мертвой улыбкой смотрел рассеянным взглядом на дома, будто впервые их видел, на толпу, которой он не мог вынести. Жена сидела на узлу, растрепанная, полураздетая, и смотрела в одну точку красномясым лицом в подушечках. А девочка танцовала между отцом и матерью, выкрикивала в лад ногам и крепко прижимала обеими руками большую куклу.

Обозы — пухлые груды белых узлов — гусиной грядой уползали вперед, и было видно, как на подъеме улицы они выгибались из ямины длинным ворохом среди лошадиных голов.

На втором возу от толпы комсомолец с открытой грудью и шершавой башкой дрягал ногами и нажаривал на гитаре польку. А где-то далеко, впереди, простудно хрипела и стонала вместе со стонами толпы беспардонная гармония.

Отряд особого назначения стоял по тротуарам с винтовками у ноги, на сажень друг от друга. Усталые, угрюмые от бессонной ночи и тяжелой работы, коммунисты смотрели на толпу и не видели ее. В переулках топотали и гомонили и другие толпы — мещане, хлынувшие поглазеть на необычайное зрелище.

Где-то, очень далеко, запела команда, и в переклик ей перелетели в другой конец другие голоса. Конвой вскинул винтовки на плечи. Толпа грохнула и потряслась нутряным вздохом, заволновалась и забарахталась базаром. Рыдания, истерические визги, выкрики и вой обезумевших

от страха людей сбивали их в кучи, в свалку, в паническую бестолочь. Не было воздуха, не было улиц и домов — была предсмертная оргия, сумасшедшее отчаяние и исступление.

Загрохотали впереди обозы, и толпа, взрываясь бурей рыданий, волнами поплыла по улице.

Сергей шел за Дашей и за ними — Жук. На другой стороне ныряли (видно сквозь толпу) маленький Громада, горбун Лошак и Мехова.

И мутной тоской ныла боль в груди Сергея. То, что совершалось,—безобразно и дико. Этого не может принять партия. Зачем эта толпа? эти женщины в корчах рыданий? эти дети, бьющиеся на руках матерей? Не может этого принять партия, а для него, Сергея, это—слишком тяжело и непереносно.

Вот девочка с куклой: вцепилась в руку матери, а сама держит за руку куклу.

Чирский, высоко подняв голову, идет спокойно, с жертвенной важностью и подтяжки колышутся на лопатках, а руки — в карманах.

Древняя старуха, в чепце и накидке, горбатится, опираясь на палку, точно идет в крестном ходе, а ее поддерживает под руку девушка, вся в белом. Они не плачут, и лица у обеих как у монахинь.

Сергей увидел недалеко, впереди, отца. Он шел один, оглядывал толпу и вздрагивал бровями от улыбки. Босой. Штаны — в прорехах, И шел странно: то быстро семенил, перегоняя других, то останавливался, то брел тихо, в глубокой задумчивости.

Был момент, когда он увидел Сергея и радостно затеребил бороду. Он поднял обе руки и подождал, когда подойдет Сергей.

— Ты — мой конвоир, Сережа, а я — мудрец, идущий в изгнание. Не правда ли, любопытно? Тебе не пристало иметь со мною общение, доколе я — твой арестант. Я только хотел сказать тебе, что твое оружие, охраняющее крепости вашей революционной диктатуры, смешно и нелепо: оно свистит, как дудочка, на плечах такого свирепого большевика, как ты. Но позавидуй мне: я чувствую сейчас мир таким безграничным, каким не чувствовал его Спиноза, хотя Марку Аврелию это уже мерещилось по ночам.

С тех пор, как видел его Сергей в последний раз, отец опустился еще более: смерть матери была для него последним ударом. Своими отрепьями он напоминал нищего: был грязный, нечесанный, и ноги сочились кровью и гноем. И тошнотная жалость до физической боли обожгла сердце Сергея.

— Тебе некуда итти, батя. Водворяйся, пожалуйста, в моей комнате — мы будем вместе. Не надо этого, батя. Куда ты пойдешь? Ты погибнешь, батя...

Старик изумленно поднял брови и младенчески рассмеялся.

— О, нет, мой сын!.. Я слишком хорошо знаю цену своей свободы. Я — человек, а у человека нет места, ибо ни одна нора не может вместить человеческого мозга. Каждое событие есть лучший учитель: смотри, как непосильна рабам свобода, и какое проклятие для курицы ее крылья...

Беззвучно подошла к Сергею Верочка. Она, должно быть, шла по тротуару вместе с любопытными. С обычным изумлением в глазах, дрожа всем

телом, она залепетала около уха Сергея невнятные слова, и одно только почуял в ее голосе Сергей — мольбу и слезы.

Отец засмеялся, заиграл руками, и в его пустых глазах блеснула радость.

— А, а... Верочка!.. Неизбывный источник любви... Каким чувством восприняла ты мою голгофу, девочка?.. Ну, иди, ну, иди сюда!..

— Иван Арсеньич!.. Иван Арсеньич!.. Я так рада!.. Сергей Иваныч!.. Я так рада!..

И крылатой походкой побежала к старику. Взяла его под руку и пошла вместе с ним, как дочь, с слезным сиянием в лице.

— Батя!..

Сергей хотел сказать еще какое-то слово отцу (какое — забыл) и протянул ему руку. Но рука не почувствовала опоры и упала: отец с Верочкой отходили от него в толпу.

Но старик опять обернулся и посмотрел на Сергея, как чужой, с морщиной поперек лба.

— Гляди, Сережа, как не нова история: я — некий слепой Эдип, а вот она — моя Антигона...

И засмеялся, чужой, далекий, ушедший в другой, непонятный для Сергея мир. Поправив ружье на плече, Сергей больно сжал зубы. Внутри в судороге оборвалась последняя струна.

На пустыре, в седых бурьянах, недалеко от набережной, толпа опять осела на узлы и на клочья травы. Обозов уже не было: их отправили в склады Исполкома.

На набережной цветной веревкой толкался народ: это — следом прибежали городские мещанки.

И уже не было истерических криков, рыданий и гомона. Сидели, лежали, устало толкались на месте, будто больные. Не все ли равно, что будет потом? Дети вскрикивали, прыгали, срывались на игру: ведь так хорошо побегать по зеленой траве, когда солнце выходит из четких гор и полыхает в утренних дымах, а недалекое море голубеет, золотится до горизонта и огневеет туманом. Только хочется есть... Есть!.. Дети срываются на игру и на плач: есть, есть!..

Недалеко — пристани, только нет кораблей, и пристани тоже заросли травой. Томление изнуренной толпы так похоже на надежду: вот задымят на блестящей зыби пароходы, вот загрохочут лебедки, и люди засуетятся, забегают по набережной, опьяненные запахом отплытия.

Глеб угрюмо смотрел на море и в ту сторону, откуда должен притти с своим отрядом Лухава, с повозками, нагруженными скарбом и семьями рабочих.

...Ночью капельными гирляндами вспыхивали горы, набухшие каменной тьмой, и огни летали там, как горящие птицы, и птицы метались по горным провалам из тайных жутких гнезд, роняли раскаленные перья и кликали беду. Полк красноармейцев в боевом порядке расколол ночные

глубины. Каменным шагом, с каменными лицами люди жутко шли в жуткую тьму, на зловещие зовы огненных птиц.

Толпа, растерзанная ночью, — в судорогах отчаяния, отекшая бараньим бессилием и покорностью. Вот она здесь, никому не нужное, глупое стадо. Бессонная ночь и эта осевшая банная жижа... Стоило было тратить энергию на эту орду, чтобы лишний раз ударить ее страхом и выбросить, как навоз, за задворки? Зачем ненужные крики детей и вся эта сумасшедшая паника живых мертвецов? Толпа эта только воняет домашним потом, а этот бараний ужас, ревущий страданием и безумием, воротит нутро до лихоты. Как-то иначе нужно было разворошить эти гнезда. Свой страх и жуть эти детишки унесут с собою в будущее, потому что страха и жути дети не забывают никогда.

Полк красноармейцев в боевом порядке унес с собою волнение Глеба. А эта барахольная ночь, прыгающая подштанниками, нижними юбками и смердящая спальным бельем, мутила душу Глеба обидой и злобой.

Не в этом дело: дело — в другом. Завод в огненном грохоте... Пирсы и каботажи, вырастающие из моря. Тысячи рабочих среди грохочущих машин. Земля, горящая золотом пшеницы. Этого нет. Там, в горах и за горами, — пушки, и красноармейцы в окопах гремят затворами винтовок. А в полях — пустыня и разбойничьи скопища, голод и голые одичалые люди, умирающие на бесплодных черноземах...

Прогнать эту ослепшую толпу бездельников — свистнуть и затопать ногами. Приготовиться к горным ночам, окрыленным зловещими огненными знаками.

Мехова с винтовкой за плечом подошла к Сергею. Была бессонная ночь, а глаза Поли горели утренним блеском.

— Как давно я не переживала таких волнующих минут, Сергей!.. Точно была на войне или в дни Октября... Хорошо, удивительно хорошо!.. Ну, а ты? Почему ты такой тусклый, Сергей? Ну?..

И ее слова, звенящие радостным возбуждением, были очень далеко: будто слышал и будто не слышал, и будто крикнула она очень давно. И он ответил невнятно, как во сне, — не ей, а этому далекому вскрику, и не он ответил, а кто-то другой.

— У меня болит голова...

— Что с тобой?.. Какая сейчас может быть голова, когда кровь кипит как тогда?.. Не может сейчас болеть голова... Новая экономическая политика?.. Чорт ее возьми!.. Где она? Нет ее!.. Мы завтра же выгоним на принудительные работы всю эту мерзоту... Ты слышишь, Сергей?

— Не знаю...

— Как — не знаю? Что ты говоришь?..

— Не знаю...

Спокойно стоял он с винтовкой в руках, спокойно смотрел на толпу, и будто не он был в нем, а кто-то иной — чужой и замкнутый.

А Мехова срывно пошла от него по бурьяну, спотыкаясь, торопясь, а куда пошла — неизвестно. Было это или не было? Мехова

это была или другой человек? Может быть, не было никого — показалось...

По булыжному шоссе громыхали повозки. Пожитки, дети на пожитках, а сбоку возов шли рабочие и бабы. Лухава широкими взмахами ног косил бурьян, и волосы черным пламенем метались от быстрого шага.

Поля с пылающим лицом подбежала к Глебу. •

Глеб выпятил грудь и взмахнул рукою.

— Товарищи-и!.. Стройся!..

Коммунисты разорвали круг и бегом, обгоняя друг друга, запрыгали к Глебу.

— А ну, граждане, забирай свои монатки... Шагай по новым норам... Пожили в хоромах — поживите в лачугах... Там, в предместье, вам покажут, где открытые двери... Богато для вас наготовлено кабинетов и залов... спать на пружинах и отдыхать на диванах... Вольно!..

Люди, обессиленные и измученные, сидели на траве, на узлах и были дыхлы, слепы и глухи. Иван Арсеньич оторвался от толпы и первым пошел по траве вместе с Верочкой, и шли они тихо, в ласковой близости, как будто вышли на обычную утреннюю прогулку. Старик улыбался, взмахивал рукою и говорил с нею оживленно и восторженно. За ними поднялись и зашагали еще несколько человек с узлами и корзинами, потом—еще и еще... И вдруг все заторопились, заползали, забуровили, забегали и стали разбредаться в разные стороны—и на шоссе, и по бурьяну, и обратно в город...

Лухава подбежал к Глебу и, задыхаясь от утомления, схватил его за гимнастерку.

— Сейчас же в партком вместе с отрядом... Сегодня в ночь переходим на казарменное положение... Идет бой за горами... Объединенные силы бело-зеленых. Город стоит под угрозой захвата... Бремсберг испорчен... Последние рабочие бежали с лесосек... У красноармейцев на бремсберге — потери...

— Что ты мне заливаешь, чортова морда?.. Бремсберг?.. Тот, который наш?.. Что ты мне заливаешь?..

— Да, тот самый, который ваш... Торопись! Сбор у парткома.

Глеб сжал челюсти и раздавил грудью звериное рычанье.

XII

Сигнальные огни.

1.

На страже.

Отряд Глеба занимал район предгорья, за городом, где были виноградники и огороды предместий.

Днем, во время строевых занятий в казарме, по городу из-за гор далеким громом рокотало дыхание пушек: там, за дымными хребтами, шел

бой. Сводный отряд особого назначения готовился выступать на подкрепление. По ночам он в полном составе нес сторожевую службу по охране города.

Днем город пустыми улицами проваливался в тишину и оторопь, ночью умирал во мраке. Уже не горело электричество на заводе, и окна обывательских квартир были наглухо закрыты ставнями и занавесками. И только по учреждениям, среди толчеи и табачного дыма, и по улицам обыватели и приблудные члены профорганизаций таинственно играли бровями при встречах. И шопот и шипенье носились по городу вместе с вихрями пыли, и ветер с гор разносил их по всем городским закоулкам, за город, в предгорья, в ущелья, где под каждым кустом и камнем таился невидимый враг.

Часть женской организации во главе с Дашей ушли с санитарным отрядом на позиции, а другая часть, под командой Поли, обслуживала коммунистический отряд в казармах и спешно подготовляла отправку семей рабочих на случай эвакуации.

Днем Глеб несколько раз встречал Полю: она без устали бегала по профсоюзам, по предприятиям, в Совпроф, в Партком, в Исполком, бросала для постоянной связи своих женщин во все концы и организации, чтобы дело держать на ходу и, на случай приказа, сразу, полным размахом, в несколько часов эвакуировать несколько тысяч женщин и детей. Поездные составы под парами стояли у завода, на набережных, в предместьях, готовые к погрузке, и дыхание паровозов сплеталось со вздохами далекого грома орудий.

Поля не спала уже двое суток, и глаза ее были немного в горячке, а лицо горело тифозным румянцем.

В этот день она урвала минутку, подбежала к Глебу в казарме и засмеялась сухими губами. Она не замечала, как сочилась кровь из трещинок и окрашивала зубы, мешаясь с слюной.

— Вот оно, Глеб, где настоящее дело... Жили — долбили тезисы о профсоюзах и о новой экономической политике... Крутились на ежедневной серой карусели. Глохли и слепли до одури на заседаниях. Плодили бюрократизм. Выветривались, превращались в профессиональных чиновников. Новая экономическая политика?.. Однажды я слышала, как один водник — водолаз — сказал: — Эта новая политика выдумана здорово башковито: вино и пиво, ресторан — распивочно и на вынос. Это я поддержую и великолепно голосую... Нет, Глеб, этого не будет. Десятый съезд партии не станет на этот путь... Нет!..

Глеб брякнул винтовкой, и на щеках заиграла гармошка.

— Ты не пляши курицей, товарищ Мехова. Вот дрызнем бандитов, и — крышка твоему настоящему делу. Кончится съезд, и закрутим эту знаменитую новэкономполитику. А твоего водолаза посадим в коммунхоз: пущай плодит там всякие рестораны, а из ресторанов вышибает деньгу.

Поля испуганно встряхнулась, и брови ее вздрогнули от злости.

— Этого не будет никогда... Партия не может трактовать вопрос так, как трактуете все вы. Не можем мы предать революции, это было бы страшнее смерти. Это — невозможно. Ведь интервенция разбита, блокада — бессмысленная затея. Наша революция зажгла весь мир. Пролетариат всех стран — с нами. Реакция — бессильна. А разве новэкономполитика — не реакция, не реставрация капитализма? Нет, это — чепуха, Глеб.

— Туда, к чорту!.. Какая же это реакция, коли это — мужик и производство?

— Ага, занозило?.. Вот тебе и закрутим новэкономполитику... Закрути, попробуй!.. Концессии, рестораны, базары... Кулаки, прожектеры и спекулянты... Может быть, скажешь что-нибудь утешительное про рабкоопы?.. Продналог, кооперация... Может быть, все это нужно... Но только не отступление, Глеб... только не это... только не это... Смертельные подвиги в бессмертной революции... Вот!.. Углублять, зажигать всемирный пожар, не бросать завоеванных позиций, а с бою брать новые!.. Вот!..

Она убежала, с красными пятнами на щеках, а он, Глеб, стоял, взволнованный, и думал о том, о чем говорила Поля.

...В эту ночь Глеб с отрядом стоял в долине, за городом, и охранял район шоссе и предместья. Все люди были распределены цепью от шоссе по кривой до склонов предгорья, а патруль из трех товарищей бродил по предместью и будоражил пугливых собак, и по их лаю можно было знать, где шагает патруль.

Глеб и Сергей стояли на опушке леса и следили за огненными факелами в горах.

Вон пламя вспорхнуло рыжей птицей на горе и полетело вверх. Взвилось ракетной струей и полосонуло мрак. Вспыхивала вытянутая рука и плечи человека.

Очень далеко, в ущелье, взметнулся такой же порхающий факел и полетел во тьме падающей звездой. Выше задрожал и закувыркался третий, потом — еще и еще... Тухли, зажигались, звали, извивались в змеиных конвульсиях...

Позади — лес. Его не видно. Только деревья рядом, у шоссе, вихрятся лохматыми тенями. Пластаются крылатые ветви, и между ними — непроглядный мрак и серые змеи. Этой ночью, как и вчера, человек города умер от ужаса перед смертью, идущей с гор. И над городом звенит объятая страхом тишина. Город боится по ночам своего шопота и забился в подполье И в лесу — тишина. Она зыбью плывет из его глубин и пахнет болотом и солодом. Новорожденные листья порхают бабочками, чихают и чешутся И всюду льется, поет шмелиным звоном далекая, сказочная капель.

Сергею казалось все призрачным, изменчивым и безграничным. Эта первобытная тьма высасывала внутренности жутью дремучих тайн.

Как культурный человек, он знал ночь при свете электричества, а горы и звездное небо казались там близкими и понятными, как каменные дома, как бульвары на площадях. Днем винтовка не была тяжелой, а теперь она приросла к земле.

Огненная птица упала и забилась в кустах. Вспыхнула веером искр и погасла, и мрак там стал жирным сгустком, дрожал и реял вместо огня. А рыжие звезды и горящие птицы еще летали в горах и ущельях и близко и далеко.

Глеб положил руку на плечо Сергея.

— Его надо поймать, к чортовой матери... Так и просится на мушку...

— Да, он совсем близко. Это он жжет английский порох. Ты видишь? Ведь он, без сомнения, знает, что мы — здесь, и не боится расстрела. Впрочем, мы опоздали, товарищ Чумалов: он сделал свое дело. Видишь — потухло. Он не будет рисковать...

Глеб спокойно запалил свою трубку и посматривал на блуждающие созвездия в горах.

— Коли б он не думал, что мы с тобою — дураки и трусы, он не стал бы плясать у нашего носа. Он поиграется еще долгое время — вот увидишь.

Сергей взглянул вдоль шоссе. Оно дымилось пеплом и потухало во тьме. Там, где оно уже не было видно, черной надгорной тучей громоздилось в охапках и клочьях огромное дерево. И Сергею мерещилось, что в его ветвях вспыхивала спичка и не могла зажечься.

— Всюду — враги, Глеб. Что удивительного, если они и здесь, вместе с нами?..

Там, за лесом, — вокзал. Но и там — тихо, только ночь пыхтела, как животное, и жевала сонную жвачку.

Недалеко, по шоссе, скрипела телега и звенела колесами.

Все это — чепуха. Самое важное — вот: шквалом снесена вся работа, начатая с таким напряжением и энтузиазмом. Разрушен бремсберг, и вагонетки опять валяются среди камней и кустарников, как в те дни, когда он, Глеб, ходил по ржавому мусору с тоскою в душе. Опять стоят дизеля, и корпуса цехов — пустые и холодные. Опять — безделье и тьма. Эвакуация беженцев, голод, лишения, боевая обстановка. Опять винтовка в руках. Опять, может быть, — окопы, переходы, копоть и грязь порохового дыма, а не трудового огня.

С его ли силами бороться за организацию сил на трудовом фронте, когда все, начиная от машин до гвоздя, разрушено, расхищено, заржавлено, когда нет топлива, нет хлеба, нет транспорта и вагоны громоздятся на путях горами кладбищ и у пирсов еще долго не будут дымить корабли. Не прав ли предисполком Бадьин, когда смотрел на него, как на дурака, который сам не знает, за что берется? Выскочка. Головотяп. Пустолом. Еще не в состоянии крепко держать в руках малое, еще враг угрожает самому существованию рабочей власти — как же можно строить планы на воскресение заводов? Об этом ли думать сейчас, когда люди обречены на голодную дачку и, бессильные, не в состоянии вынести тяжести рабочего дня? Для чего производство, когда хозяйственная жизнь Республики парализована на года и страна мрет от голода и одичания?..

Опять вспыхнул факел горящими волосами, но был уже дальше и выше. Накалились кусты и стали как живые. Огненные нетопыри зале-

тали по горам. За городом, по туманной мути неба, электрическими вспышками зарниц задрожали разряды.

— Я ж тебе говорил, Серега? Опять заплевались черти из ада.

— Вот это — совсем хорошо. Такой иллюминации я еще никогда не видал. Выходит, что мы — в сплошном кольце.

— Овва, в мешке, будь ты проклята! Прыгай в небо.

— В эти ночные часы я думаю, товарищ Чумалов, о будущем. Наши дети будут представлять нас великими героями и создадут о нас легенды. И даже наши будни и наше голодное вынужденное безделье в производстве, вот это наше с тобою ночное дежурство возведут в степень, как говорят математики. Все это отразится в их воображении, как эпоха героических подвигов и титанических свершений. И мы с тобой, как маленькие пылинки масс, покажемся им гигантами. Прошлое всегда обобщается и возводится в степень. Они не будут помнить наших ошибок, жестокостей, недостатков, слабостей, наших простых человеческих страданий и проклятых вопросов. Они скажут: вот — люди, которые были насыщены силой и не знали преград. Вот — люди, которым суждено завоевывать целый мир. И к нашим могилам будут приходить, как к неугасающим маякам. И когда я думаю об этом, мне немного стыдно и радостно за ту ответственность, которую мы несем перед человечеством. Меня давит будущее, Чумалов: наше бессмертие — слишком тяжелая ноша.

— А пускай: то — неважно. Что будет — то будет: история работает, как полагается. Мне важно, к чортовой матери, как мы будем двигать работу. Сварганили вот бремсберг, а его, мерзавцы, сломали. Опять волынку начинай от печки. Вот, думал, пустим завод,— а тут эта бандитская шатия... Мешают, сволочи: вот что противно...

— Ты слишком думаешь просто, Чумалов: мозги у тебя уложены по-хозяйски, как кирпичи. А у меня клеточки мозга — как птицы в клетке.

— Вот туда, к чорту, какая башка!.. И держать мозги, этакую тварь — худо: галдят, проклятые... И выпустить — худо: будет пустой барабан...

Ночь зияла бездонной глубиной, а мрак ее вспыхивал зловещими огнями. И эти огни в ночи, летающие тревожно, как совы, и электрические разряды зарниц в тучах были таинственно жутки. Близился великий час. Там, за горами, куда перелетали огненные ножи факелов, в узких ущельях гнездится недобитый зверь. Движется он, невидимый, от казачьих станиц, и бородачи, станичные батьки, рвутся сюда ордой, с оскаленными зубами людоедов, с гиком, с шашками, сверкающими кровью. Саранчовыми выползками заплюются станицы, куркульские восстания дымом и кровью заволокут поля, камыши, предгорья и ковыльные степи.

Горы и леса кишат зверолюдом. Днем они прячутся в темных зарослях и пещерах, или гуляют по городу в масках друзей революции. Они — всюду: и в рядах бойцов, и в советских кабинетах, и в домах мирных, безобидных мещан. Кто может указать их, назвать имена, раздавить их, как змей? Но наступает ночь, и они выползают, распыленные мраком, для предательской работы. Вот они зажигают свои сигнальные огни, и огни полы-

хают и летят в саранчовые поля, призывно маячут и хохочут совиным хищным поглядом.

По шоссе, от гор, металлически звенела телега. Четко чокали копыта усталой лошади. Сонным хрипом невнятно бумкали голоса.

С винтовками под мышкой Глеб и Сергей пошли по дороге, которая у самых ног таяла и зыбилась ночью. Все — и земля и лес — проваливалось во тьму, и оттого, что не было твердой опоры глазам, Сергею казалось все призрачным, невещественным, и небо и земля одинаково близкими и бездонными, как пустота. И при каждом шаге пугалось и замирало сердце: вот он сейчас опустит ногу, и вместо накатанной дороги — трясина или черная пропасть...

Ясно видна была лошадь. Морда тускло тлелась от вспышек зарниц и огней в горах. На телеге чернели тени. Их — много, и воз кажется большим и пухлым.

— Стой!.. Кто такие?

Глеб стал на дороге, перед мордой лошади, и держал винтовку наотлет.

— Раненые...

— Пароль?

— Какой тебе чорт — пароль?.. Видишь, башки — в чалмах?

— Как наши дела?

— Пойди, поиграй в чехарду — там узнаешь... Засели крысы в норе, а мы жарим... А по нас — шрапнелью... Ничего — угарно... Ставим ядреные крысоловки, сукинова сына... Шкварчат и повизгивают, как порося... Зацарапали с полсотни офицерья и пошлепали вдрызг... Только глаза прыгали, как лягушки... Две сестренки сегодня всю братву распотешили... Кишки порвали... Поставили их над утесом под мушку... Взвизгнула одна: — Хамы, поганые обезьяны!.. и — кувырк! — вверх тормашки... Другая: — Хамы, босяцкая сволочь!.. и — кувырк! — вверх тормашки... Такое, ядри твою мать, представление было — кишки полопались...

— А как насчет подкрепленья?.. Ждете?..

— На кой чорт!.. Мы живо их всех перешьем в строчку... Потерь у нас убитыми — плёвое дело... А раненых — только первая партия... Остальные в окопах... Мы — сверху, хороводом, а они — в кубышке... ни туда, ни сюда — ни хвостом, ни мордой... чистая ступа, ядри твою корень...

— Ну, молодчаги, ребята!.. Трогай!..

2.

Безрукий пленник.

Горы расцветали огненным садом. Зарницы дрожали над морем, в тумане, сполохами.

Сергей и Глеб, с винтовками в руках, немыми тенями поднимались по взгорью, в кустарниках. Хлопьями рвался огонь, прыгал по лохматым охапкам кустов, брызгал искрами, погасал и опять взвивался пылающей птицей.

Прошли мимо бойни. Ограды нет: разрушена. Двери и окна — в проломах. Может быть, там тоже — враги, с готовой пулей на прицеле?

— Шагай кошкой, Серега, не задевай кустов, держи крепче винтовку... Мы его сцапаем живьем...

Глеб напрягался и вытягивался в струнку и крался с собачьей ловкостью. Невнятная радость хмелила Сергея. Не отрывая глаз от огня, он улыбался, не зная об этом. Дрожали руки и ноги, будто летел он с высоты в пернатой окрыленности. Клейко смазывала лицо упругая паутина и дрябло рвалась около ушей. На ресницах вспыхивали лучи перламутра. Волны теплого солода клубились в кустах: это дышали остывающие камни, и парились весенние листья бересты и кизила.

Ночь — лжива в расстояниях: будто близко, будто далеко. Но человек отчетливо виден, освещенный факелом. Он бежал по горе вверх путанными петлями, кружился, вытягивал левую руку над головою, и фигура его кособочилась. Гимнастерка и фуражка огнились по краям, будто излучались. Правый рукав болтался тряпкой. Безрукий.

Оба присели одним движением. Взглянули пристально, одним мигом, друг на друга — поняли.

— Обязательно живым, обязательно, Чумалов... Ты видишь — безрукий...

— Не будь растяпой — накроем... Следи... Все нутро и мозги — в глаза...

Кровь упавшим колокольчиком бьется в висках. Безруких так много... теперь — много безруких. Они всегда вызывали в Сергее тревогу, и в пустом рукаве он чувствовал угрозу и скрытый удар. Брат — тоже безрукий. Он тоже блуждает таинственным, жутким призраком.

Безрукий срывно остановился и прислушался. Повернул голову вправо и влево. Стоял спиною, и лицо видно было только в профиль на один короткий поворот. И в этом огненном профиле почудился Сергею знакомый хищный клюв.

Пылающей змейкой вспорхнул огонь и ракетой полетел в кусты. Тьма стала густой и топкой, как болото. Забухали редкие шаги по камням, и кусты зашумели, точно от порыва ветра.

— Тю, к чортовой матери, упустили!.. Катай ветрогоном, Серега!.. Загоним в мат... Чеши барбосом, товарищ!..

И Глеб прыгнул в кусты, расколол камни каблуками и провалился во тьме. Плиты и щебень трещали и брызгали под ногами и звонко разлетались осколками стекла. Сергей прыгнул вслед за ним, и ему опять почудилось, что он стал воздушно легким, пернатым, и птицей полетел навстречу дрожащим зарницам и горным огням.

— Стой!.. Застрелю сукина сына... Стой!..

Быком орал впереди Глеб, и не слышал Сергей ни грохота ног, ни криков, ни выстрелов в преисподней тьме. Летел он легко, невесомо, и не было земли под ногами, ни свиста ветра в ушах, ни боли от шипов держи-дерева,

которые вонзались в лицо и рвали кожу до мяса. Задыхался и кричал, а что кричал — не слышал сам.

Из мрака, наперерез, крылатым галопом промчался по горе бешеный конь. Захрапел перед Сергеем, взорвался утробой, споткнулся о камни, лягнул воздух и смахнул хвостом удары ног. Опять взрывно фыркнул и рассыпался мраком. И на том месте, где был конь, зиял пролом.

Сергей остановился и прислушался. Далеко копыта дробили камни, и криков Глеба уже не было слышно.

Дрожали сполохи в электрических разрядах, фосфором пылился туман. И нельзя было понять, где было море, где — небо. Внизу город громоздился кладбищем — глыбы без огней, огромные могилы, кучи отвалов в каменоломнях. Позади — оглянулся Сергей — блуждали по горам факелы. На той стороне горы еще выше, в зубцах, перевалах и пиках, и по ним тоже роились созвездия. Вспыхивали и тухли, летали огненными змеями, разгорались кострами и растекались пламенными потоками с вершин, по ущельям и ребрам.

Внизу, в лощинке, вздыхали и бормотали люди, а может быть, грызлись собаки над падалью. Звенели камни, как черепки.

Там — Глеб и там — безрукий. Из двух врагов один должен быть побежден.

Безруких так много. Почему он, этот безрукий, должен волновать Сергея?

Он запрыгал вниз, по обрыву, и почва раскалывалась под ногами и превращалась в пыль.

...Глеб корчился в камнях, выгибал спину и рычал. Сергей увидел, как он давил коленкой грудь распластанному человеку и впивался обеими руками в горло.

— Брешешь, подлый дикач, не уйдешь!.. Крышка, мерзавец!.. Мой!.. Помогай, Серега... Обыщи его, подлеца... Чисти по карманам все, что есть...

Дрожащими руками, с лихорадочной торопливостью, Сергей обшарил карманы штанов и френча. Нашел только коробку с табаком, спички и корку хлеба. И, когда он коснулся култышки правой руки, замер от визгливого удара в груди.

— Я знал это, Глеб... Это — мой брат... Это — мой брат, Глеб... Я сейчас убью его... Я расстреляю его, Глеб...

— Добро... Подбери его оружие у меня под ногой. А ну, отряхайся, приятель... Знаменитая добыча, хотя и безрукая... Становись в ряд, Серега, и держи наготове винтовку... А может быть, коли он — твой брат, отдать тебе его на пощаду?.. Ну?.. Что скажешь на его защиту?..

И в этой насмешке Сергей больно почувствовал вражду. Почудилось, что глаза Глеба блеснули горящими угольками.

— Оставь шутки, Чумалов... Или веди, или я убью его на месте... Ты не имеешь права разговаривать со мной в таком тоне....

— Да ну, не бесись, чортова обида...

У Сергея дрожали руки и ноги.

...Безрукий стал на ноги, хотел отряхнуться, но рука была закована в пальцах Глеба. Захлебывался и кашлял. Сорвался на смех.

— Опять необычная встреча, Сережа... Все-таки ты не годишься в подметки вот этому свирепому молодцу.

Глеб наклонился к лицу безрукого, но руки не выпустил.

— Пошли, ребята!.. Товарищу Чибису—гость по нутру...

Безрукий опять сорвался на смех. Хотел говорить, но смех рвал его слова, и он задыхался в усилии быть спокойным.

— Мне очень лестно итти с вами, друзья... Особенно с вами, доблестный военком... Но руку мою вы все-таки пустите: я — не ребенок и не барышня, чтобы проявлять ко мне такую трогательную заботливость. Побежденный враг пойдет с вами так же гордо и твердо, как и вы, победители... Вы только, военком, отстраните от меня немножко моего кровного братца Сережу, а то я не уверен, что он не страдает теперь худшим видом женской истерики... Успокойся, Сережа: ты очень волнуешься, мой друг...

Сергей щелкал зубами и никак не мог побороть тошнотной лихоты в груди. Он употреблял невероятные усилия, чтобы не закричать и не броситься на брата в припадке животной ярости.

Они поднялись из оврага и пошли по дороге по взгорью.

По горам и мутному небу пыхали молнии.

— А все-таки ваше дело — дрянь, кустари... Завтра вашими мозгами будут загажены мостовые. Жаль, что не увижу своими глазами. А тебя, Сережа, я повесил бы публично у ворот своего дома...

Сергей засмеялся и изумился, как он мог смеяться в это мгновенье.

— Да, мог ли ты ожидать, Дмитрий, что я поведу тебя на смерть? А вот видишь?.. Как тебя расстреляют — я не увижу. Но уж одно то, что ты пойман... пойман при моем участии... дает мне удовлетворение... я веду тебя под собственной пулей...

А безрукий смеялся дружески весело и простодушно.

— Ну, ты совсем уморил меня, Сережа... ты — бесподобный комик, ей-богу..

Глеб выпустил руку Дмитрия и вскинул ружье за плечо.

— А ну, полковник... Как говорите: хорошая прогулка для чертовой ночи?. Коли бы видали мещане, сказали бы: вот веселый народ, ловкачи-ребят... Оно — правда: знаменитые гости для товарища Чибиса...

Дмитрий смеялся, но в голосе его была заноза. И Сергею показалось, что он вовс не смеется, а дрожит от тоски и хочет сказать такое, чего не могут назвать человеческие слова.

Городской патруль шел навстречу с винтовками наперевес.

(Продолжение следует).

Рассказы.

Пантелеймон Романов.

Зеленая армия или умные командиры.

1918 г.

На вокзале играла музыка и развевались красные знамена, — отправляли поезд на фронт. Только что кончились речи комиссаров, призывавших к стойкой защите молодой свободы, и был дан свисток к посадке.

В последнем товарном вагоне сидели у раздвинутой двери три солдата: один — бородатый, с ленивым и унылым видом, куривший и сплевывавший в дверь, другой — добродушный круглолицый в старой шинели без крючков, перехваченной ремнем из сыромятной кожи с железной пряжкой. Он с улыбкой оглядывался на всякого, кто к нему обращался. Третий был молоденький солдатик в рваном картузе, перевернутом козырьком назад, только что сбегавший за кипятком.

Потом к ним подсел железнодорожный машинист с корзиночкой, заложенной вместо замка палочкой.

Паровоз протяжно загудел. К вагонам подошли солдаты с рухьями и начали закрывать двери.

— Ну-ка, убирай ноги-то, двери закрывать велено.

— Что тебе закрывать? — сказал молоденький солдатик, полоскивавший кружку для чая.

— Двери, что...

— Коли надо будет, сами запрем.

— Не «коли надо будет», а сейчас велено. Ты, что, иностранец, что ли, порядков не знаешь? Принимай ноги к чорту.

И с шумом задвинул широкую дверь, заложив пробой снаружи.

— Вот черти-то, — сказал молоденький солдатик, которому едва не прихватило дверью ноги, — что это они уродничают-то?

— Нет, это уж теперь порядок такой, — отозвался круглолицый, — сначала было отправляли не запирамши, только речи эти перед отправкой поговорят, музыка проиграет и — пошел. А потом получилось неудовольствие: на место, бывало, приедут, хватятся командиры и комиссары тут, а солдат половины нету.

— Разбегались? — спросил молоденький.

— Разбегались.

— Небось, шумели, когда запирать-то стали?

— О, спаси царица небесная! А потом комиссары пришли и говорят: «Это, говорят, мы не из-за вас, а из-за несознательных элементов запираем». Ну, угомонились. А потом привыкли и горя мало, как будто так и надо.

— Привычка первое дело.

— Да что они рано заперли-то, скушно сидеть, когда поезд стоит. Эй, вы, черти, отоприте! — закричал молоденький солдатик, стуча в дверь рваным башмаком, который надевался у него, как калоша.

— Сиди, сиди там, — послышались снаружи голоса проходивших по платформе людей. — Зеленые, что ли?

— Да.

— На фронт?

— Ну, да.

— Ну, и сиди знай, — выпустят, когда надо.

— Вот черти-то. Запрут, в темноте и возят.

— Это с непривычки темно, а полчаса просидишь, обтерпишься и ничего. Вон и так уж видно стало, — сказал круглолицый. — А на больших станциях выпускают. Ну, конечно, присматривают. Я уж из третьего места еду. Сейчас из Воронежа.

— Выпускают? Это хорошо. Я, главное дело, насчет харчей, а то хлеба дюже мало купил.

Все помолчали.

— А вы откуда? — спросил круглолицый у бородатого.

— Мы сейчас прямо из лесу. После мобилизации почесть всей деревней сидели.

— Уговаривать, небось, приезжали?

— А как же. И из уезда и из губерни. Все свободы, говорят, потеряете.

— Вот, вот, это первое дело, — сказал, улыбаясь, круглолицый.— Ну, а вы что же?

— Что же мы... Известно что: к чортовой матери. Шкура дороже свободы.

— Это первое дело, чтобы народ согласный был, сознательный, а не вразброд.

— Да... А только тут и эта сознательность не помогла, — сказал бородатый, почесав спину, — они, домовой их задуши, с другого конца обошли: «Вот вам, говорят, неделя сроку, если свободу зачищать не пойдете, всех ваших поросят отберем». А у нас в деревне свиней много.

— Ну, вы что же?

— Что же, вот и поперли все.

— Добровольно?

— А то как же еще.

— Попрешь, когда до поросят добираются, — сказал молоденький.

— А хорошо в Воронеже-то было?

— Хорошо, — отвечал круглолицый, выплескивая чай из кружки на пыльный пол, — харчи были хорошие, хлеба давали вволю. А не знамши до этого тоже не хуже вас в лесу сидели.

— Командиры, значит, умные попались, вот и харчи хорошие были, — отозвался бородатый, уныло оглядывая светившиеся в стенах щели.

— А кашу давали? — спросил молоденький.

— И кашу давали. Мы требовали. Народ все подобрался вот не хуже вашего, дружный, сознательный, как чуть порции убавят, так все как один человек поднимаемся.

— Солидарны были? — спросил молчавший в стороне машинист.

— Чего?..

— Солидарны, говорю, были, сорганизованы?

Никто ничего не ответил.

— Это покамест тут, по городам стоишь — сыт, а на фронте, пожалуй, наголодуешься за мое почтение, — сказал бородатый, лениво почесав черную волосатую руку.

— Нет, на какой фронт попадешь, да ежели командиры умные попадутся, насчет харчей не беспокойся.

— А на каком фронте положение сейчас плохо? — спросил машинист, сняв для прохлады фуражку и покачивая ею между колен.

— Особо плохого нигде нет. Конечно, насчет харчей спервоначалу лучше восточного не было, когда у белых стояли, там одной баранины было столько, что собакам половину вываливали, а потом кур, поросят пошли чистить, — что попадется, то и лупи.

— Где брали? — спросил машинист.

— Где... где берут-то... — сказал недовольно молоденький солдатик, охладев в своем возбуждении.

Все помолчали, недовольно оглянувшись на спрашивавшего, как на человека из чуждой среды.

— Это, значит, вроде как мы, когда в 14 году набег на Германию делали?

— Одинаково.

— Эх, лучше западного фронту не было. Уж и поелись там, мать честная! Сколько опосля ни воевали, ну, прямо — никуда не сравнить. Нигде таких харчей не было. Скотина разведена такая, что и во сне этого не увидишь. Овощи всякой полны огороды. В домах — не по-нашему — свиньи да телята, а чисто и музыка есть.

— Вот бы куда попасть-то!

— Да... А командир у нас умница был. Вот, говорит, ребята, даровую науку заграничную можете произойтить. Есть чему поучиться, на что посмотреть.

— Есть? — переспросил молоденький, жадно слушая.

— Да. И спервоначала ничего почесть не трогали. Ну, прямо руки не налегали.

— Что за причина?..

— С непривычки, — сказал бородатый.

— А потом осмелели, как дорвались, как пошли чистить этих коров да свиней тридцатипудовых, только шерсть летит.

— Сразу науку произошли! — воскликнул молоденький. — Ах, здорово! На много хватило?

— Нет, на месяц. А когда после нас Орловский полк пришел стоять, чуть с голоду не подохли, вроде, говорят, как в пустыню попали.

— На свежие места всегда надо ладиться.

— Первое дело.

— Вот на Южном тоже хорошо было, когда в первый раз туда гоняли. Сахару сколько давали! Наши все туда зарились. Но, правду сказать, народу там полегло до ужасти.

— Да это уж что там... без этого нельзя.

Все помолчали.

— А там кто бьет-то? — спросил машинист.

— Чего?

— Кто, говорю, бьет, против кого сражались?

— Сражались-то?.. А бог ее знает, мало ли там, — отвечал круглолицый. — Иные по целому пуду сахару оттуда с собой привезли.

— И не разбегались?

— Нет.

— Командиры, значит, дельные были, воодушевить умели?

— Чего?..

— Командиры, значит, говорю, умные были.

— Вот, братец ты мой, какие умные были, ну просто... Как только сурьезное время подходит — в наступление итить, — так сейчас двойную порцию. Сахару — то по куску дают, а тут — по четыре.

— Вот это, значит, головы, народ понимают.

— У нас насчет этого сахару тоже вышло дело, — проговорил молоденький. — Сперва по два куска на день выдавали, а потом вовсе отменили. А тут подошло наступление, самое сурьезное: либо мы их, либо они нас. А народ у нас тогда подобрался тоже дружный, сознательный, все из лесу были, — бородачи! Не пойдем, кричим, давай сахару!

— Без сахару и хорошие харчи доброго слова не стоят, — сказал бородатый.

— Да, не пойдем да и только. Тут прискакали комиссары, давай речи говорить: свобода, мол, гибнет, помещики опять на шею сядут. А мы — свое: Давай сахару!

— Ах, здорово. Дружный народ.

— Народ на-редкость подобрался дружный, особливо насчет харчей. Прямо не подходи. Поговорили, поговорили — ни черта. Так и уехали. Смотрим, скачет сам старый командир. Умница был... Ну, думаем, сейчас распекать начнет — десятого под расстрел. Что ж ты думаешь?.. Стал на бревно, обвел всех глазами и говорит:

— Я, говорит, знаю, товарищи, что все вы доблестные защитники свободной страны, и так как цените свободу больше всего, то с радостью, говорит, пойдете зачищать ее от всех поработителей. А насчет сахару не беспокойтесь: я уже приказал не только не отменять, а еще по лишнему куску выдать. И мяса, это особо.

— А! Скажи, пожалуйста! Тут, небось, ура! — сказал, растроганно улыбаясь, круглолицый.

— Что тут было!.. На руках понесли. Гимн... — сказал молоденький, взмахнув руками и взявшись за затылок.

— Человек с головой, вот и понесли на руках.

Поезд остановился.

— Эй вы, черти, целы, что ль там? — послышался голос снаружи.

— Заперли, так поневоле цел будешь.

— Ну, на следующей станции кормежка и табак с сахаром выдавать будут.

— О, чорт! Вот здорово-то! — крикнул, подпрыгнув, молоденький.

— К умному попали, — сказал бородатый, — у такого не разбегутся, хоть без замка отправляй. — И стал смотреть в щелочку одним глазом.

— Да... ум-то нужен не только чтоб на фронте держать, а чтоб до фронта еще доставить.

— А как же. Вот у нас был один командир, ох, и мастер насчет этой доставки. Сколько ж он нашего брата на фронт перетаскал. В лес к нам приходил один, не боялся. Придет, папирос, табаку на опушке разложит, — подходи, православный народ. Пойдешь, бывало, поговоришь, человек хороший, одежа, обужа, ну, и идешь за ним. А там на станции покормят хорошенько и прямо марш под замок добровольцем, и дальше. И все вот таким манером, на запоре, когда этого еще и в заводе не было. Иные, бывало, и речи там и все, а он, первое дело глядел, чтобы перед отправкой всего нам вдоволь: харчей хороших, табаку. Но за то уж из-под замка никуда. Бывало, дорогой на станции подойдет и крикнет нам в дверь:

— Сыти?

— Сыти, — кричим, — сразу по голосу его узнавали.

— Ничего больше не надо?

— Ничего, — кричим. И любили ж его, — страсть!

— Умный человек, дело хорошо понимать может, вот и любили, — сказал бородатый.

Вредная роса.

1919 г.

— Вот прислали из волостного совета бумагу, — сказал председатель, — требуют осмотреть сад, переданный крестьянам с постройками для пользования, — так как обчество за садом не смотрит, а с сараев таскают кровельное железо.

— Да они уж третий месяц таскают. Хватились когда...

— Это надо было раньше присылать.

— Может, еще не поздно... — сказал председатель.

— Какой — не поздно: там от сараев уж одни столбы только остались. Слава тебе, господи, кажный день мимо ходим, там и осматривать нечего.

— Мало, что — нечего, а приказано, значит должны осмотреть.

— Да мы и не отказываемся.

Взяли двух понятых и пошли. Председатель вперед, а сзади высокий седой старик в войлочной шляпе цилиндром и хромой мужичок с палочкой, который все оглядывался по сторонам и каждую минуту говорил что-нибудь, удивленно приподняв брови.

— Против закона пошли, вот хорошего-то и мало, — сказал старик, когда стали приближаться к саду, который начинался в конце села.

В саду бродили спутанные лошади, некоторые чесались об яблони около разломанного сарая, где лежали кучи сгнившей соломы с крыши, рылись свиньи, изгородь была вся растащена, а на оставшейся виднелись между кольями примятые и ободранные прутья плетня, через который, очевидно, лазили прежде ребята.

— Пока не трогали, все хорошо было, — продолжал старик, — бывало, посмотришь, яблоко вот какое наливается, в два кулака, деревья стоят чистенькие, аккуратные,—потому хозяин был и все по закону было. А теперь вот бог-то и наказывает. Все к худу пошло. Вишь, два года не прошло, а он уж запаршивел весь.

— Говорят, роса такая вредная на яблоки садится, — сказал хромой мужичок.

— Конешно, теперь роса сядет, потому господь батюшка все видит.

— А может, теперь не глядят за садом-то?

— Нет, это тут не причем, — сказал старик, — ежели господь росу вредную пошлет, так тут хоть в тысячу глаз гляди, все равно, не углядишь. Как роса сядет, так — конец. Все к худу пошло. Вот и земля урожаи сбавила, половины того нет, что первые года давала, когда только у помещиков отобрали. Огурца ни за какие деньги не добудешь, лесу — палки за двадцать верст не найдешь.

— Лес — не знаю от чего перевелся, — сказал, не оборачиваясь, председатель, — а огурцы от росы — это верно.

— От росы? — спросил хромой мужичок.

— Огурцы пуще всего боятся росы этой. У нас и прежде-то почесть никто не сажал из-за этого.

— Прежде и сажать не надо было, когда у огородников кругом полны огороды ими набиты были.

— Подожди, лет пяток пройдет еще, не то что огурца, а и ничего не останется.

— А вот за слободкой, там, говорят, устроили — ничего, идет, будто...— сказал полувопросительно хромой.

— Место посуше, вот и идет,— отвечал старик недовольно.— Вишь вот, что значит господь-то: пока хозяин был, усадьба стояла, все как есть... А теперь хозяина прогнали, все и ползет. От сараев ребра одни остались, словно их черти на бирюльки разнесли. И вот погляди — года не пройдет, как на этом месте гладко будет.

— А может, если б постараться, смотреть бы, за ней за усадьбой-то, — ничего бы было? — сказал хромой нерешительно.

— Нет, брат, раз уж определено, тут сколько ни смотри. Не хуже росы этой. Много не усмотришь. И смотреть нечего.

Комиссия вошла в ворота усадьбы и пошла на осмотр. Осматривать, в сущности, было нечего. Все видели это и раньше, когда проходили мимо в кузницу или заходили выбрать какой-нибудь столбик или листок-другой железа с крыши. Около дома валялся ворох бумаг, каких-то диковинных переплетов от книг.

— Сад-то уж, бог с ним, — сказал хромой, — против природы не пойдешь, росы этой не снимешь. А вот дом-то зря раскарежили.

— Его никто и не карежил,— сказал старик, — а все равно, ему не стоять, раз не по-божески.

— А ты железо с крыши не брал? — спросил председатель.

— Я один лист только и взял. От одного листа он не развалится.

Все трое вошли в дом. Полы во всех комнатах и коридорах были выломаны, рамы — тоже. В библиотеке валялась на полу груда бумаги, нащипанной мелкими клочками, как дерут перья на пух. Огромные — до потолка полки — были разломаны.

Пришедшие стояли и смотрели с таким видом, с каким смотрит какая-нибудь проверочная комиссия, знающая, что все в порядке, и соблюдающая только скучную формальность.

Хромой мужичок, отличавшийся любознательностью и слабым зрением, ходил около окон и приглядывался, потрогивая изредка что-нибудь руками. Потом, наткнувшись на что-то, плюнул, сказавши:

— Тьфу ты, чорт!...

Председатель посмотрел и тоже плюнул.

— Чтой-то там? — спросил старик.

— Что... ребята наши лошадей тут стерегут в саду и нагадили на кажном окне.

— Ребята, — сказал, скорбно усмехнувшись, старик, — только у этих ребят хвостики сзади... Вот как стемнеет, приди сюда да посмотри, какие это ребята...

— Я и то намедни шел тут ночью, поглядел на дом и чтой-то вот как страшно сделалось, — сказал хромой, — не помню, как домой прибежал.

Он подошел к груде бумаги от разорванных книг и, копнув ее ногой, сказал:

— А это уж верно — ребята. Вот хворостиной бы хорошей за эти дела. Заместо того, чтобы книгу на дело употребить, с пользой, они, вишь, что делают. А дома святого угла оклеить клочка не найдешь.

Все пошли обратно.

— Да... не такой сад стал... да и все пропадет, подожди... — сказал старик. — Хоть лбом разбейся, — все равно ничего не будет.

— Посмотри-ка, росы-то на нем нету?

— Не-ет, ее не увидишь, — сказал старик, когда хромой обошел несколько раз кругом одно дерево со всех сторон и потрогал веточки руками.

— А ведь какое богатство да благодать была! Бывало, глядишь на этот сад и думаешь: кабы это все да трудовому народу!..

— Значит, не положено, — сказал старик, — а вот напролом против судьбы пошли, теперь от одной росы все пропадет.

Все замолчали и уныло побрели домой.

Вредная штука.

1924 г.

Около шалаша в бывшем помещичьем саду сидели мужики, арендаторы нынешнего урожая и варили себе кашу с салом в закопченном котелке, висевшем в ямке над огоньком.

— Новым хозяевам мое почтение! — сказал проходивший по дороге мужичок с палочкой, останавливаясь и снимая лохматую шапку.

Все тоже сняли шапки.

— Что, в собственность к вам отошел? — спросил прохожий, кивнув головой на сад и садясь на перевернутый яблочный ящик.

— Нет, в аренду взяли, — отвечал мужичок, набивавший трубочку.

— Собственность эту теперь прикончили, — сказал другой, сидя на корточках перед котелком с ложкой наготове, чтобы снять накипающую пену, когда начнет уходить через край.

— Довольно, побаловались. Вишь, черти, огородились. Бывало, только ходишь да поглядываешь на него, на сад-то. Сторожей сколько нагнато было. Все боялись, как бы кто яблочком не попользовался. А то они обеднеют от этого.

— Жадность. Не хочется из рук соринки одной упустить.

— Да, держались крепко, — проговорил мужичок с трубочкой. Он закурил от уголька и, сплюнув в огонь, утер рот рукой, в которой держал трубку. — Бывало, за лето человек десять в волость сволокут. Собаки какие были — по проволоке бегали. А он себе выйдет, прогуляется с папироской и опять пошел газету читать. Спокойно жили.

— Потому священно и неприкосновенно... — проговорил молодой малый, сидевший босиком на обрубке и чинивший рубаху.

— Теперь эту неприкосновенность-то здорово тряхнули.

— Да... вредная штука. Ведь вот, братец ты мой, — сказал мужичок с ложкой, — пока у человека ничего нету, он тебе все понимает, к чужому горю отзывчив, из-за копейки не трясется. А как сюда попало, так кончено дело.

— Это верно. У кого два гроша в кармане, тот не задумается половину отдать. А у кого две тысячи, тот скорей удавится, чем тебе десятую часть отдаст. Намедни кум просит рублевку, а у меня у само две. Что-т, дал... А попроси у богатого...

— Да, штука вредная, это что и говорить. И до чего человека она портит... пока бедный — хорош, а как собственностью обзавелся, набил карман, — он хуже собаки.

— Верно, верно.

Все помолчли.

— А яблочек-то порядочно...— сказал прохожий, поводив глазами по деревьям.

— Яблоки есть...

— Мужики-то вас не обижают? Не трясут?

— Нет, малость... у него не обтрясешь, — отвечал мужик трубкой, кивнув на малого, чинившего рубаху.

— Ядовит значит?—спросил прохожий, улыбнувшись и подмигнув на малого.

— Ядовит не ядовит, а за свое кишки выпущу, — сказал малый, кончив рубаху и встряхивая ее.

Он встал от костра, потянулся, но вдруг, не докончив движения, быстро присел и посмотрел под яблони в сторону забора. Потом, не говоря ни слова, бросился в шалаш, выхватил оттуда ружье и понесся босиком куда-то по траве, пригибаясь под ветки.

— Ай-яй-яй! Держи!

Затем раздался выстрел и испуганный крик мальчишки. Потом послышался более далекий крик бабы на деревне:

— Чтобы вам подохнуть, сволочи! В малого из ружья стреляют! А! Что ж это делается!

— Ух, и лют!—сказал, улыбнувшись и покачав головой, мужичок, варивший кашу. — Ну, что, попал? — спросил он, когда малый вернулся и повесил ружье в шалаше на сучок.

— На бегу стрелял, — ответил тот мрачно, — выше взяло.

После тревоги разговор возобновился.

— Эх, ежели бы господь дал — ни граду бы не было, ни бури, — уж и сгребли бы денежек, мать твою!.. Прямо бы из нищих капиталистами изделались. Мы бы тогда показали...

— Да, деньжонок сгребете, — заметил прохожий, опять посмотрев на яблони.

— Сами того не ждали. Обчество нам с весны за пустяк отдало, думало, что урожая не будет, а она потом как полезла, матушка, из-под листьев, как полезла!.. Они уже теперь кричат, что мало с нас взяли.

— Глядели бы раньше. Шиш теперь с нас возьмешь, — сказал мужик с трубкой, сплюнув в огонь.

— А как силком заставят?

— Попробуй заставь, — угрюмо сказал малый, — я уж тогда ружье не горохом буду заряжать... да еще спалю их всех, сукиных детей.

— Были бы деньги, — с деньгами все можно сделать, сунул председателю, вот и ладно. Деньги и виноватого правым сделают. Главное дело, штука хорошая: вот лето посидим, похлебку помешаем, а там по 20 рублей за меру будем гладить.

— Еще больше возьмете, — сказал прохожий.

— О!.. Ну, по сорок.

— По-питерскому?

— Безразлично...

— Нет, не безразлично, — сказал малый, — надо еще в городе узнать, почем там будут. По сорок еще в прошедчем году торговали.

— О?.. Ну, по шестьдесят.

— Денег — уйма...

На дорожке в глубине сада показался какой-то человек. Все замолчали. А малый сделал движение к шалашу за ружьем. Но потом остановился. Это оказался мужичок в рваном кафтанишке. Он шел и, прикрывая рукой глаза от солнца, приглядывался к яблокам.

— Эй, ты чего там шляешься? Что тебе надо? — крикнул на него малый.

— Мне, батюшка, на луг тут поближе где-нибудь пройтить, — ответил мужичок, остановившись и не сразу поняв, откуда ему кричат.

— Проходи, проходи, да в другой раз не попадайся... Вишь, черти, — на луг ему пройтить. Он пройдет, а на утро, — глядишь, — яблоня обтрясена.

— Вот из-за этого не дай бог, — сказал мужичок, варивший кашу; он, сморщившись, попробовал с ложки горячей жижи и, выплеснув остатки на траву, продолжал: — из-за этого и не дай бог, ночи не спишь, а днем только и знаешь, что по сторонам смотришь да всего боишься: то думаешь, как бы град не пошел, да мальчишки не забрались. Он, может, и украдет-то всего десяток, а у тебя все сердце перевертывается, удавить его готов.

— За свое всегда так-то трясешься, — сказал прохожий, постукивая палочкой по лаптю. — Иначе и нельзя. Потому, ты сидишь вот, пот льешь, а другой спины не гнул, поту не лил, а придет и сграбастает.

— А у самих, у окаянных, руки отсохли — посадить яблоню или, скажем, сливу. Ведь дело не хитрое: сунул в землю прививок, глядишь, через три года на нем уж яблоки. А то все готовое да чужое подцапать.

— А оттого, что все потакают. Стащишь его в волость, сутки там продержат и отпускают, — его бы, сукина сына, в остроге сгноить, чтобы к чужому рук не протягивал, — сказал мужик с трубочкой.

— А вот подойдет съемка, — продолжал кашевар, — ведь сколько эти черти окаянные пожрут! Он налопается, этого мало, да еще пойдет надкусывать да бросать.

— А там еще всякие кумовья будут приходить. Тому дай, другому дай, пропади они пропадом. У тебя, говорит, много? Из чужих рук всегда много

кажется. У, сволочи, чтоб они подохли. Господи батюшка, прости мое согрешение.

— Теперь, чем ближе к съемке, тем хуже — сказал мужик с трубочкой. — Забор плоховат. При помещике, конечно, народ не такой разбойник был, а теперь нешто так надо огораживать? Вот капиталу нету. Мы уж гвоздей набили. Все какой-нибудь брюхо распорет, тогда другой раз не полезет.

— Да и собак хороших надо бы достать. Вот кабы таких раздобыть, как у прежнего барина, вот тут и кумовья бы задумались в сад иттить яблок просить.

— Собака родства не знает, — отозвался прохожий, подмигнув.

— Пустить бы на проволоке через весь сад, да в голоде держать... чтобы лютей зверя были, — вот бы тогда... — говорил кашевар, с мечтательной улыбкой грозя кулаком в пространство.

— Первый сорт был бы... Ну, прощевайте пока, — сказал прохожий и пошел.

Сначала около шалаша было тихо. Потом послышался крик:

— Ай-яй-яй, держи!..

За криком выстрел и бабий голос:

— Злодеи! Ироды! Когда на вас чума, на окаянных, приедет, чтоб вы околели!

И голос малого:

— Все кишки вам, дьяволам, выпотрошу. Охотники на чужое лезть.

А потом уже около шалаша:

— На бегу стрелял — ниже взяло...

Анна Снегина.

Поэма.

Сергей Есенин.

1.

— Село значит наше — Радово,
Дворов почитай — два ста.
Тому, кто его оглядывал,
Приятственны наши места.
Богаты мы лесом и водою,
Есть пастбища, есть поля,
И по всему угодью
Рассажены тополя.
Мы в важные очень — не лезем,
Но все же нам счастье дано.
Дворы у нас крыты железом,
У каждого сад и гумно.
У каждого крашены ставни,
По праздникам мясо и квас.
Недаром когда-то исправник
Любил погостить у нас.
Оброки платили мы к сроку,
Но грозный судья старшина,
Всегда прибавлял к оброку
По мере муки и пшена.
И чтоб избежать напасти,
Излишек нам был без тягот.
Раз — власти, на то они власти,
А мы лишь простой народ.
Но люди — все грешные души.
У многих глаза что клыки,
С соседней деревни Криуши
Косились на нас мужики.
Житье у них было плохое,
Почти вся деревня вскачь

Пахала одной сохою
На паре заезженных кляч.
Каких уже тут ждать обилий,
Была бы душа жива.
Украдкой они рубили
Из нашего леса дрова.
Однажды мы их застали —
Они в топоры, мы тож.
От звона и скрежета стали
По телу катилася дрожь.
В скандале убийством пахнет.
И в нашу и в их вину
Вдруг кто-то из них как ахнет
И сразу убил старшину.
На нашей быдлатой сходке
Мы делу условились ширь
Судили. Забили в колодки
И десять услали в Сибирь.
С тех пор и у нас неуряды.
Скатилась со счастья вожжа.
Почти что три года кряду
У нас то падеж, то пожар.

Такие печальные вести
Возница мне пел весь путь.
Я в радовские предместья
Ехал тогда отдохнуть.
Я бросил мою винтовку,
Купил себе «липу», и вот
С такою-то подготовкой
Я встретил 17-ый год.

Дорога довольно хорошая,
Приятная, хладная звень.
Луна золотою порошею
Осыпала даль деревень.
— Ну, вот оно, наше Радово,—
Промолвил возница:
— Здесь!
Недаром я лошади вкладывал
За норов ее и спесь.

Позволь, гражданин, на чаишко.
Вам к мельнику надо?
... Так — вон!..
Я требую с вас без излишка.
За дальний такой прогон.
Даю сороковку.
— Мало!
Даю еще двадцать.
— Нет!
Такой отвратительный малый,
А малому тридцать лет.
— Да что ты?
Имеешь ли душу?
За что ты с меня гребешь?
И мне отвечает туша:
— Сегодня плохая рожь,
Давайте еще не звонких
Десятку или штучек шесть,
Я выпью в шинке самогонки
За ваше здоровье и честь...

* * *

И вот я на мельнице.
Ельник
Осыпан свечьми светляков.
От радости старый мельник
Не может сказать двух слов.
— Голубчик! Да ты ли?
Сергуха?!
Озяб чай? Пойди продрог?
Да ставь ты скорее, старуха,
На стол самовар и пирог.
В апреле прозябнуть трудно,
Особенно так в конце.
Был вечер задумчиво чудный
Как дружья улыбка в лице.
Объятья мельника круты,
От них заревет и медведь.
Но все же в плохие минуты
Приятно друзей иметь.
— Откуда? Надолго ли?
— На год.
Ну, значит, дружище, гуляй!
Сим летом грибов и ягод
У нас хоть в Москву отбавляй,

И дичи здесь, братец, до чорта.
Сама так под порох и прет.
Подумай, ведь только...
Четвертый
Тебя не видали мы год...

Беседа окончена.
Чинно
Мы выпили весь самовар.
По-старому с шубой овчинной
Иду я на свой сеновал.
Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень,
Так мил моим вспыхнувшим взглядам
Состарившийся плетень.
Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет,
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет».
Далекие, милые были!
Тот образ во мне не угас.
Мы все в эти годы любили,
Но мало любили нас.

2.

— Ну, что же, вставай, Сергуша!
Еще и заря не текла,
Старуха за милую душу
Оладьев тебе напекла.
Я сам-то сейчас уеду
К помещице Снегиной.
Ей вчера настрелял я к обеду
Прекраснейших дупелей.

Привет тебе, жизни денница!
Встаю, одеваюсь, иду.
Дымком отдает росяница
На яблонях белых в саду.

— Ну, доброе утро, старуха!
Ты что-то немного сдала...
И слышу сквозь кашель глухо:
— Дела одолели! Дела.
У нас здесь теперь неспокойно.
Испариной все зацвело.

Сплошные мужицкие войны.
Дерутся селом на село.
Сама я своими ушами
Слыхала от прихожан:
То радовцев бьют криушане,
То радовцы бьют криушан.
А все это значит безвластье.
Прогнали царя...
Так вот
Посыпались все напасти
На наш неразумный народ.
Открыли зачем-то остроги?
Злодеев пустили лихих.
Теперь на большой дороге
Покою не знай от них.
Вот тоже допустим... с Криуши...
Их нужно б в тюрьму за тюрьмой,
Они ж, воровские души,
Вернулись опять домой.
У них там есть Прон Оглоблин,
Булдыжник, драчун, грубиян,
Он вечно на всех озлоблен,
С утра по неделям пьян
И нагло в третьевом годе,
Когда объявили войну,
При всем при честном народе
Убил топором старшину.
Таких теперь тысячи стало
Творить на свободе гнусь.
Пропала Расея, пропала...
Погибла кормилица-Русь!

Я вспомнил рассказ возницы
И, взяв свою шляпу и трость,
Пошел мужикам поклониться
Как старый знакомый и гость.

Иду голубою дорожкой
И вижу, навстречу мне
Несется мой мельник на дрожках
По рыхлой еще целине.
— Сергуха! За милую душу!
Постой, я тебе расскажу.
Сейчас. Дай поправить вожжу,
Потом и тебя оглоушу.

Чего ж ты мне утром ни слова?
Я Снегиным так и бряк,
Приехал ко мне мол веселый
Один молодой чудак
(Они ко мне очень желанны,
Я знаю их десять лет),
А дочь их замужняя Анна
Спросила:
— Не тот ли поэт?
— Ну да, — говорю: — он самый.
— Блондин?
— Ну, конечно, блондин.
— С кудрявыми волосами?
— Забавный такой господин.
— Когда он приехал?
— Недавно.
— Ах, мамочка, это он!
Ты знаешь, он был забавно
Когда-то в меня влюблен.
Был скромный такой мальчишка,
А нынче...
Поди ж ты...
Вот...
Писатель...
Известная шишка...
Без просьбы уж к нам не придет.
И мельник как будто с победы
Лукаво прищурил глаз.
— Ну, ладно! Прощай до обеда.
Другое сдержу про запас.

Я шел по дороге в Криушу
И тростью сшибал зеленя.
Ничто не пробилось мне в душу,
Ничто не смутило меня.
Струилися запахи сладко.
И в мыслях был пьяный туман.
Теперь бы с красивой солдаткой
Завесть хорошо роман.

Но вот и Криуша!
Три года
Не зрел я знакомых крыш.

Сиреневая погода
Сиренью обрызгала тишь.
Не слышно собачьего лая,
Здесь нечего, видно, стеречь —
У каждого хата гнилая,
А в хате ухваты да печь.
Гляжу, на крыльце у Прона
Горластый, мужицкий галдеж.
Толкуют о новых законах,
О ценах на скот и рожь.
— Здорово, друзья!
— Э, охотник!
— Здорово, здорово!
— Садись.
— Послушай-ка ты, беззаботник,
Про нашу крестьянскую жись.
Что нового в Питере слышно?
С министрами, чай, ведь знаком.
Недаром едрит-твою в дышло
Воспитан ты был кулаком.
Но все ж мы тебя не порочим
Ты свойский, мужицкий, наш,
Бахвалишься славой не очень
И сердце свое не продашь.
Бывал ты к нам зорким и рьяным,
Себя вынимал на испод,
Скажи:
Отойдут ли крестьянам
Без выкупа пашни господ.
Кричат нам:
Что землю не троньте,
Еще не настал мол миг.
За что же тогда на фронте
Мы губим себя и других?
И каждый, с улыбкой угрюмой,
Смотрел мне в лицо и в глаза.
А я, отягченный думой,
Не мог ничего сказать.
Дрожали, качались ступени,
Но помню
Под звон головы:
— Скажи, кто такое Ленин?
Я тихо ответил.
— Он — вы.

3.

Однажды, вернувшись с тяги,
Я лег подремать на диван.
Разносчик болотной влаги,
Меня прознобил туман.
Трясло меня как в лихорадке,
Бросало то в холод, то в жар.
И в этом проклятом припадке
Четыре я дня пролежал.
Мой мельник с ума, знать, спятил.
Поехал,
Кого-то привез,
Я видел лишь белое платье
Да чей-то привздернутый нос.
Потом, когда стало легче,
Когда прекратилась трясь,
На пятые сутки под вечер
Простуда моя улеглась.
Я встал.
И лишь только пола
Коснулся дрожащей ногой,
Услышал я голос веселый:
— А!
Здравствуйте, мой дорогой!
Давненько я вас не видала...
Теперь из ребяческих лет
Я важная дама стала,
А вы знаменитый поэт.
Ну, сядем.
Прошла лихорадка?
Какой вы теперь не такой!
Я даже вздохнула украдкой,
Коснувшись до вас рукой.
Да!
Не вернуть что было.
Все годы бегут в водоем.
Когда-то я с вами любила
Сидеть у калитки вдвоем,
Мы вместе мечтали о славе
И вы угодили в прицел.
Меня же про это заставил
Забыть молодой офицер...

Я слушал ее и невольно
Оглядывал стройный лик.
Хотелось сказать:
Довольно!
Найдемте другой язык!
Но почему-то, не знаю
Смущенно сказал невпопад:
— Да-да...
Я сейчас вспоминаю...
Садитесь...
Я очень рад...
Я вам прочитаю немного
Стихи.
Про кабацкую Русь...
Отделано четко и строго,
По чувству цыганская грусть
— Сергей!
Вы такой нехороший.
Мне жалко,
Обидно мне,
Что пьяные ваши дебоши
Известны по всей стране.
Скажите:
Что с вами случилось?
— Не знаю.
— Кому же знать?
— Наверно в осеннюю сырость
Меня родила моя мать.
— Шутник вы...
— Вы тоже, Анна.
— Кого-нибудь любите?
— Нет.
— Тогда еще более странно
Губить себя с этих лет:
Пред вами такая дорога...

Сгущалась, туманилась даль.
Не знаю, зачем я трогал
Перчатки ее и шаль.
Луна хохотала как клоун,
И в сердце хоть прежнего нет,
По-странному был я полон
Наплывом шестнадцати лет.
Расстались мы с ней на рассвете
С загадкой движений и глаз...

Есть что-то прекрасное в лете,
А с летом прекрасное в нас.

Мой мельник.
Ох, этот мельник,
С ума меня сводит он.
Устроил волынку, бездельник,
И бегает как почтальон.
Сегодня опять с запиской,
Как будто бы кто-то влюблен.
«Придите.
Вы самый близкий.
С приветом
Оглоблин, Прою».
Иду.
Прихожу в Криушу,
Оглоблин стоит у ворот
И спьяну в печенки и в душу
Костит обнищалый народ.
— Эй, вы!
Тараканье отродье!
Все к Снегиной...
Р-раз и квас.
Даешь мол твои угодья
Без всякого выкупа с нас.
И тут же, меня завидя,
Снижал сварливую прыть,
Сказал в неподдельной обиде:
— Крестьян еще нужно варить.
— Зачем ты позвал меня, Проша?
— Конечно ни жать, ни косить,
Сейчас я достану лошадь,
И к Снегиной вместе,
Просить...
И вот запрягли нам клячу,
В оглоблях мосластая шкеть,
Таких отдают с придачей
Чтоб только самим не иметь.
Мы ехали мелким шагом,
И путь нас смешил и злил.
В подъемах по всем оврагам
Телегу мы сами везли.
Приехали.

Дом с мезонином
Немного присел на фасад.
Волнующе пахнет жасмином
Плетневый его палисад.
Слезаем.
Подходим к террасе
И, пыль отряхая с плеч,
О чьем-то последнем часе
Из горницы слышим речь:
— Рыдай, не рыдай, ни помога...
Теперь он холодный труп...
Там кто-то стучит у порога...
Припудрись...
Пойду отопру...
Дебелая грустная дама
Откинула добрый засов,
И Прон мой ей бякнул прямо
Про землю,
Без всяких слов:
— Отдай...—
Повторял он глухо.
— Ни ноги ж тебе целовать.
Как будто без мысли и слуха
Она принимала слова.
Потом в разговорную очередь
Спросила меня
Сквозь жуть:
— А вы, вероятно, к дочери?
Присядьте.
Сейчас доложу...
Теперь я отчетливо помню
Тех дней роковое кольцо.
Но было совсем не легко мне
Увидеть ее лицо.
Я понял:
Случилось горе.
И молча хотел помочь.
— Убили... Убили Борю...
Оставьте.
Уйдите прочь.
Вы жалкий и низкий трусишка!
Он умер...
А вы вот здесь...
— Нет, это уж было слишком.
Не всякий рожден перенесть.

Как язвы стыдясь оплеухи,
Я Прону ответил так:
— Сегодня они не в духе, —
Поедем-ка, Прон, в кабак...

4.

Все лето провел я в охоте.
Забыл ее имя и лик.
Обиду мою
На болоте
Оплакал рыдальщик-кулик.
Бедна наша родина кроткая
В древесную цветень и сочь.
И лето такое короткое
Как майская теплая ночь
Заря холодней и багровей.
Туман припадает ниц,
Уже в облетевшей дуброве
Разносится звон синиц.
Мой мельник во-всю улыбается,
Какая-то веселость в нем.
— Теперь мы, Сергуха, по зайцам
За милую душу пальнем.
Я рад и охоте,
Коль нечем
Развеять тоску и сон.
Сегодня ко мне под вечер
Как месяц вкатился Прон.
— Дружище!
С великим счастьем,
Настал ожидаемый час!
Приветствую с новой властью,
Теперь мы всех р-раз и квас!
Без всякого выкупа с лета
Мы пашни берем и леса,
В России теперь Советы,
И Ленин старшой комиссар.
Дружище!
Вот это номер!
Вот это почин, так почин.
Я с радости чуть не помер,
А брат мой в штаны намочил.
Едриж твою в бабушку плюнуть.

Гляди, голубарь, веселей!
Я первый сейчас же коммуну
Устрою в своем селе!
У Прона был брат Лабутя,
Мужик, что твой пятый туз.
При всякой опасной минуте
Хвальбишка и дьявольский трус.
Таких вы, конечно, видали,
Их рок болтовней наградил.
Носил он две белых медали
С японской войны на груди.
И голосом хриплым и пьяным
Тянул заходя в кабак:
— Прославленному под Ляояном
Ссудите на четвертак.
Потом, насосавшись до дури,
Взволнованно и горячо
О сдавшемся Порт-Артуре
Соседу слезил на плечо:
— Голубчик!—
Кричал он.
— Петя!
Мне больно, не думай, что пьян.
Отвагу мою на свете
Лишь знает один Ляоян.
Такие всегда на примете
Живут, не мозоля рук,
И вот он, конечно, в Совете,
Медали запрятал в сундук.
Но с тою же важной осанкой,
Как некий седой ветеран,
Хрипел под сивушной банкой
Про Берчинск и Турухан.
— Да, братец!
Мы горе видали,
Но нас не запугивал страх.
Медали, медали, медали
Звенели в его словах.
Он Прону вытягивал нервы,
И Прон материл не судом.
Но все ж тот поехал первый
Описывать снегинский дом.
В захвате всегда есть скорость.
— Даешь! Разберем потом.
Весь хутор забрали в волость

С хозяйнами и со скотом.
А мельник,
Мой старый мельник,
Хозяек привез к себе.
Заставил меня, бездельник,
В чужой ковыряться судьбе.
И снова нахлынуло что-то,
Когда я всю ночь напролет
Смотрел на скривленный заботой
Красивый и чувственный рот.
Я помню,
Она говорила:
— Простите... была не права...
Я мужа безумно любила...
Как вспомню... болит голова...
Но вас
Оскорбила случайно...
Жестокость была мой суд...
Была в том печальная тайна,
Что страстью преступной зовут.
Конечно,
До этой осени
Я знала счастливую быль...
Потом бы меня вы бросили
Как выпитую бутыль.
Поэтому было не надо...
Ни встреч... ни вообще продолжать...
Тем более с старыми взглядами
Могла я обидеть мать.
Но я перевел на другое,
Уставясь в ее глаза.
И тело ее тугое
Немного качнулось назад.
— Скажите,
Вам больно, Анна,
За ваш хуторской разор?
Но как-то печально и странно
Она опустила свой взор.
— Смотрите...
Уже светает.
Заря как пожар на снегу...
Мне что-то напоминает...
Но что?
Я понять не могу...
Ах... Да...

Это было в детстве...
Другой... Не осенний рассвет...
Мы с вами сидели вместе...
Нам по шестнадцать лет...
Потом, оглядев меня нежно,
И лебедя выгнув рукой,
Сказал как будто небрежно:
— Ну, ладно...
Пора на покой...

Под вечер они уехали.
Куда?
Я не знаю, куда.
В равнине, проложенной вехами,
Дорогу найдешь без труда.
Не помню тогдашних событий,
Не знаю, что сделал Прон.
Я быстро умчался в Питер
Развеять тоску и сон.

5.

Суровые, грозные годы!
Ну, разве всего описать?
Слыхали дворцовые своды
Солдатскую крепкую мать.
Эх, удаль!
Цветение в далях.
Недаром чумазый сброд
Играл по дворам на роялях
Коровам тамбовский фокс-строт.
За хлеб, за овес, за картошку
Мужик залучил грамофон.
Слюнявя козлиную ножку,
Танго себе слушает он.
Сжимая от прибыли руки,
Ругаясь на всякий налог,
Он мыслит до дури о штуке,
Катающейся между ног.
Шли годы.
Размашисто пылко
Удел хлебороба гас.
Не мало попрело в бутылках
«Керенок» и «ходей» у нас.
Фефела! Кормилец! Касатик!

Владелец землей и скотом.
За пару измызганных «катек»
Он даст себя выдрать кнутом.
Ну, ладно!
Довольно стонов,
Ненужных насмешек и слов.
Сегодня про участь Прона
Мне мельник прислал письмо.
— Сергуха! За милую душу!
Привет тебе, братец! Привет!
Ты что-то опять в Криушу
Не кажешься целых шесть лет.
Утешь!
Соберись на милость!
Прижваривай по весне.
У нас здесь такое случилось,
Чего не расскажешь в письме.
Теперь стал спокой в народе.
И буря пришла в угомон.
Узнай, что в двадцатом годе
Расстрелян Оглоблин, Прон.
Расея...
Дуровая зыкь она.
Хошь верь, хошь не верь ушам,
Однажды отряд Деникина
Нагрянул на криушан.
Вот тут и пошла потеха.
С потехи такой — околеть!
Со скрежетом и со смехом
Гульнула казацкая плеть.
Тогда вот и чикнули Проню...
Лабутя ж в солому залез
И вылез,
Лишь только кони
Казацкие скрылись в лес.
Теперь он по пьяной морде
Еще не устал голосить:
— Мне нужно бы красный орден
За храбрость мою носить...
Совсем прокатились тучи...
И хоть мы и живем не в раю,
Ты все ж приезжай, голубчик,
Утешить судьбину мою...

И вот я опять в дороге.
Ночная июньская хмарь.
Бегут говорливые дроги
Ни шатко, ни валко, как встарь.
Дорога довольно хорошая.
Равнинная тихая звень.
Луна золотою порошею
Осыпала даль деревень.
Мелькают часовни, колодцы
Околицы и плетни.
И сердце по-старому бьется,
Как билось в далекие дни.
Я снова на мельнице.
Ельник
Усыпан свечьми светляков.
По-старому старый мельник
Не может связать двух слов.
— Голубчик! Вот радость! Сергуха?!
Озяб, чай? Поди, продрог?
Да ставь ты скорее, старуха,
На стол самовар и пирог.
Сергунь! Золотой! Послушай,
И ты уж старик по годам...
Сейчас я за милую душу
Подарок тебе передам.
— Подарок?
— Нет...
Просто письмишко.
Да ты не спеши, голубок,
Почти что два месяца слишком
Я с почты его приволок.
Вскрываю... Читаю... конечно!..
Откуда же больше и ждать?
И почерк такой беспечный
И лондонская печать.

— Вы живы?.. я очень рада...
Я тоже, как вы, жива.
Так часто мне снится ограда,
Калитка и ваши слова.
Теперь я от вас далеко...
В России теперь апрель.
И синею заволокой
Покрыта береза и ель.
Сейчас вот, когда бумаге

Вверяю я грусть моих слов,
Вы с мельником, может, на тяге
Подслушиваете тетеревов.
Я часто хожу на пристань
И то ли на радость, то ль в страх
Гляжу средь судов все пристальней
На красный советский флаг.
Теперь там достигли силы.
Дорога моя ясна...
Но вы мне по-прежнему милы,
Как родина и как весна...

Письмо как письмо.
Беспричинно.
Я в жисть бы таких не писал...

По-прежнему с шубой овчинной
Иду я на свой сеновал.
Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень.
Так мил моим вспыхнувшим взглядам
Погорбившийся плетень.
Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет.
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет».
Далекие, милые были!
Тот образ во мне не угас.
Мы все в эти годы любили,
Но значит
Любили и нас.

Январь 1925 г.
Батум.

Летающий пролетарий.

Из поэмы

Сначала
разведчики
размахнулись полукругом
за разведчиками
истребителей дуга.
А за ними
газоносцы
выстроились в угол.
Тучи
от винтов
разлетаются наугад.
Потом
почти
закрывая многоокий
помноженный
фонарями
небесный свод
летели
огромней
чем корабельные доки
ангары
сразу на аэропланов пятьсот.
Когда
повороты
были резки
на тысячи
разных
ладов и ладков
ревели
сонмы
окружающих мастерских
свистоголосием
сирен и гудков.

За ними
уже
пошли обозы
маскированные
каким-то
цветом седым.
Тихо...
— тебе не телегой об земь!—
Арсеналы,
склады —
медикаментов
еды.
Под ними
земля
выгибалась миской
ждали
на каждой
бетонной поляне
«Ленинская эскадрилья»
взлетела из-под Минска
присоединились
крылатые смоляне.
Летели...
Винт
звезда блестит в темноте ли?
Летели
Ввысь
до того
что иней на теле.
Летели —
Сами
себя ж
догоняли еле.
Летели —
С часами
скорость
творит чудеса:
шло
в сутки
двое сполна.
Два солнца
в двадцать четыре часа
и дважды
всходила луна.

Когда ж
догоняли
вращенье земли
сто мест
перемахивал
глаз,
А циферблат
показывал
им
один
неподвижный час.
Взвивались
прорезавши
воздух весь
в удушьи
разинув рот
с трудом
рукой
потерявшей вес
выструивали кислород.
Врезались
разведчики
в бурю и в гром
и бросив
громовую одурь
на гладь
океана
кидались ядром —
и плыли
распенивши воду.
Пловучей
миной
взорван один
и тотчас
все остальные
заторопились
в воду уйти
сомкнувши
брони стальные.
Всплывали
опасное место пройдя
стряхнувши
с пропеллеров капли

и вновь
в небосвод
пылающ и рдян
машин
многоточие
вкрапили.
Летели
Минуты
сутки
недели.
Летели
Сквозь россыпи солнца
сквозь лунные мели
Летели
Начальник
спокойно
передвигает кожаный
на два
валика
намотанный план.
Все спокойно
и вдруг
как подкошенный
падает аэроплан.
Ни взрыва
ни шума
и только лучище
вытягивался
горящей ручищей.
И встало
вдруг
как в пустыне миражи
сто тысяч машин —
эскадрилии вражьи.
Нацелив
луч
истребленье готовящий
сторон с десяти
никак не менее
Свистели
летели
мчались чудовища
из света
стали
и алюминия.

Качнула
машины
ветра река

кренятся
по склону
на правом крыле
встает три «К»
Три
черных «К»
Ку клукс клана.
А ветер
с другого бока налез
направо
качнул огульно
и чернью
взметнулась
на левом крыле
фашистская загогулина.
Секунда
винты рассмерчились бешено —
и нет
исчезли
в газ занавешены.
За каждый аэро
с каждого бока
как будто
искра
в газовый бак
Два слова взрывало сердца:
Тревога!
Враг!

Вл. Маяковский.

Медный интеллигент.

Без десяти минут семь
Медный Всадник вздрогнул и ожил,
Сошел с коня, по-прежнему нем,
И молча стал приставать к прохожим.
Он будто спрашивал:
— чья это смерть
Одела в траур людей и здания,
Что даже его привычную медь
Сегодня весь день раздирали рыдания.

Никто ничего ему не ответил:
Их много — людей, он — один на свете.

Спали, когда он пришел с прогулки,
Свернувшись котятами, переулки.
Спиной к Петру, лицом к Неве
Стоял курчавый человек.

Ночь размышляла, к нему подползая,
Можно его обнимать, иль нельзя ей,
Звездами был Ленинград обсыпан,
И губы Петра отворились со скрипом:

— Застонет моряк, если вот-вот затонет,
И самый бесстрашный застонет в беде,
Мне стон их понятен, но мною не понят
Сегодняшней смертью отмеченный день.

Кто это смолк, но все еще слышим,
Он выше меня, и на много ли выше? —

Человек молчал, и ночь молчала...

Сдавлена под тяжестью металла,
Бровь Петра чуть-чуть затрепетала.

— Ведь оплакивала не меня же
Вся моя родимая земля,

Я не умирал сегодня. Я
В этот день не простудился даже.

Только слышал я сквозь медный сон:
Чьей-то смертью город поражен.

Обернулся медленным движеньем
Человек и молвил:
— Умер Ленин. —

Темный отдаленный форт
Слышал, как затрясся Петр,
Даже конь, недоуменьем сбитый,
Опустил одно копыто.

Еле слышно к уху донеслось:
— Объясни мне, что ты произнес,
Для народа моего родного
Где ты выкопал такое слово?
Кто он, и какого чина,
Вероятно, маленький мужчина.
Трезвенник. Его бы зашатало
От одного Петровского бокала.

Выросший ребенок-город мой,
Для Руси моей удобный дом,
Ты обрадовался, что пришел другой,
Он ушел, и ты грустишь о нем.

Век за веком по Неве уплыл,
Ты меня еще не навестил,
В день ли смерти, в день ли именин,
Я стою по-прежнему один.

Никто не пришел,
никого нет.
Только сегодня часов в пять
Пришел какой-то худой поэт,
Проторчал два часа и пошел спать.

И больше он сюда не придет,
Он не покажется, сукин сын,
Ему ведь известно, что я — Петр,
Великий плотник моей Руси.

Русь родная. Ты забыла
Четкий шаг твоих потешных,
Без разбору тратишь силы
Для своих и для нездешних.

Ах, я помню: ты боролась,
Не давалась нипочем
Расчесать немытый волос
Заграничным гребешком.

И теперь вот — год за годом
Уплывают — и я знаю:
Острижешь России бороду,
У нее растет другая.

Как же мог уйти с победою
Тот, что смолк в моей стране,
Если он не мог. как следует,
Даже ездить на коне.

Всю премудрость книг богатых
Он в Россию натаскал,
Как учил его когда-то
Бородатый немец Карл.

Но моей славянской расе
Не звенеть немецким звоном...
Сколько б дерево ни красить,
Будет дерево зеленым.

Русский утром встанет рано,
Будет снег с крыльца счищать,
В полдень он напьется пьяным,
Ночью шумно ляжет спать.

Утром он проснется рано,
И посмотрит — есть ли снег,
Если есть, напьется пьяным,
Если нет — запьет вдвойне.

Утром он проснется рано,
Ночью снова будет пьяным. —

Около семи утра
Смолкла речь уставшего Петра.
Сквозь молочный свет была видна
Всадника позеленевшая спина.

Медленно и величаво,
Чуть картавя, отвечал курчавый.

Видно было, как его слова
Схватывает Нева,
Слышно было, как, ломая лед,
Хочет прокарабкаться вперед.

— Ай; Петр, Петр!
Человек кричит, когда ему больно,
Зверь рычит, не найдя берлогу,
А Медный Всадник сидит недовольный,
Что его никто никогда не трогал.

Стонет моряк, если вот-вот утонет,
Стонет поэт, если в стужу пальто нет,
Но ты-то чего здесь развел сантименты
Последнего медного интеллигента?

Ты в двадцать четвертом здесь правил конем,
Как в двадцать третьем и двадцать втором,
А мы в это время у гроба стояли,
Как статуи чьей-то огромной печали.

Ты еще не видел, чтобы
Рядом горевавшая у гроба,
С человеком чувствуя разлуку,
Тень его еще вздымала руку.

Русь большая плакала во мгле...
Человек последний на земле
Так еще наверно зарыдает,
Меркнущее солнце провожая.

Но мы знаем: если землю вдруг
Схватит вулканический испуг,
Память о Владимире лелея,
Хаос не разрушит мавзолея.

Будет вместе с нами Ленин рядом
Над оледенелым Ленинградом.

И чтоб мудрости его напиться,
Пароход придет из-за границы
Быстрыми и жадными словами
Побеседовать с его учениками.

Видишь, в гавани торговый флот
Русскую воду пьет...

— Ай, Петр, Петр!

Если б знал ты, хмур и одинок,
Как России трудно без него,
Смерти, догоняющей его,
Ты б коня направил поперек.

Ты б услышал, как, звуча в мученьи,
Эхо, отскочив от молотка,
Над склоненной скорбью мужика
Трижды простонало: — Ленин. —

И шагая по его еще
Свежему дымящемуся следу,
Больше, чем свое плечо,
Чувствуем плечо соседа.

Видишь, как нагнулась тьма
Слушать шаг идущих тысяч,
Это строят новые дома—
Терема плененных электричеств.

Как знамена, вскидывая искры,
Взволнованный Волхов гудит...

Петр.

Это только присказка,
Сказка еще впереди.

М. Светлов.

Катерине Назаровой.

Март.
Ломкий звон по утрам.
Тонкой дымкой весна повисла.
Не поверю, чтоб в мире нам
Открывались одни лишь числа.

Дни приходят, как милые гости,
Каждый ладя на голос свой.
Как же быть мне слепым и черствым,
Обрастающему синевой.

Петухи кукарекают громче,
Воробьи, словно почки в саду.
Тихий месяца розовый кончик
Долго-долго висит на виду.

Отойду...
А глаза горят,
Вместе с облаком детским тая.
Будто выстроились в небе в ряд
Дуги — синяя, золотая...

Ветер.
Дали.
Кто-то поет.
Может, сам я запел — не слышу.
Это, наверно, сердце мое
Бьется, поднимаясь выше.

Василий Наседкин.

Противоречия современного капитализма [1].

Дж. А. Гобсон.

I.

Крики о производительности.

На требования рабочих лучшего распределения богатств руководители промышленности и их экономисты на основании послевоенного опыта ответили еще более энергичным контр-требованием более усиленной производительности, как будто одно противостоит другому. Как в Англии, так и в Америке на помощь была призвана статистика, чтобы подкрепить следующие выводы: 1) что нищета и недовольство не вызываются неравным или несправедливым распределением доходов, 2) что то неравенство, какое существует, неизбежно и 3) что только путем значительного увеличения производительности может быть обеспечен культурный уровень жизни для всех.

В Англии до войны один видный статистик, д-р Баулей (Bowley), пытался доказать, что «только 200 или 250 миллионов фунтов стерлингов, по самому крайнему расчету, могло быть истрачено богатыми или зажиточными на какие- нибудь предметы роскоши». Этой суммы немного более, чем достаточно, чтобы довести заработную плату взрослых мужчин и женщин до минимума в 35 шилл. 3 пенса в неделю для мужчины и 21 шилл. для женщины, каковой минимум г. Роунтри считает в своей книге: «Человеческие потребности рабочих» (Mr. Rowntree: «The human needs of Labour) «разумным» (raesonable). Д-р Стэмп (Stamp) высчитал для 1919 г. (когда цены были более, чем вдвое), что если доходы выше 250 фун. стерл. в год разделить среди всей массы английского населения, то вся эта сумма «не дала бы отдельной семье больше чем повышение на 14 фунтов в год, или 15 шилл. в неделю». Он прибавляет: ясно, что мы имеем дело с большим неравенством в распределении, но я согласен с заявлением д-ра Баулей о том, что «постоянство пропорций и отношение движения, обнаруживаемое при обследованиях (за время с 1880 до 1913 г.г.), указывает, кажется, на определенную систему причины и следствия и на видимую неизбежность».

Учение о неизбежности в вопросе о распределении находит свое подкрепление в целом ряде весьма тщательно разработанных исследований, уста-

---

[1]) Перевел с английского Д. И.

навливающих для самых различных времен и стран существование вполне однообразного раздела национального дохода в соответствии с «кривой Парето» (французского экономиста) («Pareto's curve»).

Таким образом стараются направить все надежды на облегчение нищеты и уменьшение недовольства в сторону увеличения дохода, не трогая «системы причины и следствия», которая регулирует распределение дохода.

Теперь допустим на время гипотезу, что большая производительность — надежное и удовлетворительное средство, и расследуем условия этой производительности. Эта проблема принимает теперь различную форму в Европе и Америке. Почти во всех европейских странах производственный аппарат работает хуже вследствие военного и послевоенного падения финансов, капитала, груда и рынков. Это падение находит свое выражение в безработице, полной и неполной, и недопроизводстве. Америка, лишь слегка теперь задетая экономическим неустройством Европы, представляется европейскому глазу зрелищем изобильного процветания, благами которого, по внешнему виду, кажется, пользуется, хотя и не в одинаковой степени, громадное большинство населения. История не знала до сих пор такого большого количества хорошо одетого, хорошо питающегося, имеющего хорошие квартиры и пользующегося в такой степени средствами передвижения и автомобилями, населения.

Тем не менее на любом собрании деловых людей и экономистов слышишь только о том, что можно бы и нужно бы больше производить, если бы... Если бы что? Если бы были введены некоторые изменения и улучшения в работе экономической системы; но они спешат прибавить «без всяких радикальных изменений в системе собственности и работе существующего строя, как в области труда, так и в области государственной или общественной». Итак, вопрос прямо поставлен. Даже в Америке производственный аппарат представляет собой расточающую силу, благодаря низкой нагрузке или рабочей силы или фабрики, или благодаря тому и другому вместе, благодаря несовершенной технике и организации, недостаточности финансов, неудовлетворительности транспорта и рыночных связей. Как велика общая растрата, можно только гадать, и размах догадок различен, от 50 до 200 процентов. Если бы человеческие и природные силы страны были бы полностью использованы, даже до высшего предела, допускаемого фактическим оборудованием, не было ли бы преувеличением ожидать удвоения выработки доступных предметов? Во всяком случае, подобное и даже большее увеличение вполне можно представить себе для Англии или для любой промышленной страны Европы. Подобное усиленное производство могло бы иметь последствием большее количество товаров и удобств или больший досуг и наслаждение жизнью. Хотя доступные естественные богатства различны в отдельных странах, здоровые торговые отношения делают в значительной части всякое специальное завоевание общим достоянием, так как свободное передвижение экономических познаний сделает всеобщей власть человека над природой, которая, по общему признанию, может в достаточной степени удовлетворить все законные потребности человека.

Что же мешает нам осуществить эту экономию высокого производства? Необходимо, во-первых, отдать ясный отчет в том, что всюду и везде «ме-

шает» сознательная политика руководителей промышленности. Ограничение выработки, с целью получения заработка в течение более длительного срока, или доставления работы большему числу, порой вследствие лени или с целью помешать «спекуляции», — все это ставится в вину отдельным рабочим или их союзам во многих отраслях промышленности, во многих случаях не без основания. Хотя, как мы увидим, и другие мотивы могут играть роль, главным поводом для саботажа со стороны рабочего является его вполне обоснованный расчет, что рынки не дают гарантии для постоянной полной работы и что если они слишком много вырабатывают, то может наступить остановка или сокращение производства. Экономические проповеди экономистов об эластичности спроса, который неизбежно появится в результате низкой стоимости рабочей силы и вознаградит рабочего за его большую продуктивность, не находят отклика у рабочего и не могут его убедить. У него нет никакой веры в раннее и неизбежное расширение рынка для его личных работ. «Впоследствии» может так оказаться, но нужда его заставляет его думать о сегодняшнем дне. Может быть, он глух к своим собственным интересам! Но в Англии, по крайней мере, а в меньшем масштабе и в Америке, рабочий не имеет возможности проводить политику широкого производства.

Посмотрим, чтó говорят деловые люди, которые неустанно стремятся заставить рабочих приложить максимум сил для того, чтобы держать расходы производства на низком уровне. В периоды под'ема цен и высоких прибылей они, действительно, стараются держать фабрику на полном ходу. Но в глубине сознания их преследует страх, основанный на долгом опыте, что эта политика максимального производства не может долго продолжаться, что цены скоро падут, число заказов уменьшится, прибыли исчезнут, если только они и их конкуренты не понизят уровня выработки. Это просто осознанная потребность ограничить выработку с целью удержания на разумном уровне цен и прибыли, является главным стимулом для образования трестов, комбинатов, обществ, соглашений, при помощи чего убийственная конкуренция во многих отраслях промышленности или уменьшается или устраняется. Руководители промышленности постоянно зорко следят за рынком: нет ли признаков пресыщения его товарами, и не понадобится ли сокращение производства? Точно так же, как и рабочий опасается снижения заработной платы, если он слишком быстро работает, так же и капиталист боится падения цен, если фабрика выбрасывает слишком много. Веблен, несомненно, резонно снимает с директора или инженера обвинение в хроническом саботаже и сваливает вину на господство финансового капитала или «систему цен». Но сущность в том, что среди всех этих разговоров о необходимости высокой производительности как капиталисты, так и рабочие, каждый из своих интересов, молча и сознательно соглашаются на сокращение выработки. Хотя эта вполне сознательная промышленная политика имеет место, главным образом, в крупных основных отраслях промышленности и в области снабжения их сырьем и энергией, но и в сельском хозяйстве и в большинстве более мелких отраслей промышленности мы наблюдаем тот же страх переполнения рынка товарами.

Но есть и другого рода сознательная политика деловых людей в большинстве промышленных стран, которая противна достижению высокой производительности. Адам Смит правильно положил в основу своей науки о богатстве разделение труда; он говорит, что люди, будь то определенные личности, группы или народы, занимаются специально или исключительно той работой, для которой они лучше приспособлены по своим способностям, наклонностям и природным задаткам, обменивая друг с другом различные произведения на основе свободных и удобных условий торговли. Такова плодотворная экономика максимума производительности для мирового хозяйства, как целого, и для отдельного человека, внутри этого мира.

Но всегда находились люди или народы, которые вследствие дурного склада своего ума, или плохого воспитания видят основу торговли не в сотрудничестве, а в антагонизме, в борьбе; или, находясь под властью неэкономических соображений, стараются ставить препятствия на пути производительной политики. Если это рабочие, они стремятся помешать вторжению других в «их» производство; если это деловые люди-промышленники, они пытаются помешать постороннему капиталу проникнуть в «их» промышленность; и, выступая в качестве сторонников пошлин и «стапроцентных» патриотов, они хотят остановить свободный приток иностранных рабочих и знаний, иностранных товаров в «свою» страну. Этот близорукий эгоизм в его более узких формах они квалифицируют как коммерческую лойяльность, а в более широком толковании, как «патриотизм» или «национальную экономию». Не предрешая вопроса о том, могут или нет другие соображения заменить собой плюсы производительности, важно понять, что все подобные мероприятия являются вмешательством и помехой для максимума производительности, и что все члены сотрудничающего общества или человечества платятся за это уменьшением богатства. Может быть, возразят, что есть благодатные места на земле, может быть, даже целые страны, где такая исключительная политика фигурирует под видом просвещенного эгоизма, — страны, действительно самоснабжающиеся и способные использовать все свои преимущества для своего же населения. Возможность такого самодовления для Соед. Штатов я разберу в другой раз; теперь лишь отмечу более широкое разделение труда, на котором базируется совокупный дивиденд. Установление тарифов и других препятствий на пути свободного передвижения лиц, денег и товаров является фактическим отказом от проповеди социально-экономического спасения путем высокой производительности. Во многих таких случаях это уменьшает производительность среднего человека, как внутри области, находящейся под защитой тарифов, так и вне ее. Можно сказать, и «с долей» правды, что защитники такой политики, деловые или государственные люди сознательно не думают, что мотивом или результатом их политики является ограничение и уменьшение богатств. Но когда проникаешь поглубже в их настроения и взгляды, то скоро обнаруживаешь, что боязнь «проникновения» чужих товаров на «наши» рынки содержит в себе также веру в то, что излишнее предложение товаров должно понизить цены, уменьшить прибыль «нашей» промышленности ниже нуля и распространить безработицу среди «наших» рабо-

чих. Таким образом, мы видим, как гора свидетельских показаний изобличает лживость этих тонких признаний насчет «производительности», как простого или достаточного средства против нищеты и недовольства. Дело не в человеческой скупости, и не в отсталости науки, и не в продуктивности труда, которые-де тормозят производительность, а дело в нежелании людей использовать лучше всего науку в ее применении к природе. Предприниматели, рабочие, политики составили заговор против производительности и, таким образом, уменьшают наполовину тот доход, который они могли бы иметь. Почему же они это делают?

II.

Ограниченность рынка.

Умные промышленники любой страны дают одно и то же об'яснение, почему они не могут дать полную нагрузку своей фабрике на все время. Опыт нам показал, говорят они, что рынок недостаточно быстро расширяется, чтобы поспевать за полным об'емом выработки, не рискуя таким падением цен, которые не покроют расходов, не говоря уже о прибыли. Специальные предприятия, подобно предприятиям Генри Форда, находящиеся под благоприятным влиянием ненормальной эластичности спроса, могут на некоторое время опрокинуть это правило и развиваться и при падении цен, падении расходов, притом с ростом прибыли. Но такие исключения лишь подтверждают правило. Если бы все конкуренты Генри Форда вдруг применили бы ту же промышленную тактику, то они и он давно бы уже вылетели в трубу. Способные финансисты индустрии, которые с помощью трестов, картелей и других комбинаций регулируют рынки, знают, чтó они делают. Они хорошо понимают, что если они дадут полный простор производительным силам, то никакие рынки не помогут, и они были бы загружены огромным количеством товаров, которых нельзя будет ни по какой цене продать. Верно, что ограничение их выработки регулируется желанием обеспечить себе наивысшую чистую прибыль, которую им может дать экономия, получаемая благодаря трестированию и контролю цен. Но есть другой мотив, который является также могучим фактором в их промышленной политике. В тех отраслях промышленности, где еще существует свободная конкуренция, простой инстинкт самозащиты диктует предупредительную политику работы неполным временем, ослабления темпа, чтобы предупредить более серьезную заминку, которая в противном случае может явиться в результате слишком длительного порыва высокой производительности. Этот обнарўженный нами страх перед производительностью вытекает из твердой и всеобщей веры в ограниченность рынка, в неспособность действительного спроса на товары быстро, легко и полностью поспевать за ростом предложения. Экономисты, столкнувшись с этой верой, находящейся в противоречии с их простой доктриной, что каждый продукт должен быть или потреблен теми, которые делают его, или же путем обмена перейти к тем, которые будут его потреблять, часто отрицают всеобщность этой тенденции к сверхпроизводству. Они доказывают, что речь идет лишь

об ошибочном излишнем применении производительных сил в одном направлении, при соответствующем пониженном применении их в другой области. Но когда им предлагают в период промышленного застоя дать ответ и указать, какие же производственные и финансовые каналы недостаточно снабжены, они молчат. Смелые финансисты делают, несомненно, ошибку. но не в такой степени, чтобы придать силу этому возражению. Дело обстоит просто: современный капитализм стал не справляться с этим настоящим препятствием, — с ограниченностью рынка.

Это препятствие не только обусловливает политику промышленников и рабочих; угроза его все больше и больше направляет общий курс политики. Мы уже видели, как таможенные тарифы калечат производительность как внутри страны, так и в международном масштабе, ограничивая разделение труда. Но этот результат не фигурирует в качестве сознательного мотива у творцов тарифов. Они первоначально интересуются лишь тем, чтобы обеспечить себе прибыльную монополию на своем национальном рынке. Но почему они должны продавать все свои товары дома вместо того, чтобы продавать их на одинаково выгодных условиях за границей, и почему они должны бояться привоза из других стран на свой национальный рынок? Если бы они сколько-нибудь верили, что выгодно продадут всю свою продукцию на мировом рынке, они еще могли бы желать повысить цены для своих соотечественников, устраняя конкуренцию иностранных товаров (это повышение цен они способны считать патриотизмом), но они вряд ли могли бы найти сочувствия у своих соотечественников и заставить их понять это желание. Покровительство стало возможным благодаря общему убеждению, что нет достаточного рынка для поглощения предлагаемых товаров и что потому необходимо обеспечить внутренний рынок для своего производства. Вот почему избирателям внушают, что иностранные промышленники и купцы, пытающиеся послать более дешевые и лучшего качества товары, чем наши, на наши рынки для продажи нашим потребителям, делают нечто враждебное нашим подлинным интересам и должны быть урезаны в своих правах. Каждая страна, в сущности, говорит: «Наши производительные силы так велики, что мы не можем рассчитывать на полный, надежный и выгодный рынок для них, если они столкнутся с конкуренцией производительных сил других стран; поэтому позвольте нам оставить наш национальный рынок для нашей национальной промышленности вместе с такими иностранными рынками, которые могут быть получены теми же способами, какие практикуются в подобных случаях этими другими странами».

Мы имеем два видных результата этой доктрины и политики. Первое — протекционизм. Знаменательно, что одним из первых плодов, которые принесла последняя из войн (war to end war), было создание известного числа тарифных барьеров освобожденными государствами Австро-Венгерской и Российской империй и попытки победоносных союзников сохранить военно-враждебные условия в послевоенных торговых отношениях путем ограничения доступа товарам бывших неприятелей на свои рынки, но при одновременном требовании свободного и легкого поступления своих товаров на рынки бывших

неприятелей. Это почти христианское учение, что «более праведное дело давать. чем получать», часто получает юмористическое — так как это происходит бессознательно, — применение в нашей современной экономике. Тонко рассчитанные политические маневры союзников, отказывающихся получать настойчиво требуемые ими репарационные товары, смешные претензии Америки, добивающейся уплаты ей европейских долгов, но преграждающей в то же время доступ товарам, при помощи которых лишь и может быть произведена уплата, — все это простые примеры того, как представление об «ограниченном рынке» владеет деловым миром.

Но самая тяжелая угроза всеобщему миру и производительности заключается не в сохранении тарифов в тех странах, которые давно приучены к покровительству, или в глупой поспешности мелких европейских государств, разгоряченных своей новой независимостью. Образование в Англии сильного правительства, изменяющего отныне политике свободной торговли, которая в течение трех четвертей века господствовала в торговых отношениях Англии с остальным миром, должно в глазах всякого, понимающего, какую господствующую роль торговля играет во внешней политике, парализовать все усилия сторонников Лиги Наций, Международного Трибунала или других орудий международного пацифизма. Временный отказ от общего покровительства никого не должен обмануть. Предложение английского правительства распространить Акт об охране промышленности (Safeguarding ofindustries Act) таким образом, чтобы дать тарифную поддержку той «существенной» отрасли торговли, которая столкнется с «исключительной конкуренцией», может легко вырасти в схему общего покровительства английских изделий. Ибо «исключительная конкуренция» уже была пущена в ход не только по вопросу о пониженном курсе валюты, что было первоначальным поводом для существующего Акта, но и по вопросу об иностранных премиях, более низкой зарплате, более низком налоговом бремени, или других благоприятствующих обстоятельствах, касающихся части импорта из какой-либо ввозящей страны. Весь имеющийся опыт показывает, как подобного рода охрана промышленности может распространиться с одной отрасли на другую, так как торговым организациям Англии, как и других стран, легко будет убедить угодливых и доверчивых политиков или неопытных должностных лиц в том, что некоторые несправедливые или «исключительные» условия благоприятствуют некоторым иностранным продуктам, стремящимся проникнуть на наш национальный рынок.

Но как ни вреден такой тариф на ввозимые фабричные изделия для потребителя Англии и иностранных фабрикантов и экспортеров, неожиданно лишившихся огромного, ценного свободного иностранного рынка, еще более гибельна другая сторона английской политики, а именно та, которая имеет в виду из'ять всю Британскую империю из сферы свободных торговых сношений с внешним миром, с целью преобразовать в подобие самоснабжающейся экономической системы. Нам здесь невозможно показать, какой дикий, нелепый идеал лежит в основе этого плана, так как это требует статистического анализа английской торговли. Нас здесь занимают более общие выводы экономического империализма.

Полное экономическое значение современного империализма не выявлялось до 80-х г.г. прошлого столетия. Ибо тогда лишь континент Европы и Соед. Штаты, вооруженные новейшими машинами и средствами сообщения, стали во весь опор соперничать на мировом рынке. До этого времени Англия, по существу, сохраняла свою позицию в качестве «мировой фабрики». Ее широкораспространенное могущество и владычество на море, казалось, обеспечивало это торговое господство, а ее распространение в Африке и Азии мало вызывало вражду других народов, еще неспособных к соперничеству на рынках, которые Англия была в состоянии оставить открытыми для всех пришельцев.

Сознательный, соперничающий империализм 80-х годов, первоначально стремившийся разрезать ничью Африку на протекторатные территории и сферы влияния, затем в 90-х годах вылившийся в подобную же политику Англии, Франции, Германии и Японии на азиатском континенте, является новой и опасной фазой в экономической истории мира. Ибо, помимо гордости и блеска власти, это означало, что организованные группы торговцев и финансистов какой-нибудь крупной державы нашли новую форму для осуществления контроля над внешней политикой и общественными силами этой державы. Этот контроль, правильно говоря, не был новым явлением, но он приобрел новую силу и превращался в определенную ясную политику, по мере того, как промышленность переходила все больше и больше от обыкновенной торговли к инвестированию (помещению капиталов) и развитию заморских богатств. С этого момента тонкая дипломатия во внешней политике все больше сосредоточивается на стремлении получить благоприятные торговые договоры, концессии на железные дороги и разработку в отсталых странах или для превращения «гинтерлянда» или «сфер законного вожделения» в полезные промышленные предприятия под защитой имперского флага. Все больше и больше здоровая промышленность стала требовать аннексий, открытых или подразумеваемых, для того чтобы национальный капитал мог надежно и прибыльно найти свое размещение для развития сырья и продовольствия в обмен на растущие излишки промышленных изделий, выбрасываемых национальными фабриками. Давление растущей экспансии, двойное соперничество из-за рынков для сбыта и покупки, руководимые все более и более могущественными организованными финансистами, держащими в своих руках дипломатические, а в последнем счете—и вооруженные силы своей страны и использующие их для улучшения своего торгового и финансового положения (рассматриваемые как политика национальной безопасности и прогресса), все более и более определяли судьбы современных народов. Эта политика ведет следом за собой соперничество в вооружениях и неизбежные войны, которые каждый участник их выдает за необходимость защиты и обороны. Я не буду касаться более значительных выводов из этого положения, но констатирую лишь простой факт, что все конфликты дипломатии, внешней политики, вооруженной силы и войны вытекают, главным образом, из общей веры в ограниченность рынка, из явной неспособности промышленных классов продавать сколько-нибудь прибыльно все те товары, которые могут быть произведены машинами и ра-

бочей силой, находящимися в их руках. Другими словами, хотя производство существует лишь для снабжения нужд потребителей, степень потребления обычно отстает от уровня возможного производства, так что значительная часть актуальной и еще бóльшая часть потенциальной производящей силы тратится зря. Я уже подробно разобрал этот вопрос раньше. Здесь я хочу лишь апеллировать к элементарным знаниям промышленного мира и просить принять положение, что производство в крупных отраслях промышленности нормально стремится обогнать потребление. Труднее продать, чем купить. Иными словами, действительный спрос — недостаточно быстрый или недостаточно полный, чтобы соответствовать растущей производительности.

Вот почему теория противопоставления производительности и лучшего распределения, как средства против нищеты и недовольства,— ложна. Лучшее распределение является существенным для более высокой производительности. Вот почему понижение заработной платы, как средство понижения «расходов»,—плохая экономическая политика. Ибо только с помощью более равного и правильного распределения продуктов мы можем добиться обоих условий, делающих более высокую производительность выполнимой политикой. Рабочие не хотят и не могут дать и применить свои силы в полном и лучшем виде в производстве, если им не будет обеспечена бóльшая доля продукта, чем та, которую им предоставляет экономический строй в большинстве стран.

Второй довод, почему бóльшая производительность совершенно невозможна без лучшего распределения, заключается в том, что только оно может обеспечить соответственный регулярный рост устойчивого уровня потребления и удерживать его на высоте их растущей выработки. Крупное неравенство в распределении приводит к двум тревожным факторам. Первый — попытка автоматического сбережения и инвестирования большей части доходов богатых людей, чем это в действительности нужно для обеспечения производительности в будущем. Второй — беспорядочное и расточительное применение крупных частей дохода для производства и покупки предметов роскоши, — всегда непостоянных, изменчивых по своей природе, мнение о бесполезности и беспорядочности которых запечатлевается и среди низших классов производителей.

Таким образом равное распределение неразрывно связано с высокой производительностью, так как, только освободив потребление от своих оков, можно уничтожить ограниченность рынка.

Георгий Гапон.

(Опыт политической биографии).

Д. Ф. Сверчков.

В декабре 1904 г. весь Петербург повторял никому раньше не известное имя священника Георгия Гапона. В январе 1905 г. это имя облетело весь мир в связи с невероятным преступлением, совершенным Николаем II 9 января. Что же представлял собою этот священник и «вождь» рабочих 9 января — Георгий Гапон?

I. Поп — золотой сноп.

О прошлом священника Георгия Аполлоновича Гапона до 1904 года мы не имеем никаких сведений, за исключением его собственных мемуаров, выпущенных в 1905 году за границей на английском языке и опубликованных в Париже в переводе на французский язык, под заглавием «Les mémoires du pope Gapon». Эти мемуары вышли и в Москве в 1918 году под заглавием «Записки Георгия Гапона» в плохом переводе и с большими пропусками, ввиду чего я пользуюсь французским текстом.

Конечно, Гапон в своих мемуарах стремился причесать себя под революционера и выставить в самом благоприятном свете, вследствие чего дать его верную характеристику до того периода, когда его рассказы могут быть освещены и проверены другими документами, крайне трудно. Однако и мемуары дают некоторый материал для его политической биографии.

Георгий Гапон был сыном крестьянина села Беляки, Полтавской губернии. Отец его 35 лет под-ряд состоял в должности то волостного писаря, то сельского старосты («Мемуары», стр. 8). По описанию Гапона, отец его был исключительно честным человеком, никогда не пользовавшимся «приношениями» со стороны крестьян. Он любил рассказывать о борьбе украинских казаков против турок и татар в защиту России и с возмущением говорил, что в награду за это русское правительство роздало украинские земли разным тунеядцам, отняв их у крестьян.

К помещикам он относился в глубине души крайне враждебно, и Гапон вспоминает, как отец ему, еще мальчику, говорил, указывая на проезжавшего помещика:

— Смотри, какой у него гордый вид. А ведь его коляска и все, чем он владеет, все это досталось ему нашим трудом!

Мальчик Гапон не удержался, чтоб не запустить камнем вслед помещика.

Мать Гапона была неграмотна и отличалась крайней религиозностью, требовала, чтобы сын аккуратно ходил в церковь и пел на клиросе.

Мальчик Гапон исполнял роль пастуха в своей семье. Он вспоминает, как пас гусей, овец, свиней и даже целое стадо рогатого скота, принадлежавших отцу. Это несколько противоречит его собственным утверждениям о том, что их хозяйство было «скудным», а родители — «бедными крестьянами» («Мемуары», стр. 15).

С семи лет Гапон поступил в начальную школу и, как вспоминает, учился настолько хорошо, что местный священник посоветовал его родителям предоставить возможность мальчику продолжать учение.

Вопрос, к какой карьере себя готовить, был разрешен мальчиком на основании двух соображений. Во-первых, его очень прельщала поговорка: «поп — золотой сноп», а во-вторых, он думал, что, войдя беспрепятственно в качестве священника после смерти в рай, он сможет оказать протекцию к пропуску туда же своих родных. Словом, задатки Гапона проявились с детского возраста.

Гапона отправили в Полтавское духовное училище, где он 12 лет выдержал экзамен во второй класс.

В последнем классе училища, когда Гапону было 15 лет, один из преподавателей, Трегубов, известный последователь Л. Н. Толстого, дал ему прочесть некоторые сочинения Толстого, оказавшие большое влияние на его мысли. Под влиянием толстовских идей Гапон начал разбираться в сущности религии и критиковать ее обрядности.

Окончив духовное училище, Гапон поступил в семинарию, где под влиянием другого толстовца, Фейермана, продолжал открыто порицать лицемерие служителей церкви. За это Гапон был лишен правительственной стипендии и стал добывать средства к жизни, давая уроки в богатых домах и у местного полтавского духовенства.

По окончании семинарии Гапон имел намерение поступить в университет, но характеристика, данная ему начальством, закрыла перед ним эти двери.

«Для меня, — говорит Гапон, — это значило гибель всей моей карьеры, отказ от всех, манивших меня надежд...»

Некоторое время Гапон жил уроками, а также занимался статистикой в земстве, где впервые встретился с революционерами и получил возможность прочитать кое-какие из революционных изданий.

Он собирался все же пробраться хотя бы окольными путями в университет, мечтал поступить на медицинский факультет, спрятав характеристику, данную семинарским начальством, — но познакомился в доме помещика, где давал уроки, с дочерью одного местного купца, которая убедила

его остаться священником, говоря, что врачевание душ людей гораздо полезнее, чем лечение их болезней.

Гапон решился жениться на ней и сделаться священником. Однако родители девушки не соглашались на их брак. Тогда Гапон обратился к епископу Илариону, который хорошо относился к нему (к сожалению, Гапон не рассказывает, каким путем он заручился симпатией архиерея при отрицательной характеристике семинарского начальства). Иларион устроил их брак, обещал родителям невесты, что всегда будет покровительственно относиться к Гапону, и год спустя дал ему прибыльное место священника кладбищенской церкви г. Полтавы.

Священником Гапон пробыл два года и, овдовев, решил вновь попытаться сделать ту карьеру, о которой мечтал, и для этого поступить в Петербург в духовную академию. Помеха в виде неблагоприятной аттестации семинарского начальства была на этот раз обойдена при помощи того же архиерея Илариона, написавшего рекомендательное письмо о Гапоне самому Победоносцеву, правой руке Александра III, а после него и Николая II, известному тогда столпу и опоре реакции, занимавшему должность обер-прокурора святейшего синода.

Архиерей Иларион не был единственным покровителем Гапона. В его судьбе приняла горячее участие очень богатая помещица Полтавской губ., снабдившая его, в свою очередь, письмом к помощнику Победоносцева — Саблеру и предложившая Гапону остановиться в ее роскошном доме на Адмиралтейской набережной в Петербурге.

Конечно, Саблер немедленно принял меня, — как пишет Гапон, — выказал мне особенное расположение, оставил меня позавтракать и обещал устранить все трудности на пути к моему поступлению в академию.

«— Мы знаем, что вы не отличались хорошим поведением в семинарии, — сказал Саблер, — мы знаем, какими вредными мыслями вы были полны в это время, но архиерей писал мне, что вы их выбросили из головы, ставши священником, и загладили ваше прошлое. Мы вас принимаем в свою среду и мы убеждены, что вы будете стараться только о том, чтобы сделаться верным служителем церкви, что вы отдадите ей все ваши силы и стремления. Повидайтесь теперь с управляющим учебным комитетом синода, отцом Смирновым, расскажите ему вашу историю, а оттуда идите прямо к Победоносцеву, которому уже говорил о вас ваш архиерей» («Мемуары», стр. 40 — 41).

Для свидания с Победоносцевым Гапон поехал в Царское Село и по дороге познакомился с «очень почтенного вида господином», который, как оказалось (повсюду удача!), был чиновником при Победоносцеве и особенно симпатично относился к полтавцам, так как сохранил самые приятные воспоминания об обедах, которыми угощал его когда-то в Полтаве епископ Иларион. Чиновник этот обещал Гапону устроить ему вне всякой очереди свидание с Победоносцевым.

Он выполнил свое обещание, и Гапон был принят в духовную академию.

Нельзя не согласиться с Феликсом, выпустившим в 1906 г. брошюрку «Г. А. Гапон и его общественно-политическая роль», в которой он говорит:

«С самой юности, на школьной и студенческой скамье, Гапона отличает одна характерная черта: способный, нервный, легко возбуждающийся, доходящий до крайности в своих замыслах и увлечениях, легкомысленный, постоянно меняющий свои настроения юноша страстно любит играть роль, быть на виду, отличаться от других. Его поведение никак не укладывается в обычные рутинные рамки школьной жизни. Он то и дело нарушает дисциплину, вызывает неудовольствие и подозрительность начальства. Но при этом он всегда умеет как-то и поладить с тем же начальством, а когда нужно, то найти и воспользоваться высокой протекцией, которую он какими-то таинственными путями всегда умел раздобыть для себя» (стр. 17 — 18).

Гапон выдержал экзамены в духовную академию и получил самую лучшую правительственную стипендию.

Епископ Иларион не оставлял своим вниманием Гапона, — он дал о нем хорошую рекомендацию петербургскому епископу Вениамину, и последний предложил ему принять участие в миссионерских классах для рабочих, устроенных на Боровой улице. Там Гапон выступал несколько раз в роли проповедника, но вскоре заболел и уехал лечиться в Крым.

«Счастливая случайность, — пишет Гапон, — столкнула меня с отцом Николаем, епископом Таврическим. В его епархии его не любили за его гордость и высокомерие, но ко мне он был очень добр...»

Словом, повсюду, где только Гапон ни оказывался, «случай» сводил его с сильными мира и полезными ему людьми, а уменье помогало понравиться им и заручиться покровительством.

Кроме епископа Николая, Гапон познакомился в Крыму с художником Верещагиным и писателем Джаншиевым.

Возвратившись в Петербург, Гапон решил окончить академию, «чтобы достичь положения, которое позволило бы целиком отдаться работе на пользу рабочего класса столицы», — как говорит он сам. С целью приблизиться к рабочим он обратился к протекции того же Саблера, и последний устроил его в братской миссии церкви «скорбящей божьей матери» в Галерной гавани, где Саблер был церковным старостой. Здесь Гапон говорил проповеди «о долге и о счастьи», познакомился со многими рабочими и впервые начал говорить с ними о необходимости организации общества взаимопомощи для улучшения их положения. Но — осторожность и предусмотрительность прежде всего! — перед тем, как начать эти разговоры, он сообщил о своих намерениях главному священнику церкви и заручился его разрешением на такие беседы с рабочими. Священник все же довел об этом до сведения архиерея — ректора духовной академии и испросил у него позволение говорить на эту тему проповеди.

Гапон ободрился и мечтал уже о дне, когда он получит разрешение на открытие такого общества, но встретил несочувствие Саблера. Конечно, Гапон немедленно же отказался от своей попытки и от дальнейшего участия в миссионерской деятельности. «Я не верил тогда, — пишет он, — в необхо-

димость изменения государственного строя России. Я говорил рабочим, что с помощью профессиональных организаций они добьются гораздо более существенного улучшения их положения, чем конфликтами с правительственной властью» («Мемуары», стр. 70).

Когда Гапон был на втором курсе академии, ему предложили место главного священника в приюте Синего Креста, находившегося в рабочем квартале. Одновременно он получил приглашение проповедовать в Ольгинском доме для бедных, состоявшем под покровительством императрицы. Там он познакомился с нищими-босяками, говорил с ними об их положении, посещал ночлежные дома. Эта его деятельность показалась подозрительной полиции, и он был вызван к петербургскому градоначальнику генералу Клейгельсу для об'яснений. Разговор с Клейгельсом, убедившимся, что Гапон не преследует никаких политических целей, окончился тем, что Гапон обещал ему представить доклад об устройстве целого ряда рабочих домов в городах и рабочих колоний в деревнях, в основе которых лежал бы принцип труда.

Клейгельс сочувственно отнесся к этой мысли, принял доклад Гапона и обещал его рассмотреть. Но Гапон этим не удовлетворился. Он послал копию этого доклада ген. Максимовичу, заведывавшему всеми рабочими приютами, находившимися под покровительством императрицы. Он сумел заинтересовать ген. Максимовича настолько, что тот приказал немедленно отпечатать доклад и один экземпляр его отправил статс-секретарю Танееву, начальнику канцелярии и любимцу Николая II и правой руке императрицы. Танеев рассказал о докладе самой императрице и получил от нее приказание поставить доклад на обсуждение в комитете под ее председательством и вызвать на это заседание Гапона.

Гапон ликовал. Мечты о большой карьере осуществлялись. Но, как человек предусмотрительный и не теряющий из вида мелочей, он решил в ожидании знакомства с императрицей использовать впечатление, уже имевшееся по поводу его доклада. Слух о том, что им заинтересовалась императрица, распространился в высших сферах и помог Гапону завязать «полезные знакомства». «Меня стали приглашать в салоны высшей придворной аристократии, где я вскоре совсем освоился, — пишет он. — В это время я чаще всего бывал у вдовы бывшего посланника в Японии Хитрово... у старшей фрейлины императрицы, Елизаветы Нарышкиной, занимавшей высокое положение среди высших придворных кругов и пользовавшейся исключительным благоволением царя и царской семьи...» и т. д. Словом — пошел «по женской линии», которой впоследствии с таким исключительным успехом воспользовался фактический самодержец последнего периода — Григорий Распутин. В это же время он приобрел благоволение митрополита Антония, согласившегося на принятие Гапоном должности священника Красного Креста, предложенной ему княгиней Лобановой-Ростовской.

Такая быстрая карьера Гапона возбудила зависть со стороны многих придворных особ, и председатель комитета всех приютов, член петербургской городской управы Аничков, втершись в доверие Гапона и — во время уго-

щения украденными из Зимнего дворца винами[1]) — узнавший о его намерениях пропаганды среди рабочего класса мысли о создании рабочих организаций, донес на Гапона в охранное отделение и в академию, и в результате — Гапона уволили с 4-го курса и отстранили от работы в Синем Кресте.

Свое увольнение из академии и отстранение от должности священника в детском приюте Синего Креста Гапон об'ясняет доносом Аничкова и досадным отсутствием в это время из Петербурга своего покровителя митрополита Антония. Однако донос этот совпал с кое-какими другими фактами, о которых говорит в уже цитированной мною брошюре Феликс:

«Мы не считаем себя в праве останавливаться на некоторых недостаточно проверенных указаниях, слухах и рассказах. Но один факт установлен твердо, и мы даже знаем, что когда Гапону пришлось однажды в некоей влиятельной петербургской редакции прямо ответить на вопрос «что означают эти письма и жалобы?» — при чем ему были пред'явлены и подлинные документы, полученные от определенных лиц, то он, видимо сильно сконфузившись, не нашел, однако, никаких путных доводов и возражений в свое оправдание и, видимо, замял разговор. Дело шло о следующем характерном факте: Гапон был законоучителем в приюте Синего Креста на 22-й линии Васильевского острова. Вдруг матери девочек, воспитанниц этого приюта, стали усиленно брать своих детей из него. На это обратили внимание; было произведено расследование. Оказалось, что Гапон так «своеобразно» держал себя с воспитанницами старших классов, что пребывание их в этом приюте становилось положительно неудобным. Когда попечительный совет приюта поближе заинтересовался этим делом и личностью отца Гапона, то он натолкнулся и на другой факт: между настоятелем приюта и поставщиками церковных вещей для него оказались крупные недоразумения по счетам. Совет был вынужден, несмотря на усиленное желание начальницы этого приюта какнибудь замять эту неприятную историю, предложить Гапону удалиться» (стр. 19 — 20).

Охранное отделение также не оставило доноса Аничкова без внимания, но Гапон не был уже простым смертным, которого можно было бы по тогдашней практике — арестовать, а затем держать в тюрьме «впредь до выяснения причины его ареста» (официально употреблявшаяся тогда формула). Его не решились даже вызвать в охранное отделение для допроса, а командировали к нему на квартиру чиновника Михайлова, занимавшего крупное положение начальника филеров (шпионов) всей России. «Я ему рассказал, — пишет Гапон, — мою историю. Он отнесся ко мне с исключительным расположением и уверил, что целиком симпатизирует моим либеральным идеям. Благодаря его докладу митрополиту Антонию, я был восстановлен в моих должностях и принят обратно в академию» («Мемуары», стр. 87 — 88).

По рассказам Гапона выходит, что с кем он ни сталкивался: с архиереями, митрополитами, Победоносцевым, Саблером, крупным полицейским

---

[1]) По собственной похвальбе Аничкова.

генералом Клейгельсом, фрейлинами, охранниками и т. д., — все становились немедленно — по совершенно неведомым причинам — его друзьями и единомышленниками, помогали ему во всем, подпадали даже под его влияние... Мы можем только догадываться, о том, что дело было вовсе не в приятном голосе Гапона и его любезном обхождении...

II. Под зубатовским знаменем.

«Следующий странный случай, — пишет дальше Гапон, — поможет понять, каким образом я получил поддержку со стороны русской полиции.

Однажды тот же чиновник охранного отделения Михайлов посетил меня в академии и сказал, что некто желает со мной познакомиться. Он настаивал, чтобы я отправился немедленно и привез меня к большому дому на Фонтанке, носящему надпись: «департамент полиции». Мы прошли через несколько комнат, наполненных маленькими черными картонками. Впоследствии я узнал, что эти картонки заключали в себе фотографические карточки и сведения обо всех политически неблагонадежных лицах в империи. Коллекция эта известна в России под именем «книги судеб».

«— Вы увидите Зубатова, — сказал мне Михайлов.

«Я в то время еще ничего не знал ни о департаменте полиции, ни о его всесильном начальнике политического отдела Зубатове, но мое любопытство было сильно возбуждено.

Нас ввели в великолепную приемную, и я был представлен Сергею Васильевичу Зубатову. Это был человек, лет 40, низкого роста, но крепко сложенный, с темными волосами, с ласковым взглядом и простыми манерами.

«— Мой товарищ Михайлов, — сказал он мне с дружеским жестом, — говорил мне о вас с самой лучшей стороны. Вы, кажется, завязали прочные связи с рабочими, имеете влияние на народ и легкий доступ к нему? Я поэтому очень рад с вами познакомиться. Я имею одну цель в жизни: притти на помощь рабочим. Вы, вероятно, знаете, что я сам раньше был революционером и хотел этим путем осуществить мои мечты сделать добро человечеству. Но я вскоре убедился, что этим путем ничего не достигнешь. Тогда я попробовал организовать союз рабочих Москвы, и могу гордиться успехом. Мы имеем теперь в этом городе действительно сильную организацию, с библиотеками, научными лекциями, с кассами взаимопомощи. Вы можете судить о ее значительности уже по одному тому, что 19 февраля 50.000 рабочих Москвы возложили венок у памятника Александру II. Я знаю, что вы стремитесь к одной с нами цели, и хотел бы об'единить нашу работу.

«И он пригласил меня на следующий день к себе на квартиру, чтобы поговорить поподробнее... Я обещал.

«— А пока я пришлю к вам одного из членов нашей организации, рабочего Соколова, очень ценного моего сотрудника.

«— Ну, как вам понравился Зубатов? — спросил меня Михайлов на обратном пути в академию.

«— А кто он на самом деле? — невинно спросил я. — Он — простой сыщик?

«— Нет, его нельзя так назвать, — ответил Михайлов. — Это — человек, все симпатии которого находятся на стороне революционного движения. Он даже часто помогает революционерам своими деньгами. Вы увидите — это государственный ум. Вы познакомитесь с его исключительными мыслями об улучшении положения рабочих.

«В тот же день ко мне пришел рабочий Соколов.

«Я узнал впоследствии, что этот человек был целиком во власти Зубатова и правительства, и являлся их главным орудием в деле создания в Москве рабочих организаций, находившихся под наблюдением и руководством тайной полиции. В Петербурге он был главою рабочей организации такого же характера.

«Состоя в тайной полиции, он был, несомненно, убежден, что делает это в интересах рабочего класса. Он произвел на меня впечатление славного и умного малого.

«Он говорил с энтузиазмом и с гордостью об образовании, которое получают участники рабочей организации в Москве. Профессора-интеллигенты, — говорил он, — читают лекции рабочим. — Во время разговора он передал мне листок за подписью Льва Тихомирова (б. члена Исп. Комитета партии Народной Воли, раскаившегося в своей революционной деятельности, прощенного Александром III и сделавшегося крайним реакционером. *Д. С.).* Тихомиров поздравлял рабочих по поводу возложения ими венка к подножию памятника Александру II. Соколов хвалился огромной суммой денег, которая была истрачена на покупку этого венка.

«— Мне кажется, — возразил я, — достойным сожаления организовать людей не для взаимопомощи, а для расходования их трудовых денег на такие цели.

«— Да, — ответил он, — но это понравится царю, а если царь будет доволен нами, он поможет нам во всем, о чем мы его будем просить» («Мемуары», стр. 89 — 93).

Соколов пригласил Гапона посетить собрание Петербургской организации рабочих. Гапон обещал.

«На следующий день, — пишет дальше Гапон, — я отправился на квартиру к Зубатову. Он меня принял самым сердечным образом, и мы проговорили до 3 часов ночи. Он изложил мне свои мысли по поводу политических и социальных вопросов и свое мнение относительно способов направить движение в пользу промышленных рабочих.

«— Наше огромное преимущество,— говорил он, — заключается в том, что у нас — самодержавный царь. Он господствует над всеми классами. На этой высоте, независимый от кого бы то ни было, он может уравновешивать власть. До сих пор царь был окружен только представителями высших классов и под их влиянием, естественно, направлял политику государства в их пользу. Теперь рабочие должны организоваться так, чтобы сделаться силой, с которой царь должен будет считаться, таким путем уравновесится влияние

высших классов, правительство царя сделается беспристрастным и в мудром равновесии обеспечит благоденствие всей России.

«Соображения эти были очень вески. Тем не менее, я не удержался спросить:

«— Но в таком случае зачем же поддерживать самодержавие? Не лучше ли и не благоразумнее было бы для самого царя предоставить политическим партиям бороться друг с другом, как это имеет место в Англии и во Франции? Мне кажется, что если ваша теория верна, то конституционный режим был бы для нее наиболее подходящим.

«— Ну, конечно, — вскричал Зубатов. — Мы к этому и стремимся! Я сам — конституционалист, но перемена не может быть осуществлена сразу, одним взмахом. Лев Тихомиров, например, стоит за сохранение самодержавия. Он считает, что в настоящее время эта форма правления гораздо полезнее для нашего дела, чем конституционный режим. Мы должны организовать рабочих, но без всякого участия интеллигенции, которой так боится правительство. Когда мы достигнем этого, мы сможем действовать более прямым путем.

«В начале разговора я старался скрывать свои настоящие мысли. Но в этот момент я испугался, что не сдержал себя и слишком откровенно высказался. Зубатов мог, как только уйду, приказать арестовать меня, как подозрительного человека. Поэтому я поспешил прибавить:

«— Конечно, я не конституционалист, но я пробую стать на вашу точку зрения, так как ваши мысли меня чрезвычайно интересуют.

«— Но я-то, — сказал он, — сторонник конституции. Я не допускаю одного, — это вмешательства студентов и интеллигенции в рабочее движение. Я предпочитал бы видеть вас во главе рабочей организации. Интеллигенты путем агитации стараются добиться только своих собственных политических целей. Чего они хотят? Только того, чтобы власть попала в их руки. Рабочие являются для них лишь орудием для их личных целей, нужно бороться против этого эгоизма, против одурачения, жертвой которого является наш простой наивный народ...

«— Ну, что же, решаетесь? Согласны ли вы присоединиться к нам и нам помочь? — спросил Зубатов.

«— Я подумаю, — ответил я. — Я хочу поехать в Москву, познакомлюсь там с работами вашей организации и увижу, что мне делать» (там же, стр. 95 — 97).

Гапон поехал в Москву, виделся со многими зубатовцами, посетил какого-то литератора, который «открыл ему глаза» на зубатовские организации, представлявшие собою полицейскую ловушку для рабочих с целью отвратить их от политической борьбы, возбудить против интеллигенции, забрать движение рабочих в руки полиции и сделать его безопасным как для правительства, так и для буржуазии.

«Это об'яснение, — говорит Гапон, — возбудило во мне глубокое отвращение. Организаторы зубатовских обществ получали от департамента полиции огромное жалованье и жили в роскоши. Редактор реакционной га-

зеты «Московские Ведомости» Грингмут вместе с епископом московским Парфением и писателем глупых патриотических брошюр генералом Богдановичем были во главе зубатовской работы. Я ясно видел, что единственной целью организации было задавить рабочее движение. Я вывел заключение, что сотрудничество с Зубатовым не только безнравственно, но и преступно» (там же, стр. 102).

Казалось бы, прямым и естественным результатом таких выводов было порвать с Зубатовым и с полицейскими кругами. Но Гапон вместо этого — связался с Зубатовым еще теснее и стал брать у него деньги.

Впрочем, не буду забегать вперед, а изложу события в их последовательности, как рассказывает о них Гапон.

Вернувшись в Петербург, он написал доклад о зубатовском движении, при чем отнесся к нему резко отрицательно.

Единственным средством к улучшению положения рабочего класса он указал на разрешение рабочим устраивать свободные и независимые организации по образцу английских. Зубатовская же политика, — писал он, — только деморализует участников организаций и препятствует привлечению в них искренних людей, желающих без задней мысли помочь рабочему классу. Доклад этот Гапон составил в двух экземплярах; один из них он передал петербургскому градоначальнику генералу Клейгельсу, а другой митрополиту Антонию, при чем в последнем прибавил, что участие духовенства в организациях Зубатова только дискредитирует церковь.

Излагая таким образом содержание своего доклада, Гапон, конечно, не говорит правду. Если бы основным содержанием доклада были приведенные им мысли, сводящиеся к указанию на необходимость дать свободу рабочих союзов, то его не стал бы вновь приглашать к себе генерал Клейгельс, — что явилось результатом доклада по словам Гапона, — не стал бы высказываться митрополит Антоний в благоприятном для Гапона смысле, и не создалась бы атмосфера, отрицательная для Зубатова. Вспомните, что все это происходило в то время, когда «Россия была стиснута железной рукой Плеве, и нищета народная увеличивалась вместе с жестокими репрессиями со стороны правительства», — как пишет сам Гапон, и, конечно, какие бы то ни было мысли о свободе рабочих организаций могли иметь своим результатом только в лучшем случае высылку из Петербурга того, кто их проповедует.

Гапоновский доклад имел, однако, вовсе не такие неприятные результаты. Наоборот, Зубатов, узнав об навеянном Гапоном отрицательном отношении к нему Клейгельса и Антония, стал еще усиленнее стараться заручиться сотрудничеством Гапона.

Гапон не отверг его стараний.

«Я горел желанием предпринять действительно огромное дело, — об'ясняет Гапон, — но я знал, что полиция поставит передо мной неодолимые препятствия, если я начну действовать совершенно независимо от нее. И я решил, воздерживаясь от какой-либо помощи Зубатову и его агентам, скрыть от них мои действительные намерения» (стр. 105).

И Гапон продолжал встречаться с Зубатовым в квартире одного из друзей последнего, там познакомился с другими его помощниками — Марией Вильбушевич, доктором Шаевичем и доктором Шапиро, проводившим зубатовские планы еврейской сионистской организации. Мария Вильбушевич и доктор Шаевич, работавшие в это время над организацией зубатовских обществ на юге России, показались Гапону, несмотря на их службу в полиции, сочувствовавшими революционному движению и скрывавшими свои истинные намерения от Зубатова. Там же Гапон встретился с известным провокатором М. И. Гуровичем, разоблаченным в 1901 году и в течение многих лет до этого «освещавшим» охранке, — поскольку он мог это делать, — «союз борьбы за освобождение рабочего класса» и работу марксистских кружков в Петербурге. Зубатов представил Гапону Гуровича, как своего «лучшего друга и великолепного сотрудника».

Там же Гапон встретил многих профессоров (к сожалению, он не приводит их фамилий), которые заявляли, что, несмотря на службу в полиции, они являются честными людьми и участвуют в организации, ибо верят, что только этим путем можно принести действительное облегчение рабочему классу.

Один из этих профессоров сказал Гапону:

— Рабочие в будущем поймут заслуги Зубатова, и придет время, когда ему будет воздвигнут памятник, как благодетелю человечества.

Чтоб несколько оправдать этих профессоров, Гапон уверяет в их искренности и прибавляет, что некоторые из них высказывали сомнение в пользе покровительства рабочим организациям со стороны полиции.

«Как легко в этой обстановке мог попасть в западню простой человек!» — восклицает Гапон, оставляя в этих словах возможность подозревать, что он говорит о самом себе.

«Тогда в первый раз мне пришла в голову мысль, — продолжает Гапон, — не присоединиться ли мне к Зубатову для осуществления моих собственных целей? Однако боязнь запятнать себя удержала меня от положительного ответа на вопрос о моем *окончательном* присоединении, и я ответил, что должен еще подумать» (стр. 107, курсив мой. *Д. С.*).

По мере того, как Гапон знакомился с зубатовцами, перед ним все больше и больше раскрывались тесные связи, существовавшие между полицией и духовенством. Гапон встретился с видным церковным деятелем Скворцовым, редактором «Миссионерского Обозрения» и интимным другом Победоносцева и митрополита Антония. Он называет Скворцова совершенно безнравственным человеком, намекая, что интимность его с двумя названными столпами церкви основана была именно на этом его качестве. Из других духовных лиц, находившихся в тесной связи с полицией, Гапон указывает на известного протоиерея профессора Философова-Орнатского и утверждает, что, собственно говоря, все без исключения священнослужители являлись прямыми агентами политической полиции и жестокими врагами трудового народа.

Весной 1903 г. Гапон окончил духовную академию. Ректор академии посоветовал ему постричься в монахи, указывая на большую духовную

карьеру, которую можно сделать этим путем, но Гапон категорически отказался. Отказался он и от предложения митрополита Антония занять профессорскую кафедру в одной провинциальной семинарии. Гапон остался в Петербурге.

«В это время, — рассказывает он, — у меня созревал грандиозный проект забрать в свои руки зубатовский союз рабочих и парализовать старания полиции превратить его в опору самодержавия. У меня окончательно пропало всякое доверие в искренность намерений Зубатова... Но, однако, я решил использовать Зубатова в своих собственных целях.

«Он пригласил меня к себе и вновь спросил, может ли он рассчитывать на меня. В особенности он хотел, чтобы я написал Витте, бывшему тогда министром финансов, записку по поводу рабочих союзов, чтобы убедить его в важности рабочего движения.

«— Эту записку, — сказал он, — надо составить так, чтобы она казалась сочинением самих рабочих. Витте может оказать нам большую помощь, и вы сможете его убедить, что организация профессиональных союзов рабочих вполне совпадает с его собственными мыслями по поводу государственной политики.

«Я согласился написать такую записку [1]).

«... После окончания нашего разговора Зубатов вынул из письменного стола 200 рублей и предложил их мне с любезной улыбкой, как вознаграждение за работу по составлению записки; я, считая, что отказ мой мог бы вызвать подозрения, взял 100 рублей под предлогом, что вся сумма слишком велика» (стр. 115).

Гапон исполнил свою задачу, но записка его не привела к цели.

Витте принял делегацию рабочих, прочитал записку с начала до конца и спокойно спросил:

— Это вы сами писали?

— Да, — ответили рабочие.

— Тогда вам следовало бы сделаться литераторами.

На этом разговор и окончился.

Проект полиции привлечь на свою сторону Витте провалился. Однако вскоре Плеве целым рядом интриг дискредитировал Витте в глазах царя и сделался всемогущим. Тогда Витте стал, в свою очередь, заискивать перед Зубатовым, но безрезультатно.

«8 мая 1903 г., — рассказывает Гапон, — пятеро рабочих, которых я знал за честных и умных людей, пришли ко мне в академию. Один из них — Васильев — был убит 9 января рядом со мной. Они привели н о в ы е доказательства (значит такие разговоры были и раньше, но о них Гапон молчит. *Д. С.)*, чтобы убедить меня вступить в зубатовскую организацию с тем, чтобы овладеть ею и использовать ее для наших целей. Я уступил не сразу,

[1]) Не она ли приведена в № 1 „Красной Летописи“ за 1922 г., стр. 289: „Из архива департамента полиции“?

но после второго свидания — на квартире одного из них — согласился Там же мы образовали тайный комитет.

«Я отправился после этого к начальнику полиции и заявил, что соглашаюсь принять активное участие в организации, но под условием, чтобы ни один из участников ее не был арестован, как это уже имело место в Москве. Он обещал, и я должен удостоверить, что сдержал свое слово.

«Я принялся тогда за создание руководящей группы движения отчасти из лиц, указанных Зубатовым, отчасти из членов моего тайного комитета, и путем нескольких собеседований приготовил их к их будущей роли.

«Я не знаю, как долго мне удалось бы обманывать бдительность Зубатова. На помощь мне пришла судьба, положившая конец карьере этого великого сыщика.

«Однажды он меня пригласил обедать к своему близкому другу и своей правой руке в деле борьбы с революционерами — Мельникову. Там я познакомился с генералом Скандраковым. В числе присутствовавших агентов Зубатова были Гурович и Шаевич. Шаевич в разговоре энергично защищал систему организации при помощи полиции местных забастовок, путем которой-де можно держать в руках всю рабочую массу» (стр. 121).

Впоследствии, как известно, Шаевич применил эту систему летом того же 1903 г. в Одессе, где, к его ужасу, возникшая по его инициативе стачка на небольшом заводе разраслась во всеобщую забастовку с революционными требованиями... Шаевич был арестован и выслан в Сибирь. Зубатов. письмо которого с одобрением планов Шаевича было найдено во время обыска у последнего, был смещен с должности и выслан из столицы.

«С исчезновением Зубатова, — пишет Гапон, — его союз рабочих остался висящим в воздухе и, когда в августе 1903 г. пять членов моего тайного комитета пришли просить меня взять в свои руки руководство движением, я не колебался [1]): в конце того же августа я начал организацию моего союза, который, по моему плану, должен был явиться самым верным путем к достижению народными массами наибольшего благосостояния и к политической свободе.

«У нас было уже ядро надежных рабочих,—одни — члены моего тайного комитета, другие — которых я наметил из рабочей среды на наших собраниях, — всего человек 17. Мы наняли на Выборгской стороне квартиру и организовали в ней чайную... По средам и воскресеньям мы устраивали там собрания рабочих, на которых читали и обсуждали статьи по рабочему вопросу, и несколько раз я делал доклады по социальным и экономическим

---

[1]) Некто Pierre Marc, в книжке „Au seuil du 17 octobre 1905", изданной в Лейпциге в 1914 г. (говорят, эта книжка составлена по материалам архива Витте), пишет (стр. 33, перевожу с французского):

„Гапон был избран председателем („собрания"). С рекомендацией министра внутренних дел (Плеве) он обратился к митрополиту Антонию и попросил его благословения на это, в чем, однако, Антоний отказал. Гапон не обратил на этот отказ никакого внимания. При поддержке министра, он стал во главе „собрания", получив специальные инструкции и выговорив себе право открывать по своему усмотрению отделы „собрания" во всех районах Петербурга".

вопросам. Каждое собрание начиналось молитвой... В течение нескольких месяцев я убедился в жизненности моего предприятия и решил подвести под него более прочную опору, ибо — не будучи утверждено правительственною властью, оно рисковало быть закрытым в каждый данный момент.

«Я написал доклад министру внутренних дел, указывая на пользу и необходимость профессиональных рабочих организаций. Доклад этот я представил через генерала Клейгельса, с которым подробно говорил о рабочем вопросе. Мне посоветовали повидаться по этому поводу также с директором департамента полиции Лопухиным, который обещал дать денег на устройство библиотеки. Позже — к моему неудовольствию — я получил небольшую сумму — 50 рублей — от министра внутренних дел (Плеве) с предписанием подписываться для нашей организации только на консервативные газеты» (стр. 124).

На какие деньги организовывалась чайная, покупалась мебель, нанималось помещение, Гапон не говорит. Рабочий И. Павлов в своих «Воспоминаниях» («Минувшие годы», 1908, кн. 3) сообщает, что Гапон дал на эту цель 350 руб., полученные будто бы от какого-то купца-благотворителя. Однако в «справке» петербургского охранного отделения прямо подтверждается факт отпуска гапоновскому союзу сумм на оборудование его отделов: «оборудование второго помещения (нарвского, открывшегося 30 мая 1904 г.) обошлось в 360 рублей, из коих 150 были даны особым отделом департамента полиции, а 210 руб. С.-Петербургским охранным отделением», и в этой же справке указано, что оборудование первой чайной на Выборгской стороне «обошлось около 400 руб.» [1]). Сам Гапон сознается в получении еще 400 руб. на эту же цель от департамента полиции («Мемуары», стр. 143). «Мне было очень тяжело принимать эти деньги, — пишет он, — но, чтобы отвратить всякое подозрение, я взял их и записал как пожертвование от неизвестного».

III. Гапон занимает место Зубатова.

Новая рабочая организация Гапона была названа: «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. С.-Петербурга».

В начале ноября все ставленники Зубатова были удалены из организации.

Несмотря на благорасположение всесильного полицейского сатрапа, каким был Плеве, устав «собрания» был утвержден только в феврале 1904 г.

Открытие состоялось в том же феврале 1904 г. В делах департамента полиции нашлась следующая докладная записка об этом, написанная для министра внутренних дел:

«... В феврале 1904 г. при открытии «собрания русских фабрично-заводских рабочих» в день официального открытия собрания вышеуказан-

---

[1]) „Красная Летопись", I, стр. 299, и Айнзафт „Зубатовщина и гапоновщина", Москва, 1922, стр. 41.

ный священник Гапон и члены собрания, «с глубокой признательностью оценивая благожелательность правительства по отношению к рабочим, выразившуюся в учреждении «собрания», просили министра внутренних дел повергнуть к стопам его императорского величества их верноподданные чувства любви и преданности» и по всеподданнейшему докладу об этом статс-секретарем Плеве 20 мая 1904 года были удостоены высочайшей благодарности. Относительно деятельности «собрания» С.-Петербургский градоначальник неоднократно свидетельствовал министру, что собрание строго держится намеченных его уставом задач и является твердым оплотом против проникновения в рабочую среду превратных социалистических учений».

В реакционных петербургских газетах были помещены подробные сообщения об открытии «собрания», было с восторгом отмечено, что рабочие трижды пропели «Боже, царя храни», что на собрании присутствовал и даже выступил с речью новый петербургский градоначальник генерал Фуллон, милостиво согласившийся сняться на общей фотографии с Гапоном и другими руководителями новой рабочей организации.

Благоволением генерала Фуллона — этой появившейся на полицейском небосклоне новой звезды, Гапон заручился при помощи генерала Скандракова и провокатора Гуровича, при чем вновь получил обещание, что никто из рабочих членов «собрания» не будет арестован (напомню, что градоначальнику было непосредственно подчинено охранное отделение).

Дело пошло. В конце июня 1904 г. Нарвское отделение «собрания» насчитывало уже 700 человек.

«Революционеры, в частности студенты, — пишет Гапон, — обыкновенно присутствовали на наших собраниях, надеясь разрушить нашу организацию и привлечь рабочих к революционным партиям. Я приказал их свободно впускать, находя, что их речи увеличивают интерес наших собраний, а наши ораторы всегда умели им возражать» (стр. 142).

«В июне 1904 г. я получил письмо от генерала Скандракова. Он писал мне, что общество взаимопомощи рабочих в Москве, организованное Зубатовым и находящееся под специальным руководством генерала Трепова и великого князя Сергея, очень интересуется моей деятельностью, добавив, что редактор «Московских Ведомостей» [1]), Грингмут, находится в Петербурге и хотел бы со мною повидаться. Мне посоветовали быть осторожным в разговоре с ним.

Грингмут пригласил меня поехать в Москву. Я уже сам решил попытаться создать организации по образцу моего петербургского «собрания» в Москве и в других крупных промышленных центрах. Я получал об этом просьбы со всех сторон. В июле я поехал в Москву, но перед поездкой получил от Плеве через генерала Фуллона совет быть осторожнее с московским «обществом взаимопомощи» и не вмешиваться в его деятельность.

---

[1]) Крайняя реакционная газета, субсидировавшаяся правительством.

Я понял, что Грингмут уже послал на меня донос, и Плеве боялся осложнений с великим князем Сергеем» («Мемуары», стр. 144).

Эти строчки воспоминаний Гапона, подобно многим другим такого же характера, рассеянным по всей его книге, не оставляют никаких сомнений в том, что отношения Гапона с охранным отделением и департаментом полиции вовсе не были такими почти безобидными, как их излагает сам Гапон и как утверждают до сих пор еще несколько лиц из числа его бывших ближайших сотрудников по «Собранию русских фабрично-заводских рабочих г. С.-Петербурга».

Попробуем суммировать сказанное самим Гапоном.

Гапон — поступил на службу в департамент полиции и неоднократно получал оттуда — «чтобы не вызвать подозрения» — деньги, то лично для себя — под предлогом вознаграждения за составление доклада (от Зубатова), то за устройство отделов своего «собрания», то прямо, как ежемесячное жалование. Несомненно, что он получал несравненно бо́льшие суммы и гораздо чаще, чем в этом признается.

Он пишет докладные записки, в которых убеждает высших полицейских руководителей и самого министра внутренних дел о необходимости создать рабочие организации с целью развития самодеятельности рабочих и отвлечения их от революционных партий. При этом он организует «тайный комитет», которому одному известны настоящие цели Гапона: бороться с самодержавием и сплотить для этого рабочий класс в одну армию.

Он критикует в своем докладе, представленном главе охранного отделения генералу Клейгельсу и митрополиту Антонию, деятельность Зубатова и косвенно содействует его падению. Клейгельс, Антоний, охранники Мельников и Михайлов, генерал Скандраков, директор департамента полиции Лопухин, наконец, сам всесильный Плеве — становятся его сторонниками. Для того, чтобы это случилось, конечно, деятельность Гапона не могла ограничиваться одной критикой Зубатова. Конечно, он предложил другой план действий по отношению к рабочим, признанный всеми этими высокопоставленными охранниками в мундирах, рясах и сюртуках, лучшим, чем Зубатовские рецепты, а автора его — вполне заслуживающим доверия правительства. Однако, говоря много и подробно о своем тайном комитете и о замыслах, которые Гапон обсуждал там со своими пятью единомышленниками (которые находились в России и были известны по фамилиям полиции в то время, когда летом 1905 г. — за границей Гапон разоблачал их революционное настроение), — Гапон крайне глухо и невнятно сообщает о рассуждениях и планах, представлявшихся им в департамент полиции официально и снискавших такое исключительное доверие к нему со стороны полиции.

Он добивается утверждения устава «собрания». Первым делом он выгоняет из своей организаци всех агентов Зубатова и охранки. А департамент полиции относится к этому, как к вполне естественному и не заслуживающему никакого внимания факту! Наоборот, он отпускает из своей кассы деньги на организацию новых отделов «собрания»!

На заседаниях Гапоновского «собрания» выступают с речами революционеры. Гапон охотно допускает такие выступления, чтобы — видите ли — «оживить» заседания, придать им больший интерес. Перед полицией или перед читателями «мемуаров» — неизвестно — он оправдывается тем, что его рабочие всегда умели разбить доводы революционеров! Кто же были этими искусными ораторами? Члены «тайного комитета», которых Гапон ставил во главе своих отделов? Навряд ли, — ведь они сами были революционерами и едва ли сумели бы возражать против своих собственных убеждений, излагавшихся другими. Кто же именно? Ответа нет. Но известно, что полиция з н а л а об этих выступлениях революционеров (для последних тоже Гапон выхлопотал у охранки гарантию, что их не будут арестовывать?) и — относилась к ним вполне благожелательно!

Вся ложь Гапона в его «Мемуарах» по поводу представляющего центральный интерес вопроса об его отношении к департаменту полиции вскрывается с очевидностью из сопоставления следующих его собственных рассказов:

«В течение 20 лет Плеве удавалось задушить всякое стремление к свободе русского народа и он свирепо расправлялся с теми, кто являлся выразителем этого стремления...

Моя деятельность привлекала к себе особое внимание Плеве. Один из моих друзей слышал его слова:

«— Для нас революционеры не представляют опасности, нам нечего их бояться. Чего я боюсь — это рабочего движения. Мы имеем две организации среди рабочих: Зубатовскую, находящуюся целиком в руках полиции, и Гапоновскую, которая старательно уклоняется от полицейского влияния. Я не знаю, выйдет ли из этого что-нибудь хорошее...» (стр. 144 — 145).

А с другой стороны — тот же Плеве, передающий через генерала Фуллона Гапону совет быть сдержанным по отношению к Московской зубатовской организации, чтобы не создать осложнений между Плеве и великим князем Сергеем (стр. 144) — т.-е. Плеве — в виде близкого друга Гапона, посвященного во все его планы и заботящегося о том, чтобы неосторожное разоблачение этих планов в Москве не раздражило «августейшего» сторонника зубатовщины!

Дальше Гапон опять плетет в своих «Мемуарах», что он не внял этому совету Плеве, что на собраниях в Москве резко выступил против участия полиции в рабочем движении, что раздраженный великий князь Сергей написал на него жалобу Плеве и что только убийство Плеве предотвратило какие-то неприятные последствия для Гапона. А, с другой стороны, он пишет, что «я сожалел о смерти этого государственного человека, ибо я надеялся заинтересовать его проектом покупки столичными рабочими тех домов, в которых они жили. Я уважал Плеве, я удивлялся его твердой воле, его энергии и его образованности» (стр. 146).

А с третьей стороны — официальное свидетельство градоначальника о том, что Гапоновское общество «является твердым оплотом против проникновения в рабочую среду превратных социалистических учений»!

В течение своего путешествия Гапон побывал кроме Москвы в Харькове, Киеве и Полтаве, при чем вынес впечатление, что прежде всего надо укреплять его петербургскую организацию.

В начале 1904 г. Гапон — через митрополита Антония — занял место священника в петербургской пересыльной тюрьме. Он получал там хорошее жалованье, но, как говорит, тратил и свои деньги на организацию «собрания». Приездом в Полтаву он воспользовался, чтобы посетить своего отца и уговорить его заложить свой дом и землю, чтоб дать Гапону денег, необходимых для приглашения гувернантки к его двоим детям (в это время Гапон имел уже двоих детей от б. воспитанницы приюта Синего Креста Удальцовой, на которой женился). Отец исполнил его просьбу и дал ему 750 руб.

Получив известие о смерти Плеве, а также письма от членов своего «тайного комитета» о начавшихся раздорах между руководителями отделов «собрания», Гапон возвратился в Петербург.

С назначением на место убитого Плеве министром внутренних дел князя Святополк-Мирского началась эра политических банкетов и всевозможных, конечно, безобидных выступлений либерализма. Профессора, адвокаты, журналисты, врачи и т. п. публика устраивала ужины, где за бокалом вина произносились речи о необходимости конституции, принимались резолюции. Словом, наступила политическая «весна».

6 — 9 ноября 1904 г. в Петербурге состоялся с'езд «земских и городских деятелей», хотя и не разрешенный официально полицией, но работавший без всяких помех с ее стороны.

Земцы приняли «пункты» о необходимости изменения государственного устройства России на началах конституционных, обеспечивающих участие в правительстве, конечно, только для цензовых элементов. Значительное меньшинство с'езда высказалось, впрочем, всего лишь за создание законосовещательного «земского собора» из представителей существовавших тогда помещичьих земств и купеческих городских дум.

Гапон пишет, что он воспользовался этим оживлением политической жизни, чтобы подвергнуть обсуждению на заседаниях отделов своего «собрания» различные формы государственного устройства, имея в виду будущее выступление рабочего класса на политическую арену. «Я попытался, — говорит он, — войти в сношения с Лигой (?) социал-демократов и с социалистами-революционерами с целью об'единить в подходящий момент наше выступление, но они предпочли остаться в стороне от меня, так как покровительство градоначальника генерала Фуллона к нам вселяло в них недоверие» (стр. 152).

«В то же время я мучился сознанием, что усилия (либералов) добиться свободы не приведут ни к чему, если не будут поддержаны широкими народными массами. В разговорах со многими представителями либеральной интеллигенции я спросил их мнение по вопросу об участии рабочих в движении. Они посоветовали мне составить петицию правительству за подписями рабочих. Но я считал, что такая петиция ни к чему не приведет, если не будет поддержана огромной забастовкой на заводах.

«Под влиянием рассказов Нарышкиной я верил тогда в добрые намерения царя. Я считал его добрым и благородным, готовым выслушать обращенную к нему непосредственно просьбу и даровать права народу. С самого начала возникновения моей организации, т.-е. 8 месяцем назад, я изложил членам моего секретного комитета мое мнение по поводу выступления такого рода.

«Я собрал в моей комнате 32 рабочих из числа наиболее подготовленных и прочитал им проект того, что мы назвали «царской хартией», обсудив его вместе с ними... Мы обставили это собрание некоторой торжественностью: каждый поклялся держать в тайне все, что он знает... Мысль о петиции с требованием политических реформ распространилась с молниеносной быстротой повсюду. Однако я считал необходимым выждать благоприятного момента для ее осуществления: падения Порт-Артура или неизбежного разгрома эскадры адмирала Рождественского, посланной из Петербурга на Дальний Восток, чтобы помочь разбитой японцами армии Куропаткина. *Д. С.).*

«В начале декабря я собрал председателей всех отделов «собрания», чтобы посоветоваться с ними о средствах вызвать массовое движение рабочих... Я им сказал, что правительство отнесется серьезно к нашим требованиям только в том случае, если мы вызовем в нем панику всеобщей забастовкой всех рабочих Петрограда, соединившихся для поддержки наших требований. Все согласились с моими доводами, и мы начали подготовку забастовки» (стр. 154 — 155).

Так излагает Гапон возникновение мысли о подаче царю петиции.

Однако ближайший участник гапоновского движения, Карелин, рассказывает это совершенно иначе и, по моему мнению, гораздо вернее («Красная Летопись», 1922, № 1, стр. 110):

«С наступлением весны Святополк-Мирского... начались земские петиции, мы читали их, обсуждали и стали говорить с Гапоном, не пора ли, мол, нам, рабочим, выступить с петицией самостоятельно. О н о т к а з ы в а л с я (курсив мой. *Д. С.).*

«Сошлись в это время мы с интеллигентами, — Прокоповичем, Кусковой, Богучарским и еще две каких-то женщины. Просили Кузина привести их. Он привел, и вот в начале ноября, в субботу, четверо нас, — я, Кузин, Варнашов и Васильев, — и эти интеллигенты сошлись у Гапона...

«Вот тогда-то на этом собрании Гапон и об'явил свою петицию...»

IV. Двойная игра Гапона.

Изложенные факты не могут не оставить недоумения. Кем же был Гапон?

С одной стороны — благоволение сильных — вплоть до министра внутренних дел Плеве, жесточайшего врага не только революции, но и окрашенного в бледно-розовый цвет либерализма, дружба с охранниками, куплен-

ная, конечно, не приятными манерами, а реальной помощью в деле борьбы с революционными партиями, за которую Гапон получал, кроме всего прочего, и денежное вознаграждение.

С другой стороны — наличие существовавшего в течение всего 1904 г. «тайного комитета» и обсуждение на собраниях его планов поднять рабочий класс против самодержавия.

Как об'яснить это противоречие?

Первое — связь Гапона с охранкой и получение оттуда и из департамента полиции денег, — конечно, не ради своих прекрасных глаз, — факт, удостоверяющий и собственными признаниями Гапона и документами.

Ближайшие сотрудники Гапона — Карелин, Павлов и др. — удостоверяют, что не знают ни одного случая ареста, могущего вызвать подозрение в предательстве Гапона, и, в частности, ссылаются на то, что никто из революционеров, выступавших на гапоновских собраниях, не подвергся задержанию.

На это можно сказать, что охранка н и к о г д а не производила аресты в обстановке, которая могла разоблачить ее агента-провокатора. Она лишь брала указанных ей революционеров «на учет» и ликвидировала их только тогда, когда аресты не могли ни в коем случае быть связаны с лицом, от которого она получила донос. Это было первейшим правилом, гарантировавшим провокаторам возможность продолжать свою предательскую работу вне всяких подозрений со стороны революционных партий, в которых они находились.

Тем больше это правило должно было применяться к Гапону, в настойчивых требованиях которого к руководителям охранного отделения о недопущении арестов рабочих, входивших в его организацию, я вижу лишь подтверждение такой гарантии для провокаторов. Гапон, естественно, беспокоился об этом еще больше, чем остальные охранники, работавшие в революционных организациях. Ведь он не являлся простым агентом-осведомителем, а главою большой рабочей организации, и провал его повлек бы за собою крушение всех его надежд.

Этим, конечно, об'ясняется и то обстоятельство, что революционеры, выступавшие на гапоновских собраниях, не были арестуемы немедленно п о с л е и х в ы с т у п л е н и й. Но, конечно, «взяты на учет» и в дальнейшем — уже в обстановке, лишающей возможности связать их ликвидацию с Гапоном, — вероятно, не избегали обычной участи, уготованной охранкой для членов революционных партий.

Теперь о «тайном комитете». Он состоял из Карелина, Варнашова, Кузина и Васильева.

Карелин так рассказывает о том, как он поверил в честность Гапона:

«Мы знали, что Гапон имеет какие-то связи с полицией, и держались осторожно. Я был большевиком и участвовал еще в организации Бруснева, имел большие связи с рабочими и с интеллигенцией — с Брусневым, Красиным, Пывинским, Александровым, умершим Голубевым...

«Эти старые связи и мешали как-то поверить Гапону, а когда поверили ему, то пришлось порвать с интеллигенцией и партией, потому окрестили меня: зубатовец.

«Познакомившись поближе с Гапоном, узнали его, но все как-то не верилось, что из знакомства с ним выйдет что-нибудь хорошее для рабочих. Однако как же мы поверили в Гапона? Случилось это весною 1904 года, в марте, так:

«Собралась наша компания полиграфического производства на квартире у Гапона. Говорили, спорили. Он и открыл здесь основные требования своей петиции. «Распространяйте эти мысли, — говорил он нам, — стремитесь к завоеванию этих требований, но не говорите, откуда они».

«Мы были поражены тогда. Ведь я все же был большевиком, с партией не порвал, помогал ей, разбирался; Кузин был меньшевиком. Варнашов и Васильев, хотя и были беспартийными, однако честные, преданные, хорошие понимающие люди.

«И вот все мы увидели, что то, что написал Гапон, шире социал-демократов. Мы и поняли тут, что Гапон честный человек, и поверили ему» («Красная Летопись», 1922, кн. I, стр. 107).

Завоевав доверие этого основного ядра, не скрыв перед ним своего знакомства и близких отношений с охранным отделением и с самим Плеве, которые он поддерживает, дескать, только с целью получить возможность создать широкую рабочую организацию, Гапон сумел через этих рабочих, сомневаться в честности которых не было никаких оснований, привлечь к себе других и начал завоевывать доверие и рабочей массы.

Перед Гапоном был, с одной стороны, опыт Зубатова, взгляды которого и планы Гапон хорошо изучил в течение многочисленных и многочасовых разговоров с ним, а с другой — опыт сотрудника Зубатова Шаевича в Одессе. Мне кажется, что здесь и надо искать разгадки действий Гапона: при помощи широкой «тайной» программы привлечь к себе популярных рабочих-революционеров, а потом, создав большую и крепкую рабочую организацию, попытаться действовать в целях получения в свои руки руководства широким рабочим движением, при чем поступать не так, как глупый Шаевич, испугавшийся вызванной им самим всеобщей забастовки в Одессе в 1903 году и в результате попавший в тюрьму и в ссылку, а стать во главе того движения, — если наступит подходящий момент, — и сделать, опираясь на него, головокружительную карьеру. «Поп — золотой сноп» — эта перспектива, заставившая его надеть рясу, побледнела перед маячащей возможностью стать, по крайней мере, министром труда в конституционном правительстве!

О том, что планы Гапона были именно таковы, подтверждает А. Поссе в своих «Воспоминаниях» (Петроград 1923 г., стр. 46 — 48):

«Гапон понял, что ему не удержать «своих рабочих» в полицейских рамках. Он почуял силу стихийного движения и счел выгодным рискнуть, став во главе стихии, в надежде, что она вынесет его к почету и власти. Началась подготовка 9 января. Фуллон получает массу агентурных све-

дений о том, что Гапон не успокаивает, а подстрекает рабочих к устройству опасной демонстрации. Фуллон не хочет этому верить, не соглашается подписать приказ об аресте Гапона, не переговорив с ним предварительно.

«— Фуллон, — рассказывал мне Гапон, — пригласил меня к себе и, страшно расстроенный, сообщил о полученных им донесениях относительно моей опасной агитации. Донесения были верные, но я не смутился.

«— Многое тут верно, генерал, — сказал я, — но те, кто доносит вам, не знают рабочих, не понимают, что не нужно им противоречить, нужно умело завоевать их доверие и затем, в последнюю минуту, использовать его, чтобы удержать их от безумной затеи пробиваться к государю императору для подачи петиции. Уверяю вас, что если вы предоставите мне полную свободу действий, если вы без моего ведома не позволите арестовать никого из рабочих нашего «собрания», то все обойдется благополучно, и мне удастся успокоить разыгравшиеся страсти. Если же вы прибегнете к репрессиям, то может произойти взрыв, и от него погибнем мы оба, да не только мы...

«Фуллон задумался, потом сказал:

«— Вот что, батюшка, я человек военный, простой и бесхитростный, человек верующий и привыкший с уважением относиться к служителям нашей церкви. Дайте мне свое слово, что вы не допустите выступления рабочих, и я вам поверю, я не позволю тронуть ни вас, ни ваших рабочих.

«Я не моргнул и с величайшей искренностью заявил:

«— Даю вам свое иерейское слово, что никакого выступления не будет.

«Славный был старик. Поверил мне и даже обнял. А я обманул, когда давал слово. Знал, что обманываю. Без этого нельзя. Не обманешь — революции не сделаешь».

«— На что же вы рассчитывали, — спросил я, — когда 9 января вели рабочих к царю?

«— На что? а вот на что. Если бы царь принял нашу делегацию, я упал бы перед ним на колени и убедил бы его при мне написать указ об амнистии всех политических. Мы бы вышли с царем на балкон, я прочел бы народу указ. Общее ликование. С этого момента — я первый советник царя и фактический правитель России. Начал бы строить царство божие на земле.

«— Ну, а если бы царь не согласился?

«— Согласился бы. Вы знаете, я умею передавать другим свои желания.

«— Ну, а все же, если бы не согласился?

«— Что же? Тогда было бы то же, что и при отказе принять делегацию. Всеобщее восстание, и я во главе его».

Гапон показал Карелину и другим еще в марте 1904 г. основные пункты будущей петиции 9 января 1905 г. Эти пункты показались «тайному комитету» шире требований рабочей социал-демократической партии. Что они не шире, а гораздо уже — может убедиться всякий, сравнив политические требования петиции с тогдашней программой социал-демократов.

Пункты петиции представляют собою только программу минимум социал-демократии, да и то не в полном об'еме.

Что Гапон здесь целиком копировал Зубатова, подтверждает — помимо своей воли — сам Карелин. Ведь сам он рассказывает, как он и его товарищи в ноябре 1904 г. убеждали Гапона выступить с петицией наравне с другими группами населения, и говорит, что Гапон отказывался.

Понятно, ведь «пункты» он показал им только для того, чтобы завоевать их доверие, и вовсе не собирался сделать из них какое-либо широкое употребление.

Алексей Филиппов в статье «Странички минувшего» («Новый Журнал для Всех», 1913 г., июнь) рассказывает про категорический отказ Гапона уже в январе 1905 г. включить в петицию царю политические требования:

«Гапон находил, что это способно испортить дело в глазах правительства и вызовет репрессии совершено исключительные и потому нежелательные. И единственный раз за время наших частых встреч в ту пору, Гапон оказался определенным в своих суждениях и даже настойчивым» (стр. 114).

Конечно, ибо это вовсе не согласовалось с планами охранки! «Но были какие-то силы, — замечает Филиппов, — которые влияли и на него».

Да, эти силы были — рабочий класс.

Другой ближайший участник гапоновской организации, Павлов, рассказывает точно в таком же духе и об основном политическом шаге, сыгравшем такую огромную роль в революционном движении — о шествии к царю 9 января 1905 г.:

«Мысль итти к царю принадлежала самому Гапону. От кого-то из штабных («штабом» Павлов называет «тайный комитет». *Д. С.)* задолго до 9 января, может быть, за год, я слыхал, что в разговоре при обсуждении средств, которыми можно было бы достигнуть намечаемых рабочими целей, Гапон, между прочим, сказал, что если бы обстоятельства могли сложиться таким образом, чтобы депутация от рабочих могла явиться непосредственно к царю, то, принимая во внимание психологию момента, таким шагом можно было бы достигнуть многого. Но как раз эта мысль кому-то вспомнилась теперь (перед 4-м января 1905 года. *Д. С.*)... Теперь он (Гапон) отнесся к этой мысли отрицательно, находя, что положение с тех пор совершенно изменилось, и такой шаг в настоящее время, по его мнению, должен считаться безрассудным» (И. Павлов. Из воспоминаний о «Рабочем союзе и священнике Гапоне», «Минувшие Годы», 1908 г., кн. IV, стр. 89).

Опять та же самая картина: обсуждение заблаговременно всяких проектов, предлагавшихся Гапоном — так же, как и раньше него Зубатовым — для возбуждения к себе доверия, но категорический отказ в их осуществлении на деле под всевозможными предлогами.

То-есть — полнейшая и точнейшая копия зубатовской тактики.

В этот именно момент — во время спора о нужности организации шествия к царю с петицией — в Гапоне, повидимому, произошел перелом, и он решил испробовать стать во главе массового рабочего движения, открыто выливающегося на улицу, что, конечно, не входило в планы охранного отделения.

Простодушно не замечая вывода, который неизбежно вытекает из его рассказов, И. Павлов говорит дальше:

«Между штабными и Гапоном произошел резкий обмен мнений, ему сказали, что теперь именно наступил предсказанный им самим момент, когда пролетариат должен выступить во всеоружии своих требований, хотя бы в форме непосредственного обращения к царю, и что он должен совершиться теперь или никогда. Страсти у руководителей «собрания», с одной стороны, и у Гапона — с другой, жестоко разгорелись, и Гапон сдался. В этом своем поражении, по моему мнению, Гапон именно и показал себя гениальным организатором масс. Несмотря на то, что он был против мысли итти теперь к царю, он, тем не менее, нашел в себе столько высокого мужества, что не только подчинился нежелательной ему мысли, но всем своим существом проникся ею. И в дальнейшем мы видим его уже энергично развивающим и обосновывающим эту мысль» (там же).

И. Павлов, сам того не видя, дает исчерпывающию картину перелома в Гапоне. «Штабные» притиснули его к стене: или осуществляй твою собственную программу шествия к царю, или ты потеряешь все наше доверие. Гапон отстаивал директивы охранки, насколько мог горячо. «Страсти» с обеих сторон — «жестоко разгорелись». Настаивая на выполнении проекта самого Гапона теперь же (напоминаю, что спор происходил между 1-м и 3-м января 1905 г.), штабные вынудили его «сдаться», несмотря на ж е с т о к о е его сопротивление. Они оставили перед Гапоном только один путь, — разорвать с охранкой и попробовать одним ударом вынырнуть на вершины власти, одним взмахом стать — в случае удачи движения — представителем рабочих — «советником царя», а в случае неудачи... будет, дескать, не хуже, чем, оставаясь верным охранке, сразу скомпрометировать себя в глазах всех, лишиться доверия рабочих и превратиться в простого попа, служащего — по совместительству — в департаменте полиции.

И никакого «высокого мужества», о котором говорит Павлов, у Гапона не было и в помине. Он выбрал путь и — со всей своей огромной энергией и настойчивостью — бросился по нему все к той же заветной цели.

На протяжении всех своих «Воспоминаний» Павлов — бессознательно для него самого — подчеркивает именно полное тождество действий Гапона с линией поведения его учителя — Зубатова — и дает ценнейший материал, описывая отношения между «штабом» или — по-гапоновски — «тайным комитетом» и самим Гапоном.

«... Всем, не знавшим организации (гапоновского «собрания»), на вид бросался прежде всего Гапон. На самом же деле Гапон далеко не играл той роли, какая ему приписывается. Душою всего дела были супруги К. (Карелины), к ним непосредственно примыкали: Х—в (Харитонов), И—в (Иноземцев) и другие, это была прямая оппозиция Гапону вплоть до 9 января. К названным лицам тяготели, как к своим товарищам-рабочим, почти все заметные рабочие организации» («Минувшие Годы», 1908, кн. III, стр. 41).

«Да, это были рабочие, но какие рабочие! Бывало, после какого-нибудь штабного собрания отправишься куда-нибудь к «умным людям» из нашего

общества и диву даешься, видя, какими маленькими, пошленькими кажутся эти умные, образованные и ученые люди сравнительно с теми рабочими. Между тем, никому не известные, никем не признанные эти рабочие, вернее, группа рабочих, безусловно держали Гапона в руках... Гапон видел это и вначале не пытался бороться, но уже в конце 1904 года ему, очевидно, надоело находиться в зависимости от этой группы, и он стал подготовлять почву, чтобы освободиться, развязать себе руки. Оппозиционная группа, в свою очередь, видела, что Гапону хочется выскочить из-под ее опеки, и также готовила почву или связать Гапону руки еще крепче, или совершенно изолировать его от дел. Но тут случился инцидент с Путиловским заводом, повлекшим за собой 9-е января 1905 года и все дальнейшее. Не случись этого, — крупная междоусобная война в «Собрании» была неизбежна, если бы Гапон не подчинился оппозиционерам, а это могло случиться, так как его самолюбие частенько страдало» (там же, стр. 42).

«Ближайшие сотрудники Гапона хорошо его понимали, считались с его и желательными и нежелательными сторонами. До самого 9 января они не только не доверяли вполне Гапону, но даже самым форменным образом следили за ним и за всеми его действиями. Ему было предложено прекратить сношения с охранкой, он это обещал, но, очевидно, эта операция не легко ему давалась, так как сношения все же продолжались... С своей готовностью итти на компромиссы он, вероятно, и там так запутался, что порвать сразу не было возможности» (там же, стр. 43).

«В то время, когда штабная оппозиция почти признала Гапона за провокатора (декабрь 1904), и создалось такое положение, при котором могли произойти совсем неожиданные резкие внутренние столкновения, К(арелина), состоя также в оппозиции, только одна продолжала непоколебимо верить в честность Гапона по отношению к рабочим и сильно смягчала взаимные отношения Гапона и штабных» (там же, стр. 52).

«Как только стало заметно стремление Гапона к самостоятельности, штаб повел также свою линию. Предполагая с стороны Гапона интриги, они повели свои контр-интриги и старались гапоновских кандидатов, из которых он хотел создать себе опору, перетягивать на свою сторону, что, повидимому, им удавалось. Но все же штабных очень беспокоило растущее влияние Гапона на малосознательных членов, которых было подавляющее большинство, так как более сознательные рабочие туго шли в члены «Собрания». Причины тому были все те же: недоверие из-за сугубой лойяльности «собрания» к личности руководителя. Недостаток в развитых рабочих сказывался в высшей степени ощутительно, и сам Гапон не только признавал это, но и принимал меры к привлечению их. Но в особенности много в этом отношении работали штабные: они всеми силами старались привлекать более сознательные элементы рабочего мира в члены «Собрания». Привлеченных таким образом, или вообще интересующихся и заходивших на собрания, Гапон обыкновенно приглашал к себе и там наедине, или в тесном кругу раскрывал карты. В большинстве случаев его беседы увенчивались успехом, и, мало-помалу, число развитых рабочих увеличивалось. На привлеченных таким обра-

зом Гапон хотел опереться, как на своих, но, в конце концов, сказывалось, что они принимали сторону штабных» (там же, стр. 53).

«До 9 января главные его (Гапона) сотрудники безусловно ему не доверяли, к каждому его шагу, движению относились не только критически, но и с подозрением. За ним все время следили и в смысле тактики не только ставили ему препятствия, но часто категорически требовали итти совсем по другим путям и заставляли его подчиняться» («Мин. Годы», 1908. кн. IV, стр. 99).

«Временно поставленный впереди всего освободительного движения, Гапон волей-неволей должен был двигаться вперед по известному данному ему направлению или свалиться и быть раздавленным шедшей за ним массой, двигавшейся в это время с головокружительной быстротой. Те попытки, когда он хотел взять другое направление, только показывали ему его бессилие — он чувствовал боль от толчка, и, наконец, скрепя сердце, пошел к 9-му января» (там же, стр. 100).

В приведенных строчках изложена целая картина постоянной борьбы между охранкой — в лице Гапона — и участниками «собрания» — рабочими. Зубатовщина не привилась среди петербургских рабочих, стоявших в общем на более высоком уровне политической сознательности, чем рабочие Москвы и юга России, а гапоновщина, т.-е. та же зубатовщина, но причесанная на другой лад, привела к полному крушению планов Гапона, высочайше одобренных охранным отделением и департаментом полиции.

И так странно после всего изложенного читать утверждение того же Павлова о том, что Гапон был «во всяком случае не провокатор» (стр. 104).

Отмечу, что Гапон настолько был уверен, что ему удастся удержать движение рабочих в рамках полицейского плана, что еще 1 января в течение 3 часов разговаривал с А. Филипповым об организации при отделах «Собрания» лекций по истории и литературе («Нов. Журнал для Всех». 1913 г., июнь, стр. 111). Конечно, ни о каких лекциях не могло быть и речи. если бы он готовил массовое революционное выступление рабочих 9 января.

(Продолжение следует.)

Об одном извращении марксизма в области психологии.

Ю. В. Франкфурт.

Победно шествует диалектический материализм, марксизм, овладевая одной областью науки за другой, проникая во все поры научной мысли, так пышно расцветшей на материальной базе экономической и политической мощи СССР.

Разрушая старое здание буржуазной науки то явно теологической, то маскирующейся в «научные» тоги различных оттенков идеализма и дуализма, марксизм потряс и цитадель психологии, изучающей наши «внутренние», «идеальные», «душевные» переживания, наши отвлеченнейшие мысли и самые причудливые полеты фантазии.

Повеяло свежим ветерком и в затхлой атмосфере суб'ективной, идеалистической психологии. Известный психолог-идеалист Г. И. Челпанов, прославившийся своей книгой «Мозг и душа», вышедшей в 1918 г. 6-м изданием и носящей подзаголовок: «Критика материализма», выпускает брошюру «Психология и марксизм», в которой заявляет:

«Научная психология в России в 1922 г. должна была подвергнуться реформе в согласии с идеологией марксизма» («Психология и марксизм», стр. 7).

Полное, формальное признание необходимости смены вех в психологии со стороны авторитетнейших представителя и руководителя целой школы.

Но вехи меняет не Г. И. Челпанов и иже с ним, нет.

В «Ответе на возражения», во втором издании (2-е издание вредной брошюры. *Ю. Ф.)*, Г. И. Челпанов категорически утверждает, что ему «не было никакой надобности менять прежнюю точку зрения», что еще «в 1900 г., т.-е. 24 года тому назад, он считал основу марксистской психологии и своей психологии тождественными» и что отсюда уже вполне «ясно, что он состоит в «марксистах» (кавычки самого Г. И. Челпанова) с 1900 г.».

Очевидно, что вехи меняют те «некоторые лица (Блонский, Корнилов)», которые «предложили провести реформу таким образом, чтобы вместо психологии, будто бы содержащей какие-то идеалистические моменты, ввести рефлексологию» (там же, стр. 7).

Г. И. Челпанов, состоящий в «марксистах» уже с 1900 года, не может при своем столь солидном, многолетнем «марксистском» стаже, спокойно видеть, как «научная психология в России в настоящее время находится в огромной опасности вследствие неправильного истолкования вышеуказанными преобразователями идеологий марксизма в ее применении к психологии».

Так как это «ошибочное истолкование получилось, очевидно, вследствие того, что не только в русской, но и в мировой литературе нет сочинения, посвященного этому вопросу», то он, Г. И. Челпанов, «решил собрать весь материал, который имеется по вопросу о психологии в сочинениях Маркса, Энгельса, Фейербаха, Дицгена и выдающихся марксистов», чтобы таким образом «установить смысл подлинного марксизма в его отношении к психологии» (там же, стр. 5—6). Следовательно, Г. И. Челпанов ополчается собственно против реформаторов (Корнилова, Блонского), борется против предлагаемой ими, да еще Бехтеревым и Павловым рефлексологии; он вступается собственно за гонимую психологию и только в пылу борьбы обвиняет он своих противников в извращении идеологии марксизма, вступается за чистоту и подлинность последнего.

И так как это делает Г И. Челпанов, который сам вех не меняет, а величает себя «марксистом» в кавычках, то стóит с большим вниманием проанализировать брошюру.

Надо сразу подчеркнуть, что Г И. Челпанов имеет полное право считать себя «марксистом» в кавычках, ибо то, что он называет марксизмом, есть не марксизм, а действительно только «марксизм» в кавычках. Этот «марксизм» Челпанова тем более вреден и опасен, что Г И. Челпанов «базируется» в своих «выводах». в своих тезисах и положениях на цитатах, дабы легче уловить молодые умы незнающей, неопытной молодежи. Недаром ведь он исходит из предпосылки о том, что приводимый им материал отсутствует не только в русской, но и мировой литературе.

Челпанов и марксизм.

«Свою книгу «Мозг и душа», — говорит Г. И. Челпанов в «Ответе на возражения», — я посвятил критике материализма, понимая под последним только вульгарный материализм Бюхнера».

«Я отвергал только философский материализм [1]), марксизм же—это не философский, а экономический материализм. Логической связи между философским и экономическим материализмом нет».

Но если так, то почему он свою книгу назвал не «критикой вульгарного материализма», а «критикой материализма», т.-е. материализма вообще, во всех его видах и формах, следовательно, и материализма Маркса. Это — во-первых.

---

[1]) В тезисе 5-м Г. И. Челпанов называет философский материализм «вульгарным» наравне с механическим материализмом. *Ю. Ф.*

Во-вторых, отвергая на стр. 45, 6 издания «Мозг и душа», 4 формулы материализма о «сущности» психики, он 2-й формулой — «психика есть свойство материи» — отвергает Плеханова, а 3-й формулой — «психика есть свойство организованной материи» — отвергает В. И. Ленина.

В-третьих, марксизм не есть только экономический или исторический материализм, как это уже доказывал Плеханов в его полемике с Бернштейном. Теория экономического или исторического материализма, формулированная Марксом, есть только «достройка» здания материализма. Старые, домарксовские материалисты были материалистами внизу, по отношению к природе, и идеалистами вверху, по отношению к человеческому обществу. Маркс же доказал, что в истории действуют те же законы материального бытия, он достроил здание материализма доверху. Он установил, что и природа и человеческое общество есть части единого мира, управляются одними и теми же законами, и формулируемыми диалектическим материализмом. «Природа и история человечества составляют одну связную неразрывную цепь, одно общее, слитное, единое целое», говорит Л. И. Аксельрод-Ортодокс («Критика буржуазного обществоведения и истории материализма», стр. 25). Человеческое общество — это только часть единого окружающего нас мира.

Марксизм — это диалектический материализм, изучающий законы и природы и общества. Исторический материализм — это часть диалектического материализма, приложение, преломление основных, всеобщих диалектико-материалистических принципов к своеобразному миру. человеческой истории.

А между частью и целым связь не только генетическая, но и логическая.

Поэтому-то марксисты с а м и называют свой материализм философским. Так, В. И. Ленин пишет: «Философия Маркса есть законченный философский материализм, который дал человечеству великое орудие познания, а рабочему классу в особенности».

Г. И. Челпанов, излагающий п о л н о с т ь ю («весь») марксизм, должен бы это место знать.

Следовательно, называя философский материализм вульгарным, он и марксизм причисляет к «вульгарному типу материализма».

Отрицание логической связи между философским и историческим материализмом не случайно, а имеет целью доказать, что «экономический материализм соединим не только с материализмом, но и с другими философскими учениями, лишь бы только они имели монистический характер» («Мозг и душа», изд. 6, стр. 27), следовательно, и с идеалистическим монизмом или спиритуализмом — da ist der Hund begraben.

Г. И. Челпанов не критиковал Маркса, очевидно, потому. что марксизм, по его понятиям, «соединим»... со спиритуализмом.

Помня марксов тезис об «активности», о том, что надо не созерцать, а изменять окружающий нас мир, Г. И. Ч е л п а н о в переходит в наступление, прибегает к положительной защите, утверждая:

«Я о т г о р а ж и в а л марксизм от решительно отвергаемого мною материализма», материализма вульгарного, механического.

«Энгельс отвергает вульгарный, механический материализм, — говорит В. И. Ленин, — не за материализм, как думают невежды, а за то, что они не двигают вперед материализма XVIII в.», за следующие их «три ограниченности»: 1) механичность в смысле применения исключительно масштаба механики к процессам химической и органической природы, 2) за метафизичность, за антидиалектичность, 3) за сохранение идеализма вверху, за непонимание исторического материализма». Таковы причины отвергания по Ленину и Энгельсу. Челпанов, ссылаясь в положении 14-м тезиса 4 на «ортодоксального» марксиста Штерна, отвергает вульгарный, механический материализм за то, что он «об'являет дух явлением второго порядка, продуктом материальных сил», т.-е. как раз за материализм, как «думают невежды».

Это «выгораживание» материализма необходимо Г. И. Челпанову для того, чтобы повести марксизм в темные дебри спиритуализма, куда, как мы видели, влечет Г И. Челпанова.

После такого «выгораживания» нет ничего удивительного в том, что изложение Г И. Челпановым марксизма превращается в его сплошное извращение.

Извращения марксизма.

Извращение 1. До сих пор мы привыкли считать марксизм учением монистическим. Мы знаем, что Плеханов пишет книгу в защиту монистического взгляда на природу и общество. Но «старый» «марксист» Г. И. Челпанов разубеждает нас и, на «основании» цитаты из Энгельса («Л. Фейербах») о том, что «во внешнем мире и в человеческой голове действуют два ряда законов, которые, в сущности, тождественны и по форме различны», заявляет о своем 2-м тезисе: «Маркс был эмпирический дуалист».

Но ведь диалектический принцип — «в сущности, тождественны, а по форме различны» — означает, что между мышлением и бытием нет принципиальной разницы, что это не есть самостоятельные субстанции, как это признает дуализм.

Однако спиритуалист-метафизик этой диалектической логики не может воспринять. Он не понимает различий на-ряду со сходством, и мыслит «просто», «прямо»: раз различие, то уже две дуалистические субстанции, два принципиально различных дуалистических мира.

Извращение 2. Как мы видели, Маркс, по мнению Г И. Челпанова, не просто дуалист, а «эмпирический дуалист». И это на том основании, что в «Л. Фейербахе» Энгельс говорит, что он с Марксом стал «смотреть на действительный мир без идеалистических очков», «видеть в нем только то, что он собой представляет», брать его «в истинной, не фантастической связи».

Что это не есть эмпиризм, сенсуализм, Г И. Челпанов может узнать из цитируемого им же X тома В. И. Ленина, где, на стр. 100—101 сказано:

«Точка зрения эмпиризма (все знания из опыта) или сенсуализма (все знание из ощущений) приводит к различию коренных философских напра-

влений, идеализма и материализма, и не устраняет их различия... Исходя из ощущений, можно итти по линии суб'ективизма, приводящей к солипсизму, и можно итти по линии об'ективизма, приводящей к материализму»...

«Чистые эмпирики суть животные», заявляет Л. И. Аксельрод-Ортодокс («Философские очерки», стр. 152).

Ясно, что только при фантастическом, а не при реальном понимании действительного учения марксизма можно заявлять, что Маркс и Энгельс, эти последовательнейшие материалисты, могут быть эмпириками, т.-е. людьми, стоящими на распутьи, ведущем или к идеализму, или к материализму.

Извращение 3. Марксизм, диалектический материализм, стоит выше старого материализма, оставившего лазейку для идеализма в области истории тем, что он изгнал идеализм из этого его последнего убежища, — из истории. Марксизм — это злейший враг идеализма во всех его видах и степенях. Это, казалось, старая истина. Оказывается, что мы, марксисты, марксизма-то настоящего и не знаем; Г И. Челпанов нас поучает в положении 13-м тезиса 4: «современный материализм отличается от материализма древних. В него входят элементы идеализма» и поучает на том основании, что, по признанию Энгельса, «современный материализм обогатился идейным содержанием двухтысячелетнего развития философии...», следовательно, и идейным содержанием того идеализма, на смену которого и пришел современный материализм.

Неужели можно упустить подчеркиваемый Марксом, Энгельсом, Плехановым, Лениным исторический факт, что из диалектического идеализма Гегеля Маркс отбросил идеализм, взяв только жемчужное зерно — диалектику? Очевидно, что в спиритуалистических головах все возможно.

Извращение 4. Маркс, по Челпанову, не просто идеалист, а идеалист-суб'ективист.

«Маркс признавал изучение самосознания, суб'ективной стороны жизни центральной проблемой истории», заявляет Г. И. Челпанов в тезисе 3-м, ибо Маркс видит «главный недостаток материализма, до фейербаховского включительно, в том, что он рассматривал действительность, предметный, воспринимаемый внешними чувствами мир лишь в форме об'екта или в форме созерцания, а не в форме чувственной человеческой деятельности, не в форме практики, не суб'ективно», а Плеханов утверждает, что «человек становится суб'ектом только в истории, потому что только в ней развивается его самосознание».

Что здесь собственно утверждают Маркс и Плеханов?

Маркс говорит, что на окружающий нас мир мы не должны смотреть только пассивно-созерцательно, но что мы должны его изменять в процессе нашей чувственной, конкретной практики, в процессе труда.

Эта практическая деятельность отражается, конечно, в человеческой психике. Психическое отражение на низших ступенях исторического развития является инстинктивным и только на высших ступенях делается сознательным.

«По сравнению с состоянием общества, когда рабочий выступает на товарном рынке, как продавец своей собственной рабочей силы, к глубинам первобытных времен относится то состояние, когда человеческий труд еще не освободился от своей примитивной, инстинктивной формы», говорит Маркс (в I т. «Капитала», стр. 148—149).

В этом историческом аспекте Плеханов и заявляет, что только в истории развивается самосознание человека.

Но ведь вопрос в том, отождествляют ли марксисты эту практическую человеческую деятельность с самосознанием?

В процессе труда человек, эта часть природы, противостоит природе как активный деятель, как суб'ект.

Но его суб'ективную, активную, творческую, производительную деятельность надо отличать от ее отражения в психике, в суб'ективных внутренних переживаниях.

«Экономические отношения, — говорит Плеханов (т. XI, стр. 265), — определяют собою взгляды людей и их действия».

Взгляды — это одно и действия — это другое.

Но этого мало. «В начале было дело», а потом лишь слово, говорит Энгельс. Коренная причина исторического развития не в головах людей, не в их идеях, а в способе производства и обмена продуктов.

Не психология определяет экономию, а, наоборот, экономия определяет психологию. Поэтому-то марксисты борются против суб'ективной социологии, хотя и признают колоссальную роль сознания, идей.

Таков смысл суб'ективной практической деятельности у Маркса и Плеханова. Г. И. Челпанов же, излагающий смысл подлинного материализма, делает из этих цитат вывод, что «Маркс считал центральной проблемой истории изучение психологии», т.-е., другими словами, что центральным, коренным, основным фактором истории является наша психика.

Противники суб'ективизма и психологизма в об'яснении истории превращены в сторонников, последователей суб'ективного идеализма.

Эту метаморфозу Г. И. Челпанов хочет скрасить «новым словечком». Вместо деления факторов исторических на основные, базисные и производные, надстрочные, он вводит термины «центральные» и переферические».

Но за этим «новым словечком» не скрыть старого идеалистического содержания.

Лучшей оценкой таких «преобразователей» марксизма является следующая цитата из Плеханова:

«Умозаключать, что разгадки общественной эволюции надо искать в психологии, можно будет только тогда, когда из дважды двух станет получаться стеариновая свеча» (т. IX, стр. 62).

Извращение 5. От суб'ективного идеализма к спиритуализму один шаг, и Г. И. Челпанов заявляет в том же 3-м тезисе: «Маркс признавал действенный характер сознания — способность от себя привносить нечто нематериальное в мир материальных вещей».

Как видно из формулировки Г. И. Челпанова, есть два мира — «нечто нематериальное» и «мир материальных вещей», которые могут быть «привнесены» один в другой, но до «привнесения» могут, очевидно, существовать и отдельно. Чистейший дуализм, чистейший спиритуализм.

И это приписывается марксизму, который признает только один мир материальный, который в идеях, в психике, в духовном видит только проявление, неотделимое свойство этого материального мира.

И все это делается на основании цитаты из Маркса о товарном фетишизме, где говорится о том, что стол, оставаясь деревом, превращается, как товар, в «чувственно-сверхчувственную вещь. Чувственную, поскольку он остается столом, и сверхчувственную — поскольку общественные отношения производителей представляются людям, как общественные отношения между предметами, поскольку общественный характер труда представляется людям в виде вещественных свойств продуктов труда.

Инстинктивная буржуазно-классовая боязнь материализма так велика в Г. И. Челпанове, что вся его ученость, все его знание философии, вся сила его логического мышления не предохранили его от ошибки — превратить Маркса, вскрывшего сущность товарного фетишизма, в спиритуалиста.

Извращение 6. Маркс-материалист типа спинозист-гилозоист. Испугавшись превращения Маркса в идеалиста и спиритуалиста, Челпанов, очевидно, хочет позолотить ту пилюлю, которую он преподнес читателю, и заявляет:

«Маркс был материалист типа спинозист-гилозоист».

Мы оставим без рассмотрения первую половину — спинозист — и остановимся на второй половине — гилозоист.

Почему, по мнению Челпанова, Маркс является типом гилозоиста? Челпанов заявляет:

«Гилозоистический и спинозистический материализмы находились в близком родстве друг с другом».

«Материалисты Ламеттри и Дидро утверждали, что материя обладает способностью мышления, и оба в то же время считали свое учение тождественным с учением Спинозы» (полож. 15, стр. 20).

Маркс был гилозоист, т.-е. признавал одушевленность материи. Это видно из того, что он отдавал преимущество Бэкону (гилозоисту) перед Гоббсом (механическим материалистом) (полож. 9, стр. 15).

И далее прямо замечательное место: «Что же нравилось Марксу у Бэкона? Очевидно, его гилозоизм».

«Как чистый дух, так и чистая материя были чужды гуманистическому материализму Маркса» (положение 10).

Самым типичным является, следовательно, место: «всякая осязаемая вещь содержит невидимый и неосязаемый дух. По теории Бекона, в материальном веществе содержится тонкий, невидимый, неосязаемый эфир. Следовательно, нематериальный, который во времена Бэкона называли spiritus, дух, им об'ясняли одушевленность всякой материи».

Но, во-первых. близкое родство спинозизма и гилозоизма не означает еще однородности, не дает права поставить между ними знак равенства, отождествлять их.

Во-вторых, марксизм не сливается полностью с материализмом XVIII века. Марксизм представляет собою шаг вперед по сравнению с материализмом Дидро, Ламеттри, и умозаключать от их «спинозизма-гилозоизма» к «спинозизму-гилозоизму» Маркса без доказательств нельзя.

Далее, самый термин «чистый» дух, «чистая» материя. Что значит «чистый»?

Ведь если марксизму чужды чистая материя и чистый дух, то, очевидно, Челпанов приписывает марксизму понятие не чистой материи и не чистого духа. Неужели Челпанов наивно считает, что Маркса тянет в область «нечистых духов», в спиритуалистический мир?

Где Челпанов вычитал мысль о «чистой» материи и «чистом» духе? Ведь в приводимой им цитате говорится только об односторонности материализма Гоббса в сравнении с материализмом Бэкона.

В цитируемом месте Маркс указывает на то, что у Бэкона материя является во всем ее поэтически чувственном блеске, со всеми ее специфическими индивидуальными различиями, особенностями, во всех своих цветах. между тем как у Гоббса все явления внешнего мира становятся отвлеченными явлениями геометра, все реальные, своеобразные, со всеми их характерными особенностями физические движения превращаются в движения механические или математические.

Вот о чем говорит Маркс. Не о чистом духе и чистой материи, а о том, что нельзя свести весь многообразный мир физических явлений к одним механическим, геометрическим, математическим моментам, что надо брать мир со всеми его цветами, со всем его блеском, со всеми его качествами.

Бэкон выше Гоббса в том, что берет мир во всем его качественном своеобразии, в то время как Гоббс все сводит к односторонней механике.

Он выше за его многогранность, многосторонность, разносторонность, а не за его гилозоизм. О гилозоизме Бэкона здесь нет и речи.

Но, возразит Челпанов, ведь Маркс говорит здесь не только о механическом и математическом движении, но также и о движении, как о с т р е м л е н и и, как о ж и з н е н н о м д у х е, как о н а п р я ж е н и и материи.

Да, марксизм признает не только механику, физику и химию, но и «одушевленность», «активность живых существ». Но, во-первых, признает ли марксизм одушевленность всякой материи?

Из приводимой Челпановым же цитаты из Плеханова видно, что материалисты разделяются по вопросу об одушевленности материи на две группы. Одни считают, что сознание, одушевленность возникают лишь в известным образом организованной материи, другие же полагают. что материя в с е г д а о б л а д а е т с о з н а н и е м, но что только при известной, определенной организации оно достигает значительной интенсивности.

Какой же точки зрения придерживаются марксисты?

Ленин говорит:

«Материализм, в полном согласии с естествознанием, берет за первичные данные материю, считая вторичным сознание, мышление, ощущение, ибо в ясно выраженной форме ощущение связано только с высшими формами материи (органическая материя), и «в фундаменте самого здания материи» можно лишь предполагать существование способности, сходной с ощущением» (Ленин, т. X, стр. 30).

Л. И. Аксельрод-Ортодокс заявляет («Против идеализма», стр. 32):

«Материализм признает факт появления людей, одаренных сознанием, на том простом и очевидном основании, что их появление на известной стадии мирового развития об'ясняется научным опытным путем».

Как мы видим, марксизм, вопреки утверждения Челпанова, не солидаризируется со Спинозой, Дидро, Бэконом, не разделяет их мнения об одушевленности всякой материи.

Марксизм считает сознание, одушевленность, бессознательное (как определенную ступень сознательного) — свойствами только высокоорганизованной материи. У неорганической материи имеется только сходное свойство.

Марксизм рассматривает одушевленность, как своеобразное свойство материи, ничем принципиально не отличающееся от других физических, химических свойств материи. Этого материалистического подхода не вырубить, его надо помнить и понять.

Надо думать не только об утверждении Маркса, что есть движение, как стремление, как жизненный дух, но и о рядом стоящей фразе: «первичные формы материи суть неот'емлемо ей присущие живые силы».

Марксизм видит в одушевленности неот'емлемое физическое свойство органической материи на-ряду с другими свойствами. Одушевленность есть один из тех цветов, которые дают материи ее поэтически чувственный блеск.

Ну, а Челпанов как понимает одушевленность, чистый дух?

Разве его формула не говорит сама за себя, когда он заявляет:

«По теории Бэкона, в материальном веществе содержится тонкий, невидимый и неосязаемый эфир, следовательно, нематериальный, который во времена Бэкона называли spiritus (дух) и им об'ясняли одушевленность материи».

Итак, Челпанов заставляет Маркса солидаризироваться с Бэконом и признать одушевленность проявления нематериального спиритуалистического духа, содержащегося в материи.

Даже и тогда, когда Челпанов говорит о материализме Маркса, он излагает его так, что фактически превращает его в спиритуалиста.

После этих метаморфоз остается еще остановиться на одном уже сравнительно безобидном моменте — о позитивизме.

Извращение 7. В тезисе 7-м Г. И. Челпанов относит Маркса к позитивистам:

«Маркс при трактовании психологических проблем стоит на почве строго эмпирической и позитивной».

А что говорят о позитивизме сами марксисты?

«Суть дела состоит в коренном расхождении материализма со всем широким течением позитивизма» (Ленин, т. X, стр. 170).

Тот «позитивизм» и тот «реализм», который прельщал и прельщает бесконечное число путаников, Энгельс об'являл в лучшем случае филистерским приемом тайком протаскивать материализм, публично разнося его и отрекаясь от него» (Ленин, там же, стр. 287).

А Плеханов пишет:

«И контовский «позитивизм» и неокантианство являются лишь буржуазной реакцией против некоторых неудобных для буржуазии выводов, к которым пришли теоретические представители рабочего класса» (т. X, стр. 157).

Прибавить к сказанному о «позитивизме» марксизма нечего.

«Подлинность» изложения марксизма ясна.

Таким образом Г. И. Челпанов приписал марксизму все семь грехов, всех тех противников, в борьбе с которыми, в борьбе против которых он, марксизм, выковал свое революционное миросозерцание — диалектический материализм.

Челпанов и рефлексология.

Все эти извращения не случайны и не бесполезны. Они нужны Г. И. Челпанову для его «марксистской» борьбы против русских рефлексологов — Корнилова, Блонского, Бехтерева, Павлова, для предохранения научной психологии в России от той опасности, которая угрожает ей со стороны рефлексологии.

Г. И. Челпанов формулирует свое отношение к рефлексологии следующим образом:

«Научная психология в России в 1922 году должна была подвергнуться реформе в согласии с идеологией марксизма. Некоторые лица (Блонский. Корнилов) предложили провести реформу таким образом, чтобы вместо психологии, будто бы содержащей какие-то идеалистические элементы, ввести рефлексологию. Другими словами, психологию, которая имеет исходным пунктом внутренний опыт заменить исключительно об'ективным изучением физиологических процессов и внешних выражений» (стр. 7. Курсив наш. *Ю. Ф.*).

«Рефлексология, делающая попытку сводить психические явления к физиологическим, есть вид механического материализма и находится в решительном противоречии с марксистской философией.

Марксистская психология не имеет никакого отношения к физиологии, а потому величайший абсурд думать, что изучение условных рефлексов по методу Павлова есть подлинная марксистская психология» (тезис 10, стр. 29).

Прежде всего нужно отметить, что Г. И. Челпанов допускает одну большую логическую и принципиальную ошибку, когда он ставит знак равен-

ства между физиологической рефлексологией, признающей только об'ективные физиологические процессы, и рефлексологией вообще.

Ведь современная рефлексология не едина, в ней много течений и направлений — физиологическое, биологическое, биосоциальное. Они имеют между собою много общего, но в то же время каждое из них имеет свои неправильности и свои достоинства. Идентифицировать одно направление в рефлексологии с рефлексологией вообще нельзя.

Доказательства невыдержанности физиологического направления, критика его не затрогивают других направлений, не имеют никакого отношения к их неправильности.

Такого рода критика бьет мимо цели

Но перейдем к анализу того обвинительного акта, который Челпанов составил против русских рефлексологов.

При этом мы ставим себе целью не анализ взглядов Блонского, Корнилова и Бехтерева, а выяснение хода мыслей Челпанова.

Вместе с современной мировой наукой, Г. И. Челпанов признает рефлексологию, как «метод, дающий материал для физиологического об'яснения душевных явлений», но как метод, имеющий «значение только при наличии психологии», т.-е. сознания, внутреннего опыта.

Русские же рефлексологи, по мнению Г. И. Челпанова, отрицают реальность сознания.

В доказательство этого своего утверждения Г. И. Челпанов противопоставляет цитату В. И. Ленина о том, что «мысль и материя действительны», т.-е. существуют, и цитату из Блонского о том, что «мы должны создать психологию без «явлений» или «способностей» души и без сознания». Что «основанное на метафизике сознания учение о локализации умственных способностей и сознательных движений должно пасть».

Да, марксизм, ленинизм не отрицают мыслей, сознания. Но почему Челпанов подчеркивает у Блонского слова «без сознания», — «сознательных», а не рядом стоящие слова «душе», «метафизике»? Разве «сознание», как таковое, и сознание. основанное на метафизике и душе,—одно и то же философское понятие? Не является ли центром тяжести отрицание Блонским учения о душе и метафизике, а не отрицание сознания, как такового? Почему Челпанов не анализирует приводимой им из Блонского предпосылки с этой стороны? Не боязнь ли затронуть щекотливый для него самого, для Челпанова, вопрос о душе и метафизике заставила его не касаться этого вопроса?

Очевидно. что цитатой из Блонского Г. И. Челпанов не доказал, что все русские рефлексологи отрицают сознание.

Далее, Г. И. Челпанов сопоставляет цитату из Бухарина о том, что одни явления «имеют протяжение, занимают место в пространстве... (материальные явления), а другие не занимают места в пространстве (человеческая мысль, ощущение)», и цитату из Корнилова, что «психика и психические процессы суть, несомненно, явления пространственного порядка»...

Да, мысль, воля, ощущение не занимают места в пространстве, не имеют протяжения, но разве этому положению Бухарина противоречит положение Корнилова, что психические процессы — явления пространственного порядка, т.-е. совершаются в пространстве? Разве занимать место в пространстве и совершаться в пространстве одно и то же? Разве колеса в процессе движения занимают больше места в пространстве, чем до движения? Разве движение колеса занимает место в пространстве? Но, не занимая места, не совершается ли оно все же в пространстве, не является ли оно все же явлением пространственного порядка? Почему же и психические процессы не являются, по словам Челпанова, явлениями пространственного порядка? А если мысли — явления не пространственного порядка, то они, очевидно, совершаются вне пространства, в потустороннем мире. Такую мысль, такой смысл, такое истолкование положений марксизма — уж слишком большая смелость или, попросту говоря, неверно.

Далее, Челпанову не нравится положение Корнилова, что «психические процессы есть особый вид физической энергии». Несомненно, Корнилов допустил ошибку, заявляя, что психическое есть особый вид энергии, так как психическое. с марксистской точки зрения, есть только особое свойство материальных процессов. Как нам известно Корнилов теперь отказывается от этой формулы. Такие ошибки при первых шагах марксистской психологии были вполне понятны. Но характерно, что Челпанов подчеркивает слово «физический». Ему не нравится, очевидно, то, что Корнилов говорит о физической энергии. Но где у Бухарина говорится о нефизической энергии? Может ли быть нефизическая энергия? Не попадем ли мы в область спиритуализма? Не тянет ли туда, в мир нефизический, самого Челпанова? Что мы здесь имеем дело не со случайным моментом, доказывается тем, что Бехтерева Челпанов обвиняет в том, что «на место понятия духа, так часто еще фигурирующего в суб'ективной психологии, он, Бехтерев, говорит об энергии, проявляющейся в виде нервного тока» (см. предпосылку 2 в 1-м тезисе Г И. Челпанова).

Челпанов обвиняет Бехтерева не за то, что вместо понятия материи, он, Бехтерев, пытается ввести понятие энергии, а за то, что он, Бехтерев, вводит понятие энергии нервного тока вместо понятия «дух».

Очевидно, Челпанов в своей борьбе против Корнилова и Бехтерева за реальность сознания ратует за спиритуалистический дух и смеет при этом втянуть в свой спор за «дух» Бухарина.

Далее, как обстоит дело с тезисом. который Г. И. Челпанов выдвигает, очевидно, против Павлова, — «попытки сводить психические явления к физиологическим есть вид механического материализма»?

Что значит «свести»? Какое содержание вкладывает Челпанов в это понятие и какое вкладывают марксисты?

Челпанов приводит следующие цитаты из Плеханова и Дицгена:

«Никто из материалистов, оставивших заметный след в истории философской мысли, не «сводил» «сознания к движению и не об'яснял одно другим. Если материалисты утверждали, что материя

способна «ощущать и мыслить», то эта способность материи им казалась таким же основным, а потому и необ'яснимым ее свойством, как и движение. Сознание, следовательно, так же изначально, как и движение материи; оно отличается от этого последнего и не может быть сводимо к нему». (Плеханов, Основные вопросы марксизма, стр. 9—10).

«Для диалектического материализма, дух — собирательное слово для «духовных» явлений, как материя — собирательное слово для материальных явлений, а то и другое вместе фигурируют под понятием и названием явлений природы» (Дицген, Философия социал-демократии, 1907 Статья: «Материализм против материализма», стр. 215).

Итак, дух, духовные, психические явления есть явления природы на-ряду с явлениями материальными, сознание есть такое же основное изначальное, необ'яснимое, естественное, природное свойство материи, как и движение. Но «психическое» свойство отличается от движения, не об'ясняется движением, и поэтому оно не сводится к движению.

Можно ли отсюда умозаключить, как это сделал Г. И. Челпанов, что «психология не имеет никакого отношения к физиологии»? Нет, нельзя, тем более, что он сам признает за рефлексологией значение метода физиологического изучения душевной деятельности.

Если можно физиологически изучить душевную деятельность, то, очевидно, между психологией и физиологической рефлексологией кое-какое отношение да есть.

И, действительно, психическое не сводится к движению, не об'ясняется движением только потому, что оно является таким же равнозначным, основным изначальным свойством материи мозга, как и движение, как и физиологические процессы. Но из-за этой несводимости нельзя забыть основных материалистических положений.

«Психика есть свойство материи». заявляет Плеханов. борясь против идеализма за материализм вообще.

«Психика есть свойство высокоорганизованной материи мозга», уточняет В. И. Ленин.

«Идеальное есть переведенное и переработанное в человеческой голове материальное», говорит Маркс в «Капитале». Переведение, переработка суть свойство, функция головы, части человеческого тела.

В цитатах из Фейербаха, приведенных Г И. Челпановым в тезисе шестом, мы читаем: «духовное, нематериальное, сверхчувственное есть само по себе или об'ективно акт материальный, чувственный».

«Суб'ективное для меня является об'ективным, физиологическим — для других». Другими словами, суб'ективное есть внутреннее состояние об'ективных мозговых процессов.

Далее. у Плеханова мы находим следующую очень интересную формулировку отношения Фейербаха к физиологии. Он приводит цитату из Фейербаха. «Истина не в материализме и не в идеализме, не в физиологии и не в психологии, истина в антропологии. Для меня существует только органическая жизнь, только органическое действие, только органическое мышление.

Физиология все сводит к мозгу, а мозг есть не более, как физиологическая абстракция, он лишь до тех пор является органом мышления, пока соединен с головой и телом». Приведя эту цитату, Плеханов заявляет:

«Это, как видите, совсем несущественное разногласие с «физиологией и материализмом». Вернее будет сказать, что тут совсем нет никакого разногласия, так как, разумеется, никакой физиолог и никакой материалист не скажут, что умственная деятельность может продолжаться в голове, отрубленной от тела».

Но если мозг вне головы, соединенной с телом, есть физиологическая фикция, то, очевидно, еще большей фикцией является психика, отделенная от материи мозга, с ее свойствами, с ее физиологическими процессами. Материалистический монизм утверждает, что психика «связана» с мозгом, с его свойствами, с его физиологическими процессами, что она имеет к ним отношение, хотя и отличается от них.

Заявление же Г. И. Челпанова о полном отсутствии между ними связи («никакого отношения») противоречит марксизму.

Можно ли назвать научным прием заменить мысль марксистов о несведении психического к физическому мыслью об отсутствии всякого отношения между ними — мы оставляем на научной совести Г. И. Челпанова. Таковы доводы Г. И. Челпанова против рефлексологии с точки зрения предмета ее изучения.

Остается рассмотреть его доводы против метода этой науки. Г. И. Челпанов инкриминирует рефлексологии то, что она пользуется исключительно об'ективным методом. Он ратует за суб'ективный метод и для доказательств противопоставляет мысль Бухарина о том, что всякий знает отлично по себе о существовании мыслей, воли и ощущений, и положение Бехтерева о том, что для наблюдателя «духовное» непосредственно неуловимо. Но разве ощущение в себе и наблюдение другого это — одно и то же понятие? Или Челпанов знает методы непосредственного наблюдения «духовного» в других? Но тогда он ясновидец, читающий в душах и головах других.

Наконец, Бухарин ведь не говорит здесь о тех методах, которыми пользуется и должна пользоваться наука психология.

А с точки зрения науки Блонский прав, когда он заявляет в приводимой Челпановым цитате, что для психологии было бы несчастьем, если бы самонаблюдение было основой ее. История, выявившая полную бесплодность суб'ективной психологии, которая в течение почти двухтысячелетнего своего развития не разрешила основных проблем (об'ект и метод) своей области, история является лучшим доказательством старой истины, высказанной Блонским.

Далее, в положениях к тезису 6-му Челпанов заявляет:

«Фейербах отрицает чисто об'ективное познание душевных явлений» (Положение 19, стр. 22).

«Дицген высказывается против исключительно физиологического изучения душевной жизни» (Положение 24-е, стр. 25).

Как мы видим, Челпанов подчеркивает в этих цитатах не слова «исключительно» и «чисто», а «физиологического» и «об'ективного».

Но ведь и сам Челпанов признает физиологический метод на-ряду с психологией в тезисе 1-м, об'ективный метод на-ряду с суб'ективным в тезисе 9-м.

Следовательно, не в пользовании физиологическим и об'ективным методом состоит анти-материалистичность, анти-марксизм рефлексолога, а в исключительном пользовании этим методом.

Почему же Челпанов подчеркивает правильные места, вместо неправильных?

Далее, в тезисе 9-м Челпанов признает законность пользования и суб'ективным и об'ективным методом, но в какой пропорции? Каково отношение между ними? Являются ли они оба равноценными или один из них является основным и какой?

Марксизм, бесспорно, признает реальность сознания. В реальной жизни, в практике житейской мы пользуемся и, бесспорно, будем пользоваться нашим суб'ективным сознанием. Но является ли оно достоверным?

В положениях 17 и 18 Челпанов приводит цитаты из Фейербаха, в которых последний проводит ту мысль, что мышление только кажется нам чем-то самостоятельным, отличным, независимым от мозга, что оно на самом деле материально, чувственно, что, следовательно, наше ощущение, наше сознание обманчиво, суб'ективно.

А основоположники марксизма и ленинизма? Разве они не подчеркивали обманчивость и иллюзорность суб'ективного? Разве разобранная нами выше цитата из Маркса о товарном фетишизме не является достаточным доказательством и примером для той оценки, которую марксисты дают достоверности суб'ективного? Разве не о том же говорит неоднократно подчеркиваемая В. И. Лениным мысль, что о людях и партиях надо судить не по словам их, не по выраженным ими мыслям, а по делам их?

Так обстоит дело с оценкой суб'ективного в житейской практике? Ну, а в науке? Ведь наука потому и наука, что она пользуется достоверными, могущими быть проверенными, об'ективными методами.

Конечно, и науки в пору их первых младенческих исследований пользовались нашими суб'ективными органами восприятия; но с ростом техники наука стала пользоваться, главным образом, инструментами, дополняя ими наши органы чувств (телескоп и микроскоп к глазам). При этом наука продолжает пользоваться нашими несовершенными органами (глазами, напр.), но, ведь, центром тяжести являются уже инструменты, орудия, технические приспособления.

Как с психологией? Конечно, пока психология не имела, не имеет еще об'ективных методов, она пользовалась и пользуется суб'ективным методом, нашим самосознанием.

Но является ли оно основным? Не уступает ли, не должен ли уступить суб'ективный метод свое первенство об'ективному методу?

Почему Челпанов обходит этот вопрос? Почему он не дает ясного и точного ответа на этот крайне важный научный вопрос?

Мы сознательно подчеркнули слова точный и ясный, ибо ответ, пусть скрытый, меж строк, Челпанов дает, но не в пользу об'ективных, а в пользу суб'ективных методов.

И действительно, это подчеркивание, что исходным, следовательно, важнейшим определяющим моментом является внутренний опыт, это обвинение рефлексологии не в исключительном пользовании физиологическим и об'ективным методом, а в пользовании физиологическим и об'ективным методом, о чем мы говорили выше, это извращение марксизма, превращение его в идеализм, спиритуализм — разве всего этого недостаточно для того, чтобы утверждать — Челпанова тянет к спиритуалистической, следовательно, суб'ективной психологии, для него суб'ективный метод основной, а об'ективный дополнительный, между тем как должно быть наоборот: об'ективный метод есть основной, а суб'ективный — дополнительный. Правильность идеи проверяется практикой. Об'ективная, реальная, практическая деятельность—вот пробный камень истинности суб'ективного ощущения. Об'ективному принадлежит первенство, приоритет.

Марксизм и рефлексология.

Как же марксизм относится к физиологической рефлексологии?

Немарксистскую формулу Г. И. Челпанова «величайший абсурд — думать, что изучение условных рефлексов по методу Павлова есть подлинная марксистская психология» надо заменить верной формулой «только изучение условных рефлексов по методу Павлова есть неполная марксистская психология».

Марксизм отгораживается от физиологической рефлексологии, но не так, как Г. И. Челпанов. Марксизм не заявляет, что психология не имеет ничего общего с физиологией. Наоборот, физиология есть та база, фундамент, основа, на которой строится марксистская психология.

Тов. Н. Бухарин начинает свою статью «О мировой революции» — ответ И. П. Павлову — словами: «Академик И. Павлов — один из крупнейших русских ученых. Он имеет мировое имя. Он создал целое направление, целую школу в области физиологии. Крупнейшие его заслуги перед человечеством несомненны. В особенности они несомненны для нас, марксистов. Ибо об'ективно выходит так, что проф. Павлов, который политически, повидимому, страшно далек от рабочего класса, работает, в первую очередь, на рабочий класс. Его учение об условных рефлексах целиком льет воду на мельницу материализма. И исходные методологические пути и результаты исследований проф. Павлова есть орудие из железного инвентаря материалистической идеологии».

Марксизм, таким образом, не отвергает физиологической рефлексологии, он только заявляет, что нельзя психологическую проблему свести к одной физиологии, что надо учесть и суб'ективные наши переживания.

Л. И. Аксельрод-Ортодокс, в предисловии к книге Рахмана о Джоне Локке, говорит: «Учение о безусловных и условных рефлексах раскрывает перед нами об'ективные, физиологические причины наших ощущений, намечая путь, каким нужно итти, чтобы постичь об'ективные физические основы нашего мышления, но оно в то же время никоим образом не может устранить то, что мы называем внутренним суб'ективным миром. Ощущения света, звука, холода, тепла и т. д. и т. д. остаются нашими внутренними состояниями. Об'ективное исследование материалистических причин и условий психических переживаний делает свое великое дело. Оно раскрывает физиологические причины наших ощущений и обнаруживает тайны мышления; оно уничтожает в корне все метафизические предрассудки, оно открывает изумительно заманчивые отрадные перспективы, но оно не устраняет и не может устранить суб'ективной внутренней жизни; наоборот, *оно дает ей научное об'яснение*».

И далее, там же: «Сознание определяется бытием — вот вывод, к которому приходит по существу об'ективная психология. Замечаемая же тенденция этого направления исключить из поля научного исследования суб'ективный мир со всеми сложными формами сознания калечит научный материалистический метод, которым руководствуются представители этого направления».

Но одного учета суб'ективных переживаний также недостаточно. При изучении рефлексов у животных надо учесть биологический элемент, биологическую роль и значение как раздражителей, вызывающих рефлекс, так и самого рефлекса. А при изучении психики человека надо учесть социально-классовое содержание (см. нашу статью об И. П. Павлове в журнале «Человек и Природа» за 1924 г., № 9) наших внутренних, суб'ективных переживаний.

Наконец, физиологическая рефлексология плоха не тем, что она изучает физиологический механизм, технику нашей психики, плохо только ограничение одной физиологией, что означает изолирование человека от окружающей его социальной среды. Такой материализм есть метафизика, логически ведущая к попыткам перенести законы физиологии в другую область биологии и социологии, в область «экономики» нашей психики. А куда могут повести такие попытки, блестяще доказал т. Бухарин по «случаю» енчменизма (см. его статью).

Но в основном физиологическая рефлексология, материалистическая по существу, методологически научна, крайне полезна и плодотворна, поскольку она ограничивается соответствующей областью изысканий.

От физиологической рефлексологии, как от вида механического материализма, мы должны перейти к высшей форме материализма, к диалектико-материалистическому методу, к истинно-марксистскому взгляду на психику, учитывающему, что наша психика, наши внутренние переживания — это, с одной стороны, неотделимое свойство об'ективных мозговых физиологических процессов, а с другой — отражение, образ окружающего нас мира, нашего социального бытия. Действительно-научное, т.-е. марксистское позна-

ние психики требует ее всестороннего изучения, другими словами, оно требует изучения *и* физиологических процессов, *и* лежащих в их основе молекулярных физико-химических процессов, *и* биологических элементов нашей психики, *и* социально-классового ее содержания.

Таковы методологические принципы истинно-научной, марксистской психологии, к которой нам нужно стремиться, идя от физиологической рефлексологии. А что представляет собою та эмпирическая психология, к которой зовет нас Г. И. Челпанов?

В своих тезисах он пишет:

«Современная эмпирическая психология находится в согласии с марксизмом» (тезис 9, стр. 27).

«Маркс при трактовании психологических проблем стоит на почве строго эмпирической и позитивной. На такой же точке зрения стоит и современная эмпирическая психология».

Современная эмпирическая психология не идеалистична, а в смысле Маркса и Энгельса материалистична, ибо она избегает вносить в свои об'яснения что бы то ни было трансцендентное и все душевные явления рассматривает в зависимости от материальных явлений. Поэтому она не несет никакой ответственности за идеализм идеалистической философии» (тезис 7, стр. 26).

«Специально марксистская психология есть психология социальная. Эмпирическая же и экспериментальная психология марксистской стать не может, как не может стать марксистской минералогия, химия, физика и т. п.» (тезис 8, стр. 26—27).

«Психология есть марксистская наука par excellence» (тезис 10).

Челпанов называет «современную» психологию эмпирической, позитивной, не идеалистической, а материалистической. Так ли это?

Как обстоит дело с эмпиризмом и позитивизмом — мы видели выше, когда при анализе извращений Челпановым философии марксизма, мы установили резко отрицательное отношение к эмпиризму и позитивизму Ленина, Плеханова, Ортодокс.

Что касается идеализма, то Челпанов открещивается от него, чурается его пуще огня, между тем, как в тезисе 4-м он превращает Маркса в идеалиста. Когда же верить Челпанову? Кто же и на основании чего может решить, идеалистична или нет челпановская психология?..

Далее, избегает ли «современная» челпановская психология вносить в свои об'яснения что-либо трансцендентное, потустороннее, спиритуалистическое — видно из того, что он даже Маркса обратил в сторонника спиритуализма.

Как же после этого сам Челпанов и его «современная» психология могут быть чужды трансцендентного?

В тезисе 7-м Г. И. Челпанов заявляет, что «современная» психология стоит на такой же точке зрения, как Маркс, а в тезисе 8-м эмпирическая и экспериментальная психология не имеет ничего общего с марксизмом, не может стать марксистской. Откуда это противоречие? Или эмпирическая

психология не относится к рубрике «современная»? Ну, что же, если сам Челпанов согласен отнести ту психологию, за которую он ратует, к не современной психологии, то мы протестовать не будем.

Это — формальная сторона вопроса. А по существу, разве можно нашу психику сравнить с минералогией, физикой, химией? Ведь наша психика не сводится к одной физиологии, ведь кроме физиологии мы признаем за ней и внутреннюю сторону, полную общественного содержания. А общественные явления, даже по Г. И. Челпанову, должны изучаться с марксистской точки зрения. Как же Г. И. Челпанов заявляет, что психология не может быть марксистской? Очевидно, та психика, за которую ратует Г. И. Челпанов, не имеет отношения к общественной жизни. Г. И. Челпанов, с одной стороны, оторвал психику от физиологии, а с другой — от социологии. Ясно, что психика по Г. И. Челпанову — спиритуалистическая сущность. Тогда становится понятным, почему эмпирическая челпановская психология не относится к современной, научной, т.-е. марксистской психологии.

Далее, Челпанов противопоставляет эмпирическую и экспериментальную психологию, как не могущую быть марксистской, специально марксистской психологии, как психологии социальной.

Следовательно, челпановская психология не современная и не социальная.

Чем же является челпановская психология? Может, психологией вообще? Психологией без эпитетов?

Нет, в тезисе 10-м Челпанов, как мы видели, заявляет, что «психология есть марксистская наука par excellence».

Но если так, если, с одной стороны, психология есть наука исключительно марксистская, а, с другой стороны, эмпирическая психология не может быть наукой марксистской, то очевидно, что эмпирическая психология не относится к области психологии. Что же она тогда собой представляет?! Что за наваждение?!

Челпанов-психолог ратует за научную психологию в России, хочет спасти психологию в его, челпановском, смысле, от опасностей, ей угрожающих, ратует за марксистскую выдержанность современной эмпирической науки, и вдруг эта современная эмпирическая психология оказывается не только не марксистской, не социальной наукой, но вообще не относится даже к области науки — психологии??!!

Вот казус поистине удивительный и странный.

Все эти противоречия в определении эмпирической психологии есть результат того, что Г. И. Челпанов поставил себе очень трудную задачу — развенчать об'ективную рефлексологию, оставаясь суб'ективистом, но суб'ективистом чувствующим, что одним суб'ективным своим методом ничего с наукой рефлексологией не поделаешь. Отсюда и все «грехи» его.

Нам остается детальнее рассмотреть то место его «ответа», где он отождествляет свою психологию с марксистской.

«Ясно, — говорит он в «ответе», — что в 1900 г., т.-е. 24 года тому назад, я считал основу марксистской психологии и своей тождественными»,

так как «моя психология, как и психология Маркса, базируется на психофизическом параллелизме или спинозизме». Характерно, что в «Мозг и душа» Г. И. Челпанов отличает спинозизм от психофизического параллелизма (см. стр. 73—78), а в «ответе» отождествляет эти два учения, заявляя:

«До 1922 г. я называл материализмом только вульгарный материализм Бюхнера, а с 1922 г. я, по примеру Маркса, должен называть материализмом и психофизический параллелизм».

Почему он раньше, до 1922 г., спинозизм причислял к материализму, а тождественный со спинозизмом («спинозизм или психофизический параллелизм») психофизический параллелизм материализмом не считал? Почему он, знающий и выгораживающий марксизм еще с 1900 г., не придерживался и раньше терминологии Маркса, почему он теперь только последовал его примеру? Остается пожалеть, что всех этих недоуменных вопросов Г. И. Челпанов в своем «ответе» не раз'ясняет.

Но можно ли отождествить психофизический параллелизм со спинозизмом? Является ли психофизический параллелизм материализмом? Ведь спинозизм — это один из видов монизма, меж тем как психофизический параллелизм — это разновидность дуализма.

«Согласно учению спинозизма или психофизического монизма, существует особая субстанция, по отношению к которой духовное и материальное есть только проявление», говорит Г. И. Челпанов в «Мозг и душа», изд. 6, стр. 23.

Спинозизм, психофизический монизм признает и духовное и материальное, как отдельные реальности, но как реальности, являющиеся проявлением одной особой субстанции. Поэтому-то спинозизм и есть один из трех монистических учений, в отличие от дуалистического учения, признающего «не одну какую-либо субстанцию, материальную или духовную, а и ту и другую вместе», говорит он там же.

Ну, а психофизический параллелизм?

Г. И. Челпанов в своем «ответе» пишет: «Я не хочу решать вопросов о том, существует ли в мире только одна материальная субстанция или есть еще и духовная субстанция, и как эти субстанции воздействуют друг на друга, так как для этого надо выйти за пределы эмпирического исследования. Я могу сказать только, что когда является психическое, то является и соответствующее ему физическое, и наоборот. Процессы физические и психические параллельны друг другу. Я желаю оставаться на точке зрения эмпирического параллелизма».

Таким образом Г. И. Челпанов не хочет решать вопроса — есть ли только одна материальная субстанция или есть еще и духовная субстанция.

Он не хочет также решать вопроса о связи между ними, как они воздействуют друг на друга.

Но, практически, реально, он признает два параллельных, следовательно, равноценных ряда явлений так же, как и дуализм, с той разницей, что он оставляет лазейку для двух возможностей: 1) или эти два ряда явлений происходят от одной и той же субстанции (спинозизм или психофи-

зический монизм), 2) или они такого общего источника происхождения не имеют (спиритуалистический дуализм).

Куда склоняется Г. И. Челпанов?

Г. И. Челпанов придерживается теории психофизического параллелизма, потому что «не хочет решать», а «желает оставаться». Хочу — не хочу, желаю — не желаю, не хочу — желаю, — ведь все это формулы свободной воли, а не доказательства закономерности и закономерности сообразности.

Достаточно сопоставить эту мотивировку с утверждением Г. И. Челпанова в приведенной выше цитате из «Мозг и душа», что дуалистический спиритуализм признает вмешательство души в течение событий и свободу воли, достаточно это сопоставить, чтобы смело и законно сказать: Г. И. Челпанов потому в психологии параллелист, что он в философии дуалистический спиритуалист, если не чистейший спиритуалист.

Психофизический параллелизм Г. И. Челпанова есть трусливый дуализм, трусливый спиритуализм.

А так как Маркс был последовательным материалистическим монистом, то, следовательно, психофизический параллелизм является основой только эмпирической психологии Г. И. Челпанова, а не основой марксистской психологии.

Утверждение Г. И. Челпанова о тождестве его психологии с психологией Маркса рухнуло, как и все другие его утверждения.

Г. И. Челпанов может возразить: эмпирическая психология изучает психические явления так, как она их воспринимает, — есть физическое, есть параллельно психическое, — не задаваясь вопросом о взаимодействии между ними, не вмешиваясь в философские споры. Она, эмпирическая психология, стоит на почве реального факта и этим отличается от дуализма и философски, и практически. Но разве взаимодействие между психическим и физическим не реально?

А если да, то могут ли физическое и психическое воздействовать друг на друга без причинной связи?

Ведь изучить явление научно, — значит изучить его всесторонне, полностью (таков ведь идеал, путь, требование науки, таково методологическое требование диалектического материализма, марксизма).

Но может ли эмпирическая наука Г. И. Челпанова действительно мечтать, надеяться и стремиться к полному всестороннему изучению психики, если она отказывается искать причинную связь между психическим и физическим?

Очевидно, что эмпирическая психология Г. И. Челпанова сама себе подрезает крылья.

Оставляя неисследованной одну сторону психики, ее связь, причинную зависимость от физического, эмпирическая психология Г. И. Челпанова оставляет открытой дверь для всякой теории в об'яснении этой связи и, следовательно, не случайны эти «я не хочу» и «я желаю»

у Г. И. Челпанова, не случайно через открытую, свободную от науки дверь входит спиритуализм.

Далее, если философия для психологии не важна, то зачем Г. И. Челпанову ратовать за чистоту марксизма? Почему он думает, что плохо понятый Корниловым и Блонским марксизм опасен для психолога, а его спиритуализм, дуализм нейтрален в отношении к психологии?

С точки зрения практической целесообразности, продуктивности и научности, эмпирическая психология Г. И. Челпанова неудовлетворительна. Его эмпирическая психология не может быть тождественной с психологией Маркса, стоящей на точке зрения научного диалектического материализма.

Марксистский взгляд на психику, марксистский путь к изучению психики не есть тот путь, на который зовет нас Г. И. Челпанов, путь его эмпирической психологии.

Эмпирическая психология его бесспорно выше реакционной, бесплодной идеалистической психологии. Эмпирическая психология его уже дошла до понимания важности и необходимости изучения (верно, как подсобного материала), также и физических телесных процессов, связанных с нашими психическими переживаниями. Но она дошла к этому вопреки своему спиритуалистическому, дуалистическому характеру. Последний безусловно и бесспорно обеспложивает эмпирическую психологию Г. И. Челпанова и ставит ее методологически, принципиально ниже физиологической рефлексологии.

Такую сравнительную оценку «эмпирической» психологии Г. И. Челпанова и рефлексологии И. П. Павлова дал еще К. А. Тимирязев в «Науке о демократии», стр. 240.

К. А. Тимирязев пишет: «Профессор Павлов заключил свою речь призывом к московским меценатам, приглашая их оказать содействие так успешно начатому им делу, притти на помощь основанной им и уже известной далеко за пределами нашей страны научной школе. Речь его оказалась гласом вопиющего в пустыне. Мало того. По какой-то иронии судьбы газеты вскоре оповестили, что меценат нашелся, явилось крупное пожертвование для постройки института, но не для «великого физиолога земли русской», а для одного из московских психологов-метафизиков — институт, который должен быть в ведении филологического факультета и организован по образцу института профессора Вундта. И не является ли этот случай новой иллюстрацией к высказанному мною в другом месте мнению о внутренней связи между современным декадансом буржуазии и реставрацией метафизики?»

Отдавая должное Г. И. Челпанову в прошлом, когда он в пору полного, безраздельного, официального господства в «науке» психологии идеалистического направления занялся экспериментальной психологией, хотя и идеалистически подмоченной, мы должны, однако, сказать, что за годы революции научная психология шагнула вперед и действительно подверглась реформе. Она стряхнула с себя пыль веков идеализма, стала на твердую почву материалистического изыскания, разветвилась в сложную сеть различных направлений (физиологическое, физико-химическое, биологическое, био-со-

циальное, марксистское), борющихся между собой, но идущих в основном по материалистическому пути, ведущему к научной психологии.

При настоящем состоянии научной психологии, в настоящий период ее развития — призыв Г. И. Челпанова от рефлексологии не к истинно научной психологии, стоящей на точке зрения диалектического материализма, к эмпирической психологии есть призыв назад, реакционный клич. Перефразируя слова Плеханова о Бернштейне, мы можем сказать: «призывая назад, Г. И. Челпанов ограничился «сведением» (и каким неловким, наивным сведением) материализма, марксизма к идеализму, спиритуализму, дуализму. Удивительная сила и глубина».

Резюме.

Для того, чтобы рассудку вопреки доказать, что его эмпирическая психология выше физиологической рефлексологии, Г. И. Челпанов решился изложить полностью подлинный взгляд марксистов на психику.

Но эта основная цель брошюры Г. И. Челпанова не выполнена. Г. И. Челпанов не изложил всего сказанного марксистами о психологии.

Это — во-первых.

Во-вторых — то, что он привел из Маркса и др. марксистов, он осветил так, что получилось не изложение, а сплошное извращение марксизма. В этом нет ничего удивительного. Будучи в философии идеалистом, весь проникнутый идеологией отживающего буржуазного класса, Г. И. Челпанов не может усвоить подлинного взгляда марксистов при всем своем суб'ективном желании.

В Г. И. Челпанове говорит мертвый идеализм. Пусть мертвый не хватает живого.

Мы вправе поэтому перефразировать последнюю фразу Г. И. Челпанова в его «Ответе на возражения» и заявить:

«Но что сказать в таком случае о лицах, которые не проводят разницы между спиритуализмом и дуализмом, с одной стороны, и марксистским материализмом — с другой и, стоя на точке зрения спиритуализма, дуализма, убеждены, что они суть в «марксистах» с 1900 года?»

На основании формального заявления Г. И. Челпанова о том, что он состоит в «марксистах», т.-е. в анти-марксистах, с 1900 г., и на основании анализа по существу всех тезисов его брошюры «Психология и марксизм», мы установили, что Г. И. Челпанов, действительно, не изменился, что он по-старому, с 1900 г., является противником диалектического материализма.

Следовательно, и теперь сохранил свое значение тот отзыв о Г. И. Челпанове, который дан К. А. Тимирязевым еще в 1915 г. на стр. 357 его книги «Наука и демократия». «В раздумье подхожу к окну. Перед ним уже третий год возвышается трех'этажное здание. В одном его названии заключается что-то загадочное: «Филологическая лаборатория», физическая или физиологическая лаборатория при филологическом факультете — звучит оно как-то странно, а между тем это сооружение является плодом щедрых частных пожертвований и пользуется особым поощрением предержащих властей (го-

ворю это также на основании газетных сведений). Хозяин этой псевдо-лаборатории — философ-психолог. И представляется мне, будто культивируемая в этом здании, под ферулой философии, наука похожа на какую-то жалкую собачку, водимую на привязи «служанкой теологии». Ancilla Theologiae — это прозвище, данное философии веками веры. Философ этой лаборатории на первых страницах своей книги «Введение в философию» требует для философии титул «царицы всех наук», но зато в заключительных строках той же книги приходит к выводу, что она должна бы быть на посылках не только теологии, но даже к у л ь т а» (Ч е л п а н о в, Введение в философию, 3 изд., 1907 г., стр. 13 и 513).

Но если Г. И. Челпанов остался тем же, что и был, т.-е. сторонником «не только теологии, но даже и культа», то лучшей оценкой с о ц и а л ь н о й, общественно-политической ценности его брошюры «Психология и марксизм» являются нижеследующие слова тов. Бухарина в его статье «Енчмениада» (Атака, стр. 133): «Всем известно, что после Февральской революции даже околоточные вставляли себе в петличку красный бантик. Точно так же известно, что теперь идет генеральная перекраска очень и очень многих «под марксизм». Не так давно проф. Челпанов жаловался на «идеологическую диктатуру» марксизма и, будучи опытным стратегом, учитывающим реальности, предлагал «приспособляться». Если взять это «приспособление», как факт идеологического п е р е р о ж д е н и я, хотя бы и под давлением вышеупомянутой диктатуры, то тут нет ничего плохого. Но совсем другое дело, когда под словесным флагом и при поднятии перстов с марксистскими клятвами сознательно проводится идеология, явно в р а ж д е б н а я марксизму. А именно с таким случаем мы и имеем здесь дело, что весьма нетрудно демонстрировать», говорит тов. Бухарин, разумея под этим «случаем» енчменизм.

Кончаем статью с надеждой, что нам удалось анализом разобранной брошюры Г. И. Челпанова продемонстрировать, что и в «случае» с Г. И. Челпановым мы тоже имеем дело именно с таким сознательным проведением враждебной марксизму идеологии.

О заболеваниях партактива[1]).

А. Б. Залкинд.

I. Серьезность вопроса.

Последнее время партия потеряла целый ряд ценнейших работников, преждевременно износившихся. К несчастью, ближайший смертный список ими не ограничится, — в недалеком времени нас ждут и новые тяжелые потери; если мы заблаговременно не примем мер, наши ближайшие жертвы могут оказаться слишком крупными.

Партактив, на долю которого легла невиданная историческая, т.-е. и биологическая тяжесть, быстро и резко изнашивается. Если год революционной истории, по своему социальному значению, равен десяткам лет мирного развития, — то год революционной, боевой нагрузки, телесно, по био-истощающему своему влиянию, равен ряду лет обычного жития: за пять-восемь лет организм изнашивается так, как будто прожил пятнадцать-двадцать лет. Между тем, наш парткостяк, т.-е., по преимуществу, подпольщики, исчисляют свой стаж не пятью и не восемью годами: можно представить, сколько у него предпосылок для ранней инвалидности. 30-летний носит в себе болезни 40 — 45-летнего человека; 40-летний — ведь это почти старик.

На преждевременную биологическую ломку партактива обратили сейчас внимание руководящие органы партии. По докладу тов. Кагановича, при ЦК создана особая Комиссия под председательством тов. Хатаевича, — срочно прорабатывающая основные вопросы и руководящие инструкции по партнагрузке. Нарком здравоохранения тов. Семашко посвящает этой же теме ряд призывных, горячих статей в общей прессе. Внимание широкой партмассы, видимо, уже привлечено. — Это не значит, конечно, что надо впадать в панику. Для паники нет, понятно, никаких оснований, — но что вопрос серьезен, что необходимо срочно принять ряд разумных мер, — об этом должны знать все. Об'ективный ход революции и без того достаточно жадно обгладывает биологическое здоровье парткостяка, — незачем к этой «естественной» прожорливости истории прибавлять еще наши ошибки. Уяснению некоторых вопросов биопартгигиены посвящается и все нижеследующее.

---

[1]) Доклад, сделанный на ячейке ЦКК и РКИ.

II. Оптимизм, целеустремленность партийцев—и биологическая выносливость.

Радостная, уверенная — боевая твердость партии является спасительным биологическим орудием для ее членов. Уверенно-целеустремленный организм оказывается всегда значительно более гибким и находчивым в борьбе за существование, более сильным, более выносливым. Те телесные тягости, которые давно вывели бы из биологической колеи, ввергли бы в трудную болезнь человека колеблющегося, робкого, напуганного, — спокойно и устойчиво-долго переносятся прочно-целеустремленным человеком. Если бы соединить всю ту сумму биологических затрат, — утомлений, недоеданий, недосыпаний, потрясений, — которые испытали на своем теле, в общем, партийцы, — окажется, что результат этих затрат, как он ни тяжел, все же гораздо менее тяжелый, чем следовало бы ожидать: целевая устойчивость, повторяем, не только полезнейшее качество в классовой войне, но и крупнейшее телесное подспорье, — она экономит силы организма, отдаляет момент усталости, увеличивает прочность всех тканей, всех органов.

Поэтому, если бы мы поставили организмы партийцев в об'ективно благоприятные условия работы, — получились бы невиданные по своей продуктивности результаты. Не количества нагрузки приходится партийцу, главным образом, опасаться, а неправильных методов ее осуществления. Если бы наш типический партиец, — этот, в общем, великолепно целеустремленный организм [1]), — был введен в обстановку, способствующую научно-правильному развертыванию его работоспособности, правильным заменам работы отдыхом, периодическим приемам пищи и пр., — его биологическая устойчивость проявила бы буквально чудеса. Тем ответственнее наша биологическая задача — помочь выявиться этим богатейшим возможностям, с наилучшими результатами, при наименьших затратах.

III. Темп работы—и физиологический темп работающего.

Всякому работнику, органически, по складу его тела, присущ известный темп работы, известная степень скорости, с какой он способен проделывать свою работу. Выходить из рамок этого темпа работник в силах лишь тогда, если окружающая обстановка своими резкими, сильными влияниями, — «интенсивностью своих раздражителей» (как выражаются в физиологии) настойчиво, длительно ускоряет этот темп; да и здесь подобный перескок через органический темп не обходится безнаказанно, т. к., несмотря на всемерно ускоряющее содействие со стороны внешней среды, — все же телу приходится

[1]) О целеустремленности типического партийца см. отдел: «О психофизиологии РКП» в нашей книге «Очерки культуры революционного времени» (статьи из «Правды» 1922—1923 г.г.)

напрягаться, «пружинить» свыше своих возможностей, что обычно является одним из основных факторов истощения.

Партиец оказывается типической жертвой этого несоответствия между темпом проделываемой работы и темпом организма. Темп развития Октябрьской революции, темп той работы, которую требовала революция, мало считался с биологическим темпом делателей революции. Движущие силы революции — ведь не билиогического порядка, и, — хочет ли, может ли организм, либо нет, — он стихийно вдавливается в русло революционного развития, поневоле подхватывая тот темп, который навязывает ему революционная среда. Но революция ведь бывает раз в столетия, — организмы не успели еще, конечно, усвоить тех темпов, тех навыков, которые ею требуются, — и подобное несовпадение несет за собою ряд биологических бед: биологические издержки революции, как мы знаем, всегда очень велики.

Вред от такого несоответствия темпов был не столь велик в первый, боевой, огневой период Октябрьской революции. Напряженная атмосфера кровавой войны, быстрая смена условий и требований борьбы, частые перемены места, впечатлений, — всегда обостренные, яркие чувствования — то смертельный риск, то внезапная победа, — все это создавало вездесущий лихорадочный темп, втягивавший в себя всех работников революции. Всегда повышенное, возбужденное состояние, непрерывные, неумолимые и действительно неизбежные требования о спешности — все это ускоряло и биологические темпы, увеличивало продуктивность нервного напряжения, — до известной степени (конечно, далеко не целиком: истощало тоже достаточно) уравновешивало те повышенные траты, которые были обусловлены перескоком через биологический темп.

Гораздо хуже обстояло и обстоит с этими темпами сейчас, в «мирные», «тихие» годы революционного развития. Внешней спешности темпа уже нет. Революционный процесс продвигается вперед медленно, — шаг за шагом, туго, сложными зигзагами. Рабочая обстановка требует не боевой быстроты, не героического наскока, но углубленного обдумывания прозаических деталей. Казалось бы, для лихорадочного темпа нет оснований. Однако недавний ускоренный темп еще не изжит, еще царит его отрыжка, его инерция. Быстрый темп сделался как бы привычкой, условным рефлексом, и оторваться от него, даже при изменившихся внешних условиях, не так легко. Вот почему очень многие работники даже и сейчас, без об'ективной к тому необходимости, продолжают работать в ударном темпе, наскоком, с броска — в ущерб не только своему биологическому бытию, но и интересам работы, которая вовсе этой ударности не требует. Подобная ударность оказывается сугубо отягощающим обстоятельством для организма: во-1-х, потому, что, не оправданная сейчас во вне, она особенно убыточна и для организма; во-2-х, потому, что она обгладывает организм, и без того достаточно пострадавший в эпоху «законной ударности». Повидимому, необходимы серьезнейшие поправки к темпу нашей работы. Если темп нового социального строительства далеко не во всем может соответствовать «темповым» возможностям строителей, — все же имеется некая равнодействующая, максимально сближающая

эти темпы, минимально вредная для работников. Надо прощупать ее, — надо всемерно бороться с излишней ударностью, — с «ударностью по инерции».

IV. Эмоциональные шпоры—и порог утомления работника.

В организме существует автоматически действующий регулятор, тормозящий нашу работу, как только затраты ее переходят законные биологические границы. Для новой работы необходимо восстановление этой затраты, — и организм, впредь до получения должного возмещения (отдых, пища), приостанавливает дальнейшую деятельность, не может ее продолжать: он устал, «испытывает» усталость, утомление. Это состояние усталости — спасительно. Подавляя биологически-незаконную активность, оно способствует своевременному возрождению тканей тела, сохраняет эластичность его. Без этого законного состояния утомления, организм доводил бы свою активность до пределов, за которыми восстановление траты оказалось бы очень затруднительным, подчас и невозможным.

У партийца обстоит с этим регулятором неблагополучно. Положительной чертой типического, т.-е. хорошо целеустремленного, партийца является вообще смягченная, пониженная утомляемость, — действительное расширение активных возможностей его организма (о повышенной его выносливости, т.-е. и о пониженной утомляемости мы говорили уже выше): затраты его более экономны, т.-е. и состояние утомления должно приходить к нему позже, — это в порядке вещей. Однако, к сожалению, и в области этого счастливейшего качества наблюдается больной перескок.

Эмоциональное возбуждение прочно-целеустремленного организма оказывается полезным лишь до известных пределов. Сильная сторона эмоционального возбуждения может оказаться и опасной чертой. Эмоциональное возбуждение, ускоряя темп работы, увеличивая гибкость и цепкость работающих аппаратов тела, — может, при неправильном его использовании, не только понизить об'ективный порог утомляемости, но и расплющить самое чувство утомления: из-за непрерывного, сильного возбуждения, законное состояние законной усталости может быть и не замечено. Знаем же мы, как долго не замечает боли тяжело раненый, возбужденный боец в часы атаки, как поздно замечает свою смертельную, подчас, усталость человек, спасающий жизнь непрерывным, многочасовым бегом. Конечно, эмоциональное напряжение партийца нельзя сравнивать с этими редкими случаями отчаянного перевозбуждения. Однако все же в волнующей обстановке нового творчества, в колоссальном чувстве ответственности перед партией и государством — имеются такие возбудители, которые, при неумелом к ним подходе, могут действовать и как добавочные, избыточные удары шпор. За таким возбуждением даже и законная усталость может сплошь и рядом оказаться незамеченной. Пройдя раз и два и три мимо нее, работник день за днем накопляет неизжитое утомление; суммируясь неделями, месяцами, это утомление в дальнейшем создает такой ядовитый груз, от которого организм зачастую уже не в силах избавиться.

Самое опасное — в подобном состоянии избыточного эмоционального пришпоривания — то, что истощение, им создаваемое, способствует не уменьшению, а нарастанию возбуждения. Нервная клетка, в отличие от других тканей тела, обнаруживает свою усталость не в форме пассивности, вялости, а в виде особо обостренной возбудимости. Партиец — ведь это, по преимуществу, мозговой, «нервный» работник, — и его утомление — это утомление нервной клетки. Если та, в состоянии усталости, перевозбуждается (явление «раздражительной слабости»), очевидно, и работник начинает испытывать, взамен вялости, добавочное возбуждение. При наличности и без того сильного эмоционального возбуждения, он может принять это добавочное возбуждение за вполне естественное явление, и, вместо приостановки работы, оно лишь подстегнет ее. Конечно, подобное перманентное возбуждение, без своевременного восстановления сил, можно поддерживать недолго, — и вскоре неминуем полный срыв, уже без самообманов: возбуждения нет, наступает слабость, прострация.

Следовательно, для формирования планомерной биопартгигиены, рядом с проблемой урегулирования темпа работы, вырастает не менее ответственная проблема — об эмоциональном равновесии работника, о включении работы в эмоциально-законные границы, без искажения суб'ективных регуляторов работы.

V. Пересыщенность дня и „пересыщенность воли".

Помимо качественных потрясений, причиняемых организму несоответственным темпом работы и эмоциональным недоучетом утомления, — мы в деятельности партийца встречаемся еще с чудовищной количественной перегрузкой. Сутки партийца забиты работой до отказа. С раннего утра и до ночной постели — нет отдыха. Резкий переход от приема посетителей к заседаниям, от заседаний — к докладам подчиненных, — от последних — к митингу и т. д. Мозг насыщен непрерывными запросами, на которые надо ответить тут же, зачастую не осмыслив их до глубины — за отсутствием времени и нужной обстановки. Сознание всегда на чеку, воля всегда напряжена: дать передохнуть сознанию, передать часть рабочих впечатлений в подсознание — для более глубокого их там усвоения — нет никакой возможности. Естественно, что работа качественно оказывается недоделанной. а мозг, на долю которого вечно перепадает, при таком подходе, исключительно работа, требующая непрерывного волевого усилия, оказывается в состоянии хронического перенапряжения. Основной закон продуктивной и нормальной мозговой работы в пропорциональном распределении материала и времени, при условии возможности, в нужный момент, замены нарочитой, так наз. сознательной, мозговой работы — подсознательной, «безвольной» ее доработкой. Без этой подсознательной доработки нарушаются основные механизмы мозговой, психической деятельности: качество работы терпит глубокий ущерб, а мозг, не имея отдыха от напряжения, испытывает массу добавочных, излишних трений. Именно в таком положении

оказывается мозг той массы наших партийцев, которые насыщают все свои рабочие сутки, без перерыва, напряженнейшей нагрузкой, не давая себе ни часа передышки для столь необходимого «подсознательного мозгового пищеварения». Этот избыток усердия в итоге, как видим, оказывается губительным и для работы, и для работника.

VI. Двойная, тройная (и более) рабочая установка.

Однако этой чудовищной количественной пересыщенностью рабочего дня не исчерпывается тяжесть груза, налагаемого на партийца. Он не только захлебывается в избытке суточного материала, — он, сверх того, должен одновременно работать на несколько фронтов.

С полгоря бы еще, если бы рабочий день до отказа был забит непрерывной работой. С бо́льшим или меньшим ущербом для себя, мозг кое-как с этим бы справился. Но сугубое несчастье еще и в том, что приходится, если можно так выразиться, дробить мозг на несколько разрозненных кусков, заставляя каждый из них обслуживать совершенно особую работу. Речь идет о наших совместительствах, — и о глубоко различной, специальной мозговой установке, которой требует каждое совместительство порознь. Работник, принужденный ежесуточно разменивать, раздроблять себя на ряд различных по содержанию, но одинаковых по ответственности должностей, проделывает над своим мозгом глубоко вредную операцию. Хорошо еще, если совмещаемые им обязанности органически продолжают одна другую; тогда дело лишь в количественном сгущении его нагрузки, и без того, как мы видим, достаточно густой. Однако чаще всего совмещение адресуется другому ведомству, связано с совершенно новым кадром работников и требует вполне новых навыков приспособления к нему: мозг принужден одновременно строить две, три, а то и более целеустремленности, каждая из которых требует отдельного материала, особых впечатлений, специального обдумывания, при чем каждая же не оставляет работника в покое ни на минуту, так как все они связаны с одинаково глубокой ответственностью.

Биологический эффект такого «мозгодробления» вполне очевиден, — не говоря уже о качестве производимой при нем работы.

VII. Профнепригодность.

Хорошо еще, если все указанные выше «перескоки» через грани трудовой нормы проделываются товарищами, действительно пригодными к обслуживаемой ими деятельности. Работа в таких случаях, как никак, — идет все же по линии вкусов, интересов и навыков работника, является широким развертыванием его *творческих профчерт*, — это смягчает траты, повышает суб'ективный тон работы. Однако положение становится буквально трагическим, если нет на-лицо и этого профсоответствия. Редки разве случаи, когда администратором делают человека, к этому ничуть не пригодного, — мешая ему же целиком уйти в научную работу, куда его как раз всесторонне и тянет. И, обратно, разве не держат на длительной теоретической учебе

ряд товарищей, жадно тянущихся исключительно к широкой организаторской деятельности и бесплодно рвущих себе мозги над книжками. Литератора превращают в оратора, — типического мирного строителя долгие годы задерживают на военной работе. Между тем, подобная операция проделывается ведь над партийцем, чувство ответственности которого перед революцией чрезвычайно велико: как ни чужда ему, в профсмысле. порученная ему партией работа, — он все же тщится максимально-хорошо ее выполнить т.-е. все те «темповые», эмоциональные и прочие указанные выше перескоки оказываются в силе — с той лишь разницей, что они режут острее, так как напряжение, требуемое профчуждой работой, — без должных свойств, умений и навыков, — оказывается значительно более тяжелым; к тому же, чувство подавленности, испытываемое подобным профнесоответствующим партийцем, оказывается добавочным тормозом, увеличивающим внутренние рабочие трения, т.-е. повышающим и трудовые биологические затраты.

Профнесоответствие, — как видим, тоже одна из серьезных проблем биопартперегрузки.

VIII. Культурное отставание.

При подобной работе — «не до жиру, быть бы живу». Следить за культурной своей обработкой нет возможности. Все время, все силы уходят на выполнение очередных служебных и партийных обязательств. Внимательно следить за протекающими политическими событиями, просматривать обширные политические, экономические, идеологические обзоры — становится неосуществимой роскошью (многие не успевают даже газету пробежать), тем более нельзя угоняться за теоретической литературой, за оформляющимися сейчас художественными исканиями. Черты новой жизни, нового быта, рождающиеся в процессе той же самоотверженной, настойчивой работы парттоварища, ускользают, однако, от его зрения, «прозевываются». За деревьями своего собственного пересыщенного дела товарищ перестает видеть лес всего революционного строительства в целом, перестает чувствовать и понимать его перспективу. Подобное невольное культурное отставание является не только тяжелым идейным бедствием для партийца, оказывается не только помехой для революционно-правильного, диалектического развертывания его работы, — оно превращается и в больной биологический груз, так как, создавая оторванность от живой революционной реальности, лишает работника оптимизма, его яркой целеустремленности, отнимая, вместе с тем, значительную часть его биологической устойчивости и творческой цепкости.

IX. Элементарные гигиенические невязки.

Очевидно, вредность подобной, описанной выше «темповой». эмоциональной и прочей перегрузки не ограничивается непосредственными ее результатами: она глубоко внедряется во все биологические процессы партийца, нарушая их ежедневно, ежечасно, ежеминутно.

Первым долгом, партиец живет исключительно головой, забывая о прочих частях своего тела. В то время, как умственный труд должен бы протекать в тесной гармонии с прочим телесным функционированием,— в то время как рационализация мозговой работы особенно успешно протекает при достаточных движениях всего тела (прогулки, легкая гимнастика), при обильном и чистом воздухе, при правильном дыхании, свете и пр., — наш партиец сидит сиднем весь свой рабочий день — в непроветренной, накуренной комнате, в ней же он зачастую и спит,— и дорого расплачивается за эту его неосторожность основной его рабочий орган, та же голова.

Мозгу, по характеру его биохимических трат, при умственной работе нужно специфическое питание, содержащее именно те элементы, которые преимущественно поглощаются при умственном труде. Партиец же и понятия не имеет об этом пищевом, химическом специфизме, — ест что попало, при том ест нерегулярно, — в то время как именно при мозговой работе регулярность питания является совершенно обязательной.

Нужных, и во-время, отдыхов партиец не получает, не говоря уже о денном отдыхе, — даже и годовые его отпуска обычно несвоевременны. Отдыхи свои проводит обычно непродуктивно, создавая себе, взамен трудовой паузы, новую возбуждающую нагрузку (экскурсии, путешествия). Качество сна, как и количество его, — тоже, конечно, на последнем месте, — и т. д., и т. д., и т. д. Удивительно ли, если в результате столь «благоприятного» сочетания отвратительных предпосылок, — организм партийца преждевременно изнашивается, истощается, ломается. В подобных условиях, повышенная смертность в партии, конечно, ни у кого не вызовет удивления.

К счастью, далеко не все то отрицательное, что мы наблюдаем в текущей партперегрузке, действительно обусловлено непреодолимыми об'ективными причинами, неизбежными требованиями, пред'являемыми ходом революционного процесса. К счастью, многое из этого отрицательного — есть плод нашего неуменья, нашей методической, организаторской неграмотности, — и вот эта-то вполне почтенная часть больной язвы в парторганизме подлежит энергичному, срочному, всестороннему лечению.

X. Основные черты заболеваний партактива.

Очевидно, подобное специфическое содержание партперегрузки должно вызвать в организме партийцев ряд тоже специфических расстройств. На самом деле, так и обстоит.

Условно, можно бы разделить основные болезненные проявления, наблюдающиеся в массе нашего партактива, на две группы (это деление соответствует как медицинским материалам, накопившимся в центральном партаппарате [1]), так и сведениям, имеющимся лично у пишущего [2]):

[1]) Материал доклада тов. В. В. Потемкина на заседании Комиссии по партнагрузке при ЦК.

[2]) Были разосланы членам Комиссии.

1) Чрезвычайно часто мы сталкиваемся с быстрым, как бы внезапным переходом товарища из состояния утомления в состояние истощения. Резервы его организма оказываются израсходованными как бы незаметно для больного, — чувство болезни приходит значительно позже, чем появляются об'ективные ее признаки, — и товарищ выходит из строя зачастую лишь в самый последний момент. Подобное явление, конечно, говорит не о какой-то особой ломкости организма парттоварищей, а, наоборот, доказует увеличенную их суб'ективную боеспособность, — к сожалению, в конечном счете, в ущерб биологическому интересу. Выше мы уже уяснили, чем обусловлена эта суб'ективная недооценка утомления, фатально влекущая за собою обгладывание резервов, т.-е. переутомление, истощение, конечную ломку организма. Итак — наступление больного самочувствия лишь с состояния глубоко зашедшего, часто и непоправимого истощения, и зачастую быстрая ломка организма после этого — вот первое, что, в общем, характеризует собою основную картину заболеваний нашего партактива.

2) Больной партактив страдает также нарушением основных ритмов в своих телесных процессах. Вполне очевидно, что работа, построенная, в главном, на самом грубом нарушении ритмов, — на несвязанности различных частей работы между собою, — на отсутствии планомерности в отношениях между трудом и отдыхом, — на нерегулярности питания и сна, — очевидно, такая работа неспособна благоприятствовать выявлению естественных телесных ритмов. Сон и пищеварение — эти основные функции, на которых зиждется благополучие мозгового работника, требуют жесточайщей регулировки, несоблюдение каковой не только их уродует, но и врезается грубым клином во все прочие биологические автоматизмы. Подобная деритмизация организма оказывается тяжелым бедствием: элементарные телесные процессы (сон, пищеварение и пр.), протекающие обычно автоматически, ритмически, без всякого напряжения, без усилия, — уродуются, совершаются непланомерно, требуют добавочных усилий, искусственных раздражителей, затрачивают много лишней энергии, развертываются неполно, туго. Вред подобного состояния, конечно, не вызывает сомнений.

Итак, основное, что останавливает наше внимание при подходе к болезненным проявлениям партактива, — это: а) быстрый переход утомления в истощение (вследствие долгого «незамечания» предыдущих этапов утомления), б) дезорганизация биологических автоматизмов, биологических ритмов. Можно считать эти явления как бы профчертами партзаболеваний. Причины их, как мы видели, в профусловиях партработы, — к счастью, во многих изменимых.

XI. Общеклинические черты партзаболеваний.

Этим двум своеобразным профчертам соответствуют и определенные клинические черты. Имеется целая группа клинических симптомов, особенно возлюбивших наш сверх-перегруженный партактив.

а) Чем бы ни страдал наш перегруженный партиец, — он, сверх того, почти обязательно (по материалам, 80 — 90%) является обладателем целой серии **нервных симптомов**: тут и усиление сухожильных рефлексов, и нервно-повышенная сердечно-сосудистая возбудимость, и двигательные, либо секреторные неврозы пищеварительного тракта, и неврозы сердца, и расстроенный сон и т. д. Вполне очевидно, что эта добавочная, вездесущая нервно-клиническая нагрузка, поскольку она сопровождает все почти прочие болезни партийцев, оказывается большим тормозом для благоприятного течения общелечебного процесса. Очевидно, туберкулез, болезнь сердца и почек будут протекать гораздо скорее и проще, если им не станут сопутствовать прибавочные — нервные явления. К сожалению, по указанным выше причинам, избегнуть этих непрошенных попутчиков нет пока почти никакой возможности, что делает клинику партзаболеваний почти специфичной [1]).

б) Как и состояние неврозизма, почти столь же характерным для болезней партактива можно считать **увеличенное кровяное давление**, т.-е. повышение напряжения сердечно-сосудистой системы. Об'ясняется этот, тоже почти вездесущий, симптом той эмоциальной, напряженной, постоянно ответственной и спешной активностью, которая так резко характеризует современную работу партактива. Повышение кровяного давления, в общем являясь очень ценным компенсаторным (уравновешивающим) средством, совершенно необходимым при усиленных требованиях, пред'являемых к кровообращению со стороны быстро и напряженно работающего нервно-мозгового аппарата, однако оказывается далеко не безвредным для организма: преждевременные **артериосклерозы** — как в сердечной области, так и в мозгу, — столь дорого нам стоившие недавно и постоянной смертной угрозой стоящие над лучшей частью нашего парткостяка и сейчас, — являются вполне закономерным результатом этого хронического гипертонирования (увеличение тонуса) сосудов.

в) Наконец, третьей, не менее специфической обще-клинической особенностью болезней партактива оказывается — **вялый, замедленный обмен веществ**. В южном климате, при усиленных телодвижениях, при рациональном питании подобная напряженная работа, наоборот, способствовала бы усиленному обмену (подчас и чрезмерно усиленному), но сидячий образ жизни партактива, скверный воздух, вдыхаемый им во время работы, полная нерегулярность и химическая нерациональность питания

---

[1]) Конечно, белогвардейщина захочет извлечь из этого факта «убийственные» выводы о «сумасшедшей партии». Однако от явлений обычного неврозизма до сумасшествия такое же расстояние, как от бронхита до сыпного тифа. Между прочим, число психозов и психопатий в партии — не больше, чем в других слоях населения. Но и по поводу партнервности белогвардейщине радоваться не приходится. Как мы видели, она — результат необычайной, даже чрезмерной трудовой выдержанности партийца, — она сламывает работника лишь в последний момент, — и по которому упорному сопротивлению, оказываемому ее влияниям, очень легко можно судить о боевой мощи партии. Можно представить себе, какие жалко-дряблые неврастенические явления накопила бы при подобной перегрузке партия меньшевистского пошиба.

и прочие многообразные гигиенические из'яны — все это замедляет процессы окисления в организме, тормозит кругооборот телесных соков, понижает активность всего телесного химизма. Явления подагрического артрита, застарелые остатки былых ревматизмов, вялая потоотделительная работа кожи и пр. и пр. — таковы наружные проявления этого глубоко лежащего, всепропитывающего замедленного обмена.

Почти все заболевания партактива, какой бы они области ни касались (сердце, почки, легкие и пр.), связаны с этой специальной клинической «парттриадой», придающей им свои специфические оттенки, мешающей их лечебному улучшению. Нервность, повышенное давление, вялый обмен — вот первое, на что приходится обращать внимание при подходе к «профзаболеваниям» в партии.

Здесь можно бы еще высказаться о четвертой группе общеклинических симптомов, характеризующей некоторую часть партийцев: мы говорим о так наз. «психоневротических» явлениях, в основе связанных с моральными, идеологическими и прочими колебаниями социальной установки заболевшего. Но именно эти симптомы характеризуют лишь внутренне-неустойчивую часть партии, почему в очерке о парт'ядре, партактиве мы касаться их не будем, тем более, что в двух статьях вопрос этот нами уже поставлен [1]).

Партзаболевания сильнее всего бьют, конечно, наш старый костяк, особенно много биологически отдавший революции. Однако и мало пока поработавшая наша коммолодежь тоже, притом слишком быстро и слишком резко, отдает свою клиническую дань: причина здесь — как в тех же общих условиях комсомольской перегрузки, так, в данном случае — особенно, в хрупкости переходного возраста, на который внезапно легла непосильная и совершенно новая тяжесть. Не избегают клинической повинности и новые пролетарские слои партии: не так прост переход от станка и сохи к тому мозговому напряжению, которого требует работа партруководства, тем более при дурных гигиенических условиях и скверной системе работы.

XII. Общие вехи по борьбе с партзаболеваниями.

Итак, вот какова картина биологического состояния партии. Очевидно, подобное положение недопустимо. Мирная полоса советской работы дает возможность отдышаться, уплотниться, рационализировать работу. Борьбе с партзаболеваниями должно быть уделено самое серьезное внимание.

Борьба с ростом заболеваний в партии началась уже давно, сейчас она, наконец, вступила в новую, значительно более планомерную фазу. Борьбу эту, как предупредительную, так и лечебную, приходится вести одновременно по всем направлениям, при чем предупредительные мероприятия можно бы разделить на три группы: а) организационные меры по партразгрузке, исходящие от руководящего партаппарата; б) меры по НОТ'ов-

---

[1]) 1) «Язвы РКП» (кн. «Очерки культуры револ. времени»); 2) «Психоневрозы коммунистического студенчества» (кн. «Революция и молодежь») 1925 г.

скому изучению работы партийцев и по углубленной пропаганде рациональной методики работы; в) меры по ознакомлению с элементарной гигиеной, необходимой для всякого мозгового работника. Все лечебные меры можно разделить на две группы: а) лечебные меры санаторно-курортно-больничного характера; б) лечебные меры домашнего характера.

XIII. Предупредительные меры, исходящие от центра.

Работник на месте мог бы и «самоуплотниться» и организоваться, мог бы накопить и рациональную систему деловых навыков, если бы его слишком часто не потрясали сверху, не создавали ему совершенно новых, притом всегда ударных, рабочих установок. Конечно, эта срочность и новизна неизбежны в революционном строительстве, но, все же, здесь слишком часто укрывается еще не изжитая инерция преднэповских методов работы, ликвидация коей, в подавляющей части, зависит от центра. Кроме массы новых и новых циркуляров, срочных заданий, к этой преднэповской методической отрыжке надо отнести и страсть к избыточному заседательскому коллективизму [1]), операция над которым тоже всецело в руках центра: в боевой период, в атмосфере ежесуточной опасности, в условиях, не имевших опытного прошлого, — действительно необходим был частый товарищеский совет (отсюда комиссии, коллегии и пр.), но сейчас, в годы углубленного, неспешного, самостоятельного продумывания мельчайших деталей добрых $^4/_5$ этого кабинетного коллективизма становится уже излишним. Грозой партнагрузки являются и чудовищные совместительства, зачастую обусловленные как недоучетом биологических возможностей работника, так и недостаточной энергией в подборе новых работников: и здесь основное слово за центром. Беда — в материальном положении работника, в квартирной и прочей его общегигиенической обстановке: от центра тут зависит тоже довольно много.

В общем, в основном, от центра требовалось бы: а) нагружать совместительствами лишь в силу совершенно неизбежной необходимости, притом, всегда с учетом действительных биологических возможностей работника; давать эти совместительства обязательно по одной и той же линии работы, не раздробляя основной профустановки; б) всегда учитывать профпригодность работника; в) избегать внесения ошеломляющего, ударного элемента («темпа») в обычную работу; сроки дополнительных заданий планировать в связи с прочей работой партийца; г) избегать изобилия циркуляров, инструкций, сгущая материал последних, заменяя количество качеством; д) пересмотреть систему избыточной (организационно) и слишком частой коллективной работы, устранив параллельное, ненужное [2]); е) улучшить материальное положение работников; ж) всемерно увеличить кадр ответственных работников, хотя бы, при нехватке партийцев, за счет наиболее близких беспартийных.

---

[1]) О нем хорошо писали т.т. Андреев, Семашко и др.

[2]) Комиссия т. Хатаевича обратила на этот вопрос особо серьезное внимание.

XIV. „Партнот".

Продуктивная работа по организованному проведению каждым партийцем своей труднагрузки может быть осуществлена лишь при действительно научном подходе к этому вопросу. Кустарные нащупывания в этой области, какими бы благодетельными циркулярами ни наградил работников центр, мало дадут толку. Современная партдеятельность (т.-е. руководящая государственная деятельность) совершенно специфична, и методика ее только начинает изучаться. Протекая в невиданных социальных условиях, осуществляемая невиданным классовым кадром, непосредственно, без промежуточных подкупных агентов, адресуясь широкой массе населения, эта работа должна иметь свою особую систему, подлежащую всестороннему изучению.

Вполне очевидно, что работа общегосударственного масштаба отличается от губернской, тем более от низовой работы и темпом, и материалом, и распределением времени. Разные охваты работы требуют и различной политической, производственной, общекультурной, специальной квалификации. Не менее очевидно, что работа администратора-управленца внутренне-методически отличается от работы хозяйственника, от работы «партаппаратчика», от военной работы. Изучены ли эти типовые методические различия? Существуют ли хотя бы основные методические инструкции для подхода к этой работе? Если не считать изыскания красных директоров в области производства, НОТ пока в эти области проникнуть и не пытался. Ему предстоит здесь колоссальная, плодотворнейшая задача. Не надо только замыкать эти нотовские исследования в стены лаборатории; здесь будут полезны и широкие анкеты и непосредственное обследование на местах: слишком общественно-жива работа коммуниста, чтобы можно было изучить ее исключительно в академическом кабинете.

Правильно построенный «партнот» об'явит, между прочим, жестокую войну тем еще существующим в кругах некоторых специалистов предрассудкам, будто увеличенная заболеваемость пролетарского парткадра обусловлена мозговой неспособностью его к ответственной нагрузке по государственному руководству. Уже клинический опыт учит, что дело здесь не в «неспособности», а в перегрузке и в неправильных методах работы. НОТ должен будет это точно подтвердить. Работа общественника и организатора, а именно такой, в основе, и является современная работа партийца, — не только не чужда «пролетарскому естеству», но органически именно из этого естества и вырастает.

Научная организация партнагрузки во многом облегчит борьбу с партболезнями как в смысле их предупреждения, так и в деле пресечения уже возникших заболеваний. НОТ'овской пропаганде — честь и место в области партбыта, партгигиены.

XV. Азбука гигиены всякого партработника.

Помимо мер «высокого» порядка (действия руководящих органов; НОТ), существуют и серенькие, скромные, азбучные меры, применимые почти каждым

работником, о которых никогда не следует забывать. К сожалению, и они далеко не всегда осуществимы в лихорадочной сутолоке нашей партперегрузки. Однако не надо все же преувеличивать нашу беспомощность в этой области: зная «азбуку», можно многое улучшить даже и сейчас, с первого же дня, тем более что те 1½ — 2-суточных часа, которые выпадут для этого из работы, сугубо компенсируются ценнейшим обогащением качества работы. Тов. Семашко был вполне прав, когда основные элементы этой гигиенической азбуки внес, как органическую часть, в проект общего циркуляра ЦК по вопросу о партнагрузке.

В общем, азбука партгигиены (как и гигиены всякого умственного работника), в основном сводится к следующим принципам [1]: а) жесточайшая регулировка часов еды и час отдыха после обеденного приема пищи; б) такая же жестокая регулировка часов сна [2]; спать не меньше 7 — 8 часов, ложиться в одно время (лучше — в 12 ч. ночи); за час до сна прекращать напряженную мозговую работу, лучше всего в это время получасовая прогулка; в) две получасовые прогулки в течение дня, легкая гимнастика (небольшое мышечное возбуждение — полезнейшее подспорье для мозговой работы); обтирание прохладной (комнатной) водой [3]; г) всегда свежий воздух в комнате: избегать как излишнего тепла, так и холода; д) химическая специфизация питания: основной его качественной частью должны быть белки, фосфориды, витамины [4]; е) наиболее тяжелую часть работы лучше выполнять в первую половину дня, в первую половину недели, в первые две трети после отпускного периода; ж) в дни напряженных публичных выступлений стараться максимально разгрузиться от прочей трудной работы; з) не раздваивать внимания во время работы, не заниматься одновременно несколькими работами; и) длительно-монотонную работу стараться частично разнообразить — либо временной заменой другой работой, либо привнесением в нее освежающих элементов из боковых ее областей; к) работать в свободной позе, в нестягивающей одежде (облегчение притока крови к мозгу); л) воздерживаться от алкоголя и никотина; м) максимальная половая скромность; н) отпуска проводить в обстановке легкого и занимательного физкульта, но не создавать себе во время отпусков добавочную нагрузку в виде утомительных экскурсий, возбуждающих путешествий и т. д.; о) пролетарский партактив, при первом периоде отрыва от станка, должен чаще устраивать отдых в течение суток, — и длительный отпуск должен первое время раздроблять на более мелкие, но в то же время более частые отпуска. Именно для него, недавнего физтрудовика, не забывать о физкульте — основное правило.

[1]) Ряд указанных ниже соображений не вошел в сжатый гигиенический проект тов. Семашко, — и остается на ответственности пишущего. Между прочим, инициативе тов. Семашко мы обязаны скорым выходом в свет особой наркомздравской брошюры, посвященной основам мозговой гигиены.

[2]) В основе мозговой гигиены лежит максимальная ритмика сна и пищеварения, — для чего жесткий режим сна и приемов пищи — основная предпосылка.

[3]) Полезнейшая гимнастика сосудистой системы.

[4]) Подробнее см. в нашей книге: «Революция и молодежь», статья «Гигиена умственного труда».

Если бы парттоварищи из этой азбучной гигиены извлекли бы осуществимое (при уменьи даже в сегодняшних условиях, 50% указаний вполне реализуемы), какая огромная биологическая, т.-е. и творческая экономия получилась бы у партии. Клинический «капитал» партии значительно потускнел бы тогда. Выполнение азбучных норм гигиены должно сделаться одной из основных глав партэтики: ведь вопрос идет не о шкурничестве, — о сохранении классового авангарда.

XVI. Лечебные меры.

Ясно, что центр тяжести войны с партзаболеваниями — не в лечении, а в предупреждении. Как ни лечи, — но, при сохранении прежней обстановки и старых методов работы, заболеваемость будет лишь нарастать. Поэтому особое место при партаппарате должны занять медицинские комиссии, во-время и периодически обследующие работников для своевременного извлечения попорченного материала и надлежащего его направления: суждения этих медкомиссий, снабженных достаточно прочным партрегулятором, должны играть серьезную роль при профотборе, перемещениях работника, в вопросе о совместительстве, о пониженной ответственности и т. д.

В самой методике лечебного подхода к partактиву должен наступить перелом. Чрезвычайно часто, при неумелом подходе, лечебный процесс (пребывание в санатории, на курорте), взамен клинического улучшения, создавал новую больную нагрузку. Лечащийся товарищ, привыкший к беспорядочной, напряженнейшей работе, очень трудно мирится с тем новым напряжением, которое вначале создается жестким режимом учреждения: он протестует, тоскует, рвется вон из режимных рамок, «рассеивается» частыми отлучками в город, на долгие экскурсии, одним словом, старательно делает все то, чего ему делать никак нельзя. Твердости медперсонала иногда (вернее, слишком часто) нехватает для водворения энергичного парттоварища в законные рамки и, в результате, клинический эффект — 15% того, чего следовало бы ждать. Подобное положение недопустимо.

Нужно вдолбить всем больным товарищам, что явления неврозизма — обязательное и основное окружение всякого их заболевания и что, не освободившись от них, всуе мечтать об улучшении туберкулезного, почечного и прочих клинических процессов. Неврозизм же требует, при лечении, чрезвычайно жесткого режима, без коего нельзя вправить выбитые из колеи биологические ритмы. Поэтому вполне прав был врач ЦК тов. Потемкин, настаивая на введение неврологического режима даже в дома отдыха, преимущественной клиентурой которых оказываются парттоварищи. О внесении же элементов этого «нервного» режима в партсанатории (какой бы специальности они ни были) и говорить не приходится: ясно. Вторым шагом лечебной реформы должна быть действительная научная медицинизация тех лечебных показаний, которые адресуются парттоварищам. Зачастую в назначении больному той или иной курортной местности преобладают не столько клинические

мотивы, сколько настойчивость энергичного товарища. Иногда район выбирается им даже во вред заболеванию; сплошь и рядом, он направляется в избранную им местность вопреки резким запретам медкомиссии. Не говоря уже о серьезном вреде, наносимом заболеванию подобной излишней инициативой, мы здесь сталкиваемся еще с вредностью, задевающей всех прочих больных данного лечучреждения (или курорта), куда затесался незванный клиент: тяжелый невропат среди туберкулезных больных, либо туберкулезный на сердечном курорте и т. д. Подобное положение вещей тоже, конечно, требует борьбы.

Третьим шагом лечебной реформы должна быть выработка у выпущенных из лечучреждения товарищей здравого отношения к их дальнейшему бытию. Многие, почуяв значительное улучшение, стремглав, захлебываясь, накидываются на работу, забыв о каких бы то ни было медицинских соображениях, но, конечно, быстро снова опрокидываются в клиническую яму. Очевидно, лечебное заведение, помимо терапевтической помощи, должно проделать еще серьезную медпропагандистскую работу по отношению к своим больным, снабдив их правильным научным пониманием болезненного процесса и простой рецептурой дальнейшего разумного к нему подхода.

Конечно, о более тонких деталях партлечреформы говорить здесь не место (элементы физкульта, легкие трудпроцедуры для некоторых и др.): об этом в специальной печати.

Чрезвычайно важной мерой является введение во всякую медкомиссию, работающую у партаппарата, серьезного невролога, так как без учета нервных явлений партзаболевания — последнее никогда не будет распознано до конца, как бы внимательны ни были представители других медспециальностей. Особенно плохо в этом смысле обстоит в провинции (даже в губгородах), откуда чрезвычайно часто прибывают товарищи с очень богатыми диагностическими ярлыками по всем отраслям медицины, но «без малого», без учета вездесущего неврологического «слона» нашей партклиники. Провинция должна на это обратить серьезное внимание: хотя центр треплет нервы достаточно сильно, но и провинция немногим от него отстает.

XVII. Лечение дома.

Существует распространенный предрассудок, будто все более или менее серьезные заболевания обязательно должны лечиться в специальной обстановке. Это и научно неправильно и материально, при нашей всяческой (и медицинской и финансовой) бедности не осуществимо. В домашней обстановке, при внимательности врача, при грамотном подходе больного, при содействии семьи, товарищей, можно сделать очень и очень многое, в особенности, если периодически являться для амбулаторного инструктирования, и если, к тому же, имеется некоторая возможность получения отдельных амбулаторных лечебных процедур. Чрезвычайно часто подобное домашнее лечебное пользование (на даче и т. д.) оказывается для ряда больных гораздо

более продуктивным, чем специальная клиническая база. Во всяком случае. здесь, при выборе базы (санаторий, дача и т. д.), на первом плане надо считаться с указаниями медкомиссии.

XVIII. Партэтика и партгигиена.

Было бы вполне целесообразно, если бы при прощупывании сейчас исходных вех партэтики[1]) вопросы партгигиены вошли бы в эту проблему, как органическая и чрезвычайно существенная ее часть. Если партэтика стремится наилучшим для революции образом организовать всю активность члена РКП, очевидно рационализацию его биологического бытия нельзя оторвать от планомерной организации всего его прочего быта. Быть идеологически выдержанным, быть партийно честным, быть максимально, в меру действительных об'ективных возможностей (они часто, по невежеству, преуменьшаются, не доучитываются) здоровым — должно звучать. как синонимы. Не надо отдавать об'ективным условиям больше жертв из нашего биологического партфонда, чем это действительно и непреодолимо требуется. Мы в праве, мы обязаны в этом вопросе быть максимально упрямыми, торговаться, не уступать. На очереди серьезнейшая партпроблема — проблема биопартгигиены [2]).

---

[1]) См. высказывания авторитетных наших контрольных работников — тов. Ярославского и др.

[2]) См. отдел «О психофизиологии РКП» в нашей книге «Очерки культуры револ времени» (1924 г).

Из подготовительных работ по „Истории Октябрьской революции".

Я. А. Яковлев.

Борьба за 8-часовой рабочий день.

Меньшевики еще в 1905 году обвиняли большевиков и рабочие массы в том, что своей борьбой за 8-часовой рабочий день они пугали и отпугивали от революции русских буржуа и либералов. Соответственно этому, соответственно своим взглядам на революцию меньшевики попытались было поставить этот вопрос в февральские дни. И в Питере и в Москве они попытались немедленно после первых дней революции призвать рабочий класс к переходу к очередным делам. Они пытались прекратить рабочую стачку с тем, чтобы остановиться на уже завоеванных политических позициях и перейти к вопросам организационного строительства. Но рабочие, которые, как мы видели, к политической стачке пришли, в значительной степени, от стачки экономической, — при этом вопросы экономической и политической борьбы неразрывно переплетались, — не были согласны сделать ту остановку, к которой звали меньшевистские вожди.

5 марта Исполнительный Комитет Петроградского Совета уже признал желательным восстановление работ в Петрограде и прекращение забастовки. В тот же день по поручению Исполнительного Комитета Совета Чхеидзе провел соответствующее решение в Пленуме Петроградского Совета большинством 1170 голосов против 30. Шестого марта по тому же пути пошел и Московский Совет, призвав рабочих к прекращению стачки и к политическому и профессиональному строительству. В своем воззвании от 6 марта, Московский Совет рассматривает вопрос о 8-час рабочем дне, как вопрос, в котором победа может быть достигнута только в итоге длительной органической борьбы.

Совершенно правильный лозунг организации рабочих масс здесь отрывается от насущнейших интересов самих рабочих, не связывается с теми экономическими требованиями, которые подготовлялись десятилетиями и которые февральской революцией сразу были выдвинуты как требования текущего дня. Меньшевистская схема революции, отрывавшая организацию от вопроса непосредственной борьбы рабочих за улучшение своего положения,

проявляет себе здесь целиком, — и это в то время, когда весь опыт 1905 года показал, что организация рабочего класса может расти и растет только в борьбе, в процессе борьбы, вокруг вопросов, непосредственно затрагивающих интересы сотен тысяч и миллионов. Как в Петрограде, так и в Москве, а затем и во всей провинции рабочие не прекращали стачки. Советы призывали рабочих к возобновлению работ, об'являли стачку законченной, а рабочие продолжали бастовать и стихийно выдвигали свои требования и, в первую очередь, требование немедленного введения 8-час. рабочего дня.

7 марта Петроградский Комитет большевиков предлагает Исполнительному Комитету Петроградского Совета провести: «немедленно декретом 8-часовой рабочий день во всех областях труда».

В этом постановлении партия большевиков, как единственная рабочая партия, четко формулировала требования подавляющего большинства петроградских рабочих. Напуганное подымающейся волной рабочего движения петроградское общество фабрикантов и заводчиков пытается успокоить рабочих временной уступкой в этом вопросе, и само входит в Исполнительный Комитет Совета с предложением о введении 8-часового рабочего дня в Петрограде.

Таким образом петроградские фабриканты и заводчики здесь проявили больше способности об'ективно оценить положение и сделать из него соответствующие выводы, чем сами меньшевистские лидеры. 10 марта между Петроградским Советом и петроградским обществом фабрикантов и заводчиков заключается соглашение, по которому 8-часовой рабочий день вводится «впредь до издания закона о нормировке рабочего дня».

Тем же самым соглашением на всех заводах и фабриках допускаются фабрично-заводские комитеты и примирительные камеры. В самой формулировке о введении 8-часового рабочего дня впредь до издания общего закона было скрыто истинное намерение предпринимателей путем дальнейшей законодательной нормировки рабочего дня добиться отмены 8-час. рабочего дня. Формулировка, гласившая об учреждении фабрично-заводских комитетов, представляла собой только негодное прикрытие того факта, что они были самочинно учреждены рабочими в момент февраля почти на всех предприятиях Питера, а заводчикам, фабрикантам и меньшевикам задним числом оставалось зарегистрировать этот факт, одновременно пытаясь приписать себе их «учреждение». Приписывая себе учреждение фабрично-заводских комитетов, предприниматели вместе с представителями Совета, одновременно пытаются свести деятельность фабрично-заводских комитетов к представительству рабочих в их сношениях с правительственными, общественными учреждениями и предпринимателями, без предоставления им каких бы то ни было действительных прав.

Пунктом о примирительных камерах они пытаются ввести растущее рабочее движение в рамки соглашений в таких комиссиях, где паритетно участвовали бы предприниматели, с одной стороны, и меньшевистские лидеры рабочих, с другой.

Истинные свои намерения и предположения представители с полной ясностью вскрывают уже 16 марта на совещании у министра торговли и промышленности Коновалова. Представитель Петроградского общества фабрикантов и заводчиков, Эфрон, ознакомил собрание с соглашением о введении 8-час. рабочего дня и вместе с тем указал, что вопрос этот отнюдь не является русским вопросом и что достигнутое в Петрограде соглашение является лишь временной уступкой.

«Торгово-Промышленная Газета» 17 марта сообщила об этом прямо: «Все ораторы, с которыми согласился министр торговли, признали, что сокращение работы и производительности заводов и впредь совершенно недопустимо, так как это убьет страну. Этот министр Коновалов, которого несколько дней назад на заседании Центрального Военно-Промышленного Комитета представители торговцев, промышленников и банкиров приветствовали как одного из достойнейших сынов торгово-промышленной России, которому «по-купечески» низко кланялись представители буржуа, не обманул возложенных на него надежд. Он в заключение совещания 16 марта успокоил собравшихся своим авторитетным заявлением о том, что вопрос о 8-час. рабочем дне «должен послужить предметом осторожной и внимательной политики».

Первый Всероссийский Торгово-Промышленный С'езд, собравший до 1.000 представителей торгово-промышленных организаций, устами приветствовавшего с'езд Рябушинского, лидера коренной великорусской буржуазии, заявил, что вопрос о 8-час. рабочем дне нельзя разрешать в условиях, когда производительность труда очень низка. А непосредственно перед этим с'езд московских предпринимателей в своем постановлении 14 марта высказался против введения 8-час. рабочего дня под предлогом, что он «не может быть рассматриваем, как вопрос взаимного соглашения между предпринимателем и рабочим, так как он имеет значение государственное».

Но не только в Петрограде, но и в Москве, не только в Москве, но и во всей провинции жизнь шла мимо резолюций, решений и жалоб предпринимателей, мимо их соображений о возможности только общегосударственного решения этого вопроса, мимо меньшевистских попыток задержаться на позициях 28 февраля.

Одержав крупную политическую победу 28 февраля и 1 марта, одним ударом разрешив вопрос, который не могли решить месяцы и годы первой российской революции, рабочие таким же ударом решали и решили вопрос о 8-час. рабочем дне.

Стачка политическая, в последние дни февраля выросшая в значительной степени из стачки экономической, немедленно перерастает снова в такую экономическую стачку, с которой не могли справиться ни предприниматели, ни одушевленные своей схемой революции меньшевики. Москва это показывает особенно четко.

Московский Совет сопротивлялся введению 8-час. рабочего дня дольше Питерского. И в Москве действительный характер развернувшейся борьбы именно поэтому вскрылся с большей ясностью, чем в Питере. Доклады пред-

ставителей районов на заседании Московского Совета 21 марта показывают, как рабочие осуществляли 8-часовой рабочий день явочным порядком, вопреки отказу фабрикантов и заводчиков и вопреки волынке меньшевистских лидеров. Эти доклады показывают, что на 21 марта явочным порядком уже ввели 8-час. рабочий день или полностью, или в значительной части районы: Басманный, Благушинский, Лефортовский, Пресненский, Замоскворецкий. Ждут же решения Совета (не предпринимателей, а именно Совета), готовясь, в случае отказа Совета, самостоятельно его декретировать, районы: Хамовнический, Сокольнический, Бутырский, Центрально-Рогожский и Симоновский. Представитель Басманного подрайона сообщил, что бо́льшая часть крупных заводов ввела уже 8 час. рабочий день явочным порядков, остальные же решили его ввести таковым же порядком. Заводы Благушинского района, хотя районное собрание решило выжидать постановления Совета, ввели 8-час. рабочий день, вступая в местное соглашение с администрацией: «при отрицательном решении Совета этого вопроса постановлено ввести его явочным порядком».

В Лефортовском районе, об'единяющем 30 тысяч рабочих, часть фабрик и заводов ввела 8-часовой рабочий день также явочным порядком, часть ждет постановления Совета.

Треть фабрик Краснопресненского района ввела 8-час. рабочий день, а «остальная часть с трудом удерживается членами Совета Рабочих Депутатов, пока этот вопрос не будет решен Советом».

Представители отдельных предприятий Замоскворецкого района иллюстрируют рядом отдельных фактов то, как отстал Совет от рабочих масс.

Представитель завода Густав Лист сообщает, что «рабочие не могут им простить прекращения политической забастовки до введения 8-часового рабочего дня».

Представитель завода Михельсон, требуя, чтобы Совет санкционировал введение 8-час. рабочего дня, сообщает, что по мнению рабочих «Совет Рабочих Депутатов отстает от событий революции».

И даже представитель Сытинских рабочих, где меньшевистская традиция и меньшевистская организация были наиболее крепкими, сообщает, как, с одной стороны, рабочие решили ждать постановления Совета, а с другой — решили приступить к проведению 8-час. рабочего дня в жизнь немедленно.

Так было в районах, где явочный порядок уже победил.

В районах же, где рабочие еще ждут, это ожидание по своей сути мало чем отличается от фактического введения 8-час. раб. дня явочным порядком. Так, представитель Хамовнического района, сообщая о том, что общество типографов мотивирует свой отказ от немедленного введения 8-час. раб. дня позицией Московского Совета, считает, что отрицательное решение Советом этого вопроса «страшно подорвет авторитет его». При этом этот же представитель докладывает, что все равно «введение 8-час. раб. дня уже предрешено» рабочими его района.

Аналогичные сообщения делают представители и Сокольнического и Бутырского районов, указывая, что малейшее промедление со стороны Совета

вызовет громадные осложнения и затруднения, что 8-час. раб. день «будет введен явочным порядком».

Выжидающий еще Центральный район, где районное собрание решило ждать соответствующего постановления Совета, в то же время указывает, что Совет отстает от событий.

Рогожский район после большой борьбы на районном собрании также решил ждать решения Совета, но он требует от Совета соответствующего постановления в кратчайший срок. И только в виде исключения, представитель Симоновского района сообщает о готовности рабочих ждать постановления Советов с тем, чтобы 8-час. раб. день был введен декретом правительства.

При таком положении, когда в большей части Москвы вопрос разрешается явочным порядком, а в другой части даже авторитета Совета хватает только на то, чтобы отсрочить явочное введение 8-час. раб. дня на несколько дней до соответствующего постановления Совета, — что оставалось делать и фабрикантам и меньшевистским лидерам, как не уступить!

Исполнительный Комитет Московского Совета, уяснив, что рабочие массы Москвы не считаются ни с уговором, ни с угрозами и решают вопрос о введении 8-часового рабочего дня своим рабочим методом — явочным порядком, постановляет обратиться к Временному Правительству с требованием издать декрет о введении 8-часового рабочего дня, в Москве же его ввести «не дожидаясь издания такового декрета».

Предприниматели также вынуждены были пойти на уступки, правильнее, они принуждены в той или иной форме санкционировать размеры рабочего дня, установленные рабочими, надеясь, как мы уже видели, в общезаконодательном порядке и в порядке своей дальнейшей организации, своего дальнейшего отпора взять назад то, что было добыто рабочими силой и не было закреплено законом.

На заседании Совета 28 марта представители районов уже сообщают о результатах введения 8-час. рабочего дня и вместе с тем выясняют, как в процессе борьбы за 8-час. рабочий день выросла организация рабочего класса. Борьба за осуществление рабочих требований оказывается лучшей основой для организации, чем какие бы то ни было резолюции и призывы. Ряд предприятий ставит вопрос о повышении зарплаты, требует установления контроля над предпринимателями, которые попытались бы саботировать проведение в жизнь решения Совета путем закрытия предприятий; ряд предприятий требует ревизии Советом дел тех заводов, которые пытаются сокращать производство, ссылаясь на недостаток материалов; ряд предприятий требует введения минимума зарплаты, и, наконец, уже звучит требование конфискации отдельных предприятий у предпринимателей, не желающих вести производство в новых условиях.

За Петроградом и Москвой в движение втягивается и провинция. Здесь события разворачиваются, конечно, медленнее, чем в Петрограде и Москве. Здесь борьба за уменьшение рабочего дня растягивается на месяцы, но вместе с тем она охватывает всю территорию России. В этом одно из коренных отличий революции 1917 года от революции 1905 года. В то время, как в рево-

люцию 1905 года провинция значительно отставала в течение всей революции от своего петроградского авангарда, теперь, в революцию 1917 года, Юг, Московская область, Урал, вся рабочая Россия в течение нескольких месяцев втягиваются целиком в борьбу. Одна из важнейших причин поражения революции 1905 года — отсталость провинции, отрыв провинциальных отрядов рабочего класса от авангарда, здесь дает себя знать только в относительно небольшой затяжке решения вопроса о 8-часовом рабочем дне. Самый факт оттяжки ничего не меняет в том основном положении, что провинция в общем и целом, в значительно большем масштабе и с гораздо большей силой, чем это было в 1905 г., поспевает за своим петроградским авангардом. Впереди идут металлисты, — пункты со значительным количеством металлистов увлекают за собой и остальные отряды рабочего класса. Борьба проходит в петроградских и московских формах.

Так, хотя Харьковский Совет высказался против введения 8-час. рабочего дня явочным порядком, но ему пришлось санкционировать то, что рабочие ввели и без постановления Совета. Так, в Канавине, Нижегородской губернии, где сосредоточено около 16 заводов с 30 тысячами рабочих, Совет Рабочих Депутатов же 27 марта выносит постановление о введении 8-час. раб. дня. То же — в Одессе, Ростове, Екатеринославе, Казани, Саратове, Кременчуге, Екатеринбурге и т. д. и т. п.

По всей провинции преобладает явочный порядок введения 8-час. рабочего дня: с одной стороны, это явочный порядок рабочих, вводящих 8-час. раб. день до постановления соответствующего Совета, а с другой — это явочный порядок Советов, декретирующих 8-час. рабочий день без согласия предпринимателей.

На этой борьбе за 8-часовой раб. день ясно вскрылась классовая природа меньшевистско-эсеровских советов. В отказе от постановки каких бы то ни было требований, серьезно задевающих интересы господствующего класса, — российские меньшевики и эсеры обнаружили, как неразрывно связаны они с крупной буржуазией.

Так ломается, разбивается жизнью меньшевистская схема и на этом этапе революции.

Черта подведена, 8-час. раб. день введен, а жизнь выдвигает новые вопросы, вытекающие из нового положения. Суть этого нового положения в том, что предприниматели готовятся к контр-отпору и в области политики, пытаясь оторвать от рабочих их крестьянского союзника, и в области экономики, пытаясь непосредственными экономическими ударами на отдельных предприятиях подготовить почву для отмены того, чего рабочие достигли в марте месяце. Основной контр-удар буржуа пытается нанести именно в области политики, стремясь на 8-час. рабочем дне сыграть, как на средстве отделить солдат-крестьян от рабочих, показать солдатам, что именно 8-час. раб. день является причиной ухудшения материального положения армии, что рабочие стремятся революцию использовать исключительно в своекорыстных интересах и тем самым наносят удар миллионам крестьянских сынов, стоящим на фронте. Поэтому и следующие шаги рабочих уже носят не столько

характер непосредственной борьбы на фабриках и заводах, сколько борьбы за сохранение, за улучшение связи с солдатской массой, за укрепление союза с крестьянами.

Донбасс.

I.

Наиболее упорное сопротивление введению 8-часового рабочего дня оказали донецкие предприниматели. Они сразу выступают как наиболее организованная часть российской крупной буржуазии. Ее организации охватывают передовую часть российской промышленности, в особенности, в области угля и металлургии. Промышленники Донбасса ведут борьбу с революционным рабочим классом с исключительной уверенностью в своих силах прежде всего потому, что в огромной мере они представляют собой не русский, а владеющий российскими предприятиями французский, английский и бельгийский капиталы, пользующиеся всемерной дипломатической и недипломатической поддержкой «русских союзников».

В то же время рабочие Донбасса представляют собой ко времени революции наименее организованную часть рабочего класса России, с ничтожными кадрами и к тому же с огромным процентом военнопленных, женщин и детей. По 18 металлургическим заводам Донецкого бассейна на 1 февраля 1917 г. из 120 тысяч рабочих 34 тысячи, т.-е. 28,3% было военнопленных, 17 тысяч, т.-е. 14,1%, было женщин и детей, а из остальных рабочих — 46 тысяч (38,3%) было военнообязанных, т.-е. связанных не только хозяйской, но и военно-полицейской дисциплиной. Из общего количества 200 с лишним тысяч рабочих угольной промышленности к началу 1917 года приходится до 25% военнопленных и 15% женщин и подростков. При ничтожной, нищенской, полуголодной заработной плате 12-часовой рабочий день был правилом.

Предприниматели Донбасса первые недели революции отказываются от каких бы то ни было разговоров об уступках рабочим. Для крепости они связывают себя взаимным договором о запрещении частичных уступок в отдельных преприятиях. Временное Правительство уже 19 марта в своих воззваниях к рабочим Донбаса и рабочим металлургических южных заводов призывает их к напряженному труду во имя интересов обороны страны, умалчивая совершенно даже о возможности увеличения заработной платы; по вопросу же о продолжительности рабочего дня Временное Правительство в этих же воззваниях сообщает, что оно «озабочено» выработкой соответствующих мер.

Поскольку эти заботы не нашли выражения ни в каком законодательном акте правительства, рабочим Донбасса приходилось или на слово верить Львову, Керенскому, Коновалову и прочим министрам, подписавшим эти воззвания, или добиваться улучшения своего существования своими способами — забастовками.

В марте месяце стихийное брожение в широких слоях донецкого пролетариата, начавшееся еще до революции, усиливается, охватывая все бóльшие районы и все бóльшие кадры рабочих. Промышленники вместе с социа-

листами 28—29 марта на совещании представителей каменноугольной, антрацитной, железо-рудной, соляной и металлургической промышленности ищут средства успокоить рабочее волнение. В своих резолюциях предприниматели торжественно признают в принципе 8-час. рабочий день и даже высказываются, опять же в принципе, за его введение. Но вслед за этими принципиальными признаниями, во 2 пункте этой же резолюции, они утверждают, что немедленное, уже не принципиальное, а практическое введение 8-час. рабочего дня возможно только на предприятиях, где «это не повлечет за собой сокращения производительности». А для ублаготворения меньшевистских представителей Донецкого бассейна, заключавших соглашение с капиталистами от имени донецких рабочих, особым пунктом раз'ясняется, что старый рабочий день будет считаться 8-часовым, но при обязательных сверхурочных работах «в пределах времени прежнего рабочего дня».

Заработная же плата по решению этого же совещания повышается на 50% для всех категорий рабочих при минимуме в 2 руб. 50 коп. за 8-час. рабочий день.

В свою очередь конференция меньшевистских советов, чтобы ублаготворить рабочих, обратилась к ним с «горячим призывом» — работать старые 12 часов за гроши «спокойно и дисциплинировано».

12 апреля примерно те же решения принимает состоявшаяся в Екатеринославе конференция представителей металлургической промышленности. Итоги этой политики союз промышленников юга России имеет возможность подвести уже 18 апреля в своей телеграмме правительству, в которой сообщается о том, что рабочие арестовывают лиц рудничной администрации и охвачены анархическими настроениями. Промышленники умоляют правительство обратиться к рабочим с раз'яснением о недопустимости смещения администраторов. В наивности сердечной они просят ускорить приезд члена Государственной Думы Тулякова для уговаривания рабочих. Другой участник мартовского соглашения — Сандомирский, представитель меньшевистских союзов, примерно о том же сообщает 16 марта Петроградскому Исполнительному Комитету Советов. В итоге, в конце апреля промышленникам пришлось беспокоиться вновь по вопросу о рабочем дне и зарплате. На этот раз меньшевики, чтобы не терять доверия рабочих масс, выставили требования введения минимума заработной платы в 4 рубля. Промышленники оставались неумолимыми. Да и глупо было бы им уступать, имея таких контрагентов, как Сандомирский, способного на самую хлесткую речь в рабочей аудитории и к одновременным уступкам предпринимателям по всей линии. Милые друзья, о которых русский человек уже давно сказал: «милые бранятся, только тешатся», двигаются совместно в Петроград. Там идет высококвалифицированная меньшевистская канитель. Разговаривают, соглашаются, не договариваются до самого конца мая и, наконец, договариваются до назначения правительственной комиссии под председательством некоего демократа из крупных буржуа, Сипайло, а рабочие и обещанных двух с полтиной, как минимум, не получают.

Плоды этой политики, где организованные промышленники вместе с квалифицированными меньшевиками противостояли организованным рабочим массам, Временному Правительству пришлось пожать целиком в следующие месяцы революции, особенно в Октябрьские дни.

II.

Деловая программа российской крупной буржуазии наиболее точно была сформулирована вождем южного металлургического угольного капитала фон-Дитмаром еще за месяц до июльских дней. Эта программа сводилась к полному восстановлению всевластия заводчика и фабриканта во внутренней жизни предприятия, с таким же восстановлением и установлением твердой власти буржуазии и в стране. Это был своеобразный манифест, декларация, изложенная в виде докладной записки Временному Правительству от представителей каменноугольной, антрацитной, железо- и марганцево-рудной, соляной, металлургической, паровозо- и машиностроительной, металлической, химической, стекольной, керамической и других отраслей фабрично-заводской промышленности. Промышленники начинали с увесистых крокодиловых слез. Они и рабочих ублажают и так и этак, они «благо родины» видят в «отсутствии классовой борьбы». Они «несомненно работают в убыток» и т. д. А рабочие в ответ насильственно удаляют начальствующих лиц, «вмешиваются в распоряжения рудничной и заводской администрации», стремятся через заводские комитеты «подчинить себе всех служащих и рабочих, принимая и увольняя их по собственному усмотрению и ведя контроль над всем производством и распоряжениями владельца или его доверенных». И совсем уже стоном звучит описание того, как «идет захват земли, помещений, инвентаря, производятся незаконные аресты «свободных» граждан, отдаются приказы какими-то самочинными комитетами, производятся захваты управлений фабриками и заводами»...

Русские или, правильнее сказать, английские, французские, бельгийские угольные и железные короли не были бы королями, если бы они ограничились только стоном, в котором было 90 процентов преувеличения и 10 процентов правильного предвидения грядущих событий. Поэтому между слезами у предпринимателей рассеяны в весьма изрядном количестве угрозы, на которые они, очевидно, возлагали свои основные надежды. В торжественной форме правительству сообщается о том, что промышленники ошиблись в своих надеждах на Временное Правительство. Промышленники грозно и внушительно запрашивают правительство, для какой выгоды они оказывали ему «всеобщее, радостное доверие и уважение», когда их «надеждам не суждено было сбыться и уверенность в достижении конечной цели на фронте и в тылу поколеблена».

А затем уже по-хозяйски они решительно заявляют: «так дальше вести дело нельзя». Ежели бы, паче чаяния, правительство оказалось недостаточно сообразительным, то для вящшего уяснения промышленники сообщают, что в случае, если «останется, как есть», то «капитал уйдет из промышленности». И далее — «принятие каких-то боевых или непродуманных мер против капи-

тала, очень часто иностранного, может подорвать государственный кредит России и лишить промышленников капитала и кредита, без чего промышленность итти не может»...

Мы видим здесь арсенал крупной буржуазии в полной боевой готовности: и поддержки обещают лишить, и промышленность остановить, и страну лишить иностранного кредита. За артиллерийской подготовкой идет краткая и ясная программа: «Точно и ясно подтвердить особым декретом населению: 1) что все законы, не отмененные указами Временного Правительства, существуют в полном об'еме; 2) что неисполнение и нарушение законов влечет для виновных законную ответственность и соответственную кару».

Поскольку почти никаких указов Временное Правительство не успело к этому времени издать, это требование по существу сводилось к восстановлению в полной мере царского законодательства. Дальше в этой же декларации Вр. Правительству промышленники заявляют: необходимо «обеспечить исполнение законов решительным принятием соответствующих мер, вытекающих из прав Временного Правительства, как верховного источника власти»... «Мы должны поставить категорически вопрос Временному Правительству, какова его экономическая и хозяйственная программа». Здесь дело сводится к требованию установления той диктатуры, которая после июльских дней из подполья Дитмара-Керенского выходит на открытую арену политической борьбы.

На-ряду с этими политическими требованиями, сводящимися к установлению буржуазной диктатуры, действующей царскими законами, имеется, конечно, и ряд требований экономических. Здесь и требование привлечения к промышленной и торговой деятельности русского и иностранного капитала, и обеспечения предпринимательской инициативы, и гарантий для правильной и спокойной работы предпринимателям, требование широкого привлечения предпринимателей к осуществлению соответствующих экономических законов и, наконец, требование не трогать предпринимательских прибылей (а для того, чтобы Керенскому облегчить сохранение предпринимательских прибылей, услужливо сообщается, что «факт получения предприятием по балансу прибыли» отнюдь не означает возможности что бы то ни было отчудить от предпринимателя. Балансовая прибыль, де, показывает только «увеличение актива или уменьшение пассива предприятия», вызываемые развитием производства). Заключительный аккорд этого документа, подписанного председателем конференции промышленников юга России фон-Дитмаром и членами конференции Козакевичем, Тикстоном и Эйлером, звучит категорическим приказом:

«Мы считаем долгом доложить правительству наше категорическое мнение о *необходимости властно и авторитетно принять меры против политического и экономического разложения, которые ведут отечество к гибели»* [1])

[1]) Курсив подлинника.

Это был тот приказ правительству Керенского быть готовым к выполнению буржуазной программы, или быть прогнанным, на который в июльские дни правительство ответило:

«Всегда готов!».

III.

В Донецком бассейне, как мы уже видели, буржуазия держалась особенно упорно в течение первых месяцев революции, не уступив даже в вопросе о 8-часовом рабочем дне. Основой этого были три обстоятельства:

1. В Донбассе имелась на-лицо исключительно мощная организация буржуазии.

2. Рабочий класс Донецкого бассейна был одной из наименее организованных частей российского рабочего класса.

3. Соглашатели меньшевистских и эсеровских покроев были исключительно квалифицированы в деле обмана рабочих и соглашения с буржуазией.

Из этих трех обстоятельств — наиболее организованная буржуазия, наименее организованные рабочие и наиболее квалифицированные соглашатели, — казалось бы, создавались условия, благоприятные для удержания власти буржуазией. Но в революционных условиях именно эти моменты повели к последствиям, обратным тем, которых ждали Дитмары и Сандомирские. Упорство мощной буржуазии вело к массовому озлоблению, к огромной стихийной ненависти рабочих масс, а медленный рост рабочих организаций придавал этой борьбе стихийный, неорганизованный и тем более решительный характер. В итоге — Донецкий бассейн к Октябрю

1) находился в состоянии хозяйственной катастрофы,

2) стихийная рабочая стачка перерастала в открытую гражданскую войну,

3) самые хитроумные приемы меньшевистского соглашения лишь еще и еще раз вскрывали жалкое бессилие этих приемов в деле разрешения всех скопившихся противоречий.

Рассмотрим все эти три основных момента, характеризующие состояние Донецкого бассейна к Октябрю.

Хозяйственная катастрофа характеризовалась: а) полной дезорганизацией промышленности, возраставшей от месяца к месяцу; б) расстройством транспорта, исключавшим возможность какого бы то ни было планового ведения хозяйства; в) с огромной быстротой возрастающей изношенностью всего шахтного оборудования, грозящей разрывом шахтных канатов, порчей клетей, насосов, котлов, барабанов и т. д.; г) падением производительности труда, которая к Октябрю, как мы уже видели, сократилась почти вдвое по сравнению со средней производительностью 1912—1915 г.г. (около 400 пудов в месяц, вместо 800); д) все бо́льшим преобладанием в составе рабочих военнопленых, женщин и детей; е) общим количеством рабочих, превышавших почти в полтора раза количество рабочих в начале войны и все же в общей сумме производивших значительно меньше того, что производилось до войны

и в первый год войны; ж) падением месячного вывоза минерального топлива, ставившего под угрозу железные дороги и петроградскую промышленность (в сентябре 1917 года вывезено 110 миллионов пудов угля вместо 149 в 1916 году и 83 миллиона пудов антрацита вместо 113 в сентябре 1916 года); з) все растущей продовольственной катастрофой; и) массовым закрытием предприятий и вытекающей отсюда массовой безработицей, и к) наконец, полным разрывом общественных, социальных связей внутри предприятия, превращавшим администраторов из хозяев в пугало, которое никого не пугает. О последнем в паническом воззвании от имени совета с'ездов горнопромышленников Юга России 14 октября сообщал тот же Дитмар: «Повальное безумие готово овладеть массами и, если такое положение не прекратится самыми решительными мерами, наступит неминуемая гибель Донецкого бассейна, а с ним и всей России».

Это фон-Дитмаровское обращение можно было счесть пророческим, если бы в нем не было не соответствовавшей действительности подстановки себя под Россию и «безумия» под массовое, неудержимо развивавшееся и превращавшееся в восстание рабочее движение... И действительно, иначе, как безумием не мог представляться выросшему на дрожжах российского казенного и иностранного капитала фон-Дитмару тот непрерывный распад всех обычных внутрипроизводственных связей, который происходил неуклонно во всей промышленности Донецкого бассейна. Слабая организованность рабочего класса, нищета, голод, отчасти темнота здесь мстили за себя такими формами борьбы с предпринимателями, которые в гораздо меньшей степени практиковали более организованные передовые элементы рабочих, как например металлисты.

Рабочие Донбасса заставляют предпринимателей и администрацию подписывать соответствующие уступки путем насилия. Типичен метод переговоров о прибавках на Берестовском руднике. Рабочие вызывают управляющего заводом на собрание и здесь требуют от него прибавки в размере 50%, начиная с 1 марта 1916 года и по 30 марта 1917 года, «угрожая в случае отказа одеть на него мешок и избить». Управляющий употребляет военную хитрость, обещает с'ездит в центр, в Харьков и привезти оттуда положительное решение, а, освободившись из рабочих рук, бежит в Харьков, закаявшись возвращаться обратно.

Бывали и другие формы пред'явления требований рабочих. Так, Исполнительный Комитет Екатерининских угольных копей попросту предписывает кассиру уплатить рабочим заработную плату «с причитающимися процентами», а во избежание каких бы то ни было недоразумений этот приказ поясняется: «настоящего просим придерживаться неукоснительно, *не считаясь ни с какими постановлениями по этому поводу от администрации*» [1]).

Директор Франко-Русского общества подписывает прибавку под угрозой ареста, то же — директор Рыковского рудника.

---

[1]) Курсив подлинника.

Не менее часты случаи принудительного удаления администрации рабочими. В тех же Екатерининских копях Исполнительный Комитет, удалив одного из инженеров и бухгалтера, в раз'яснение этого удаления, предписывает заведующему конюшней «не давать выездных лошадей инженеру З. и бухгалтеру А. ввиду удаления их с рудника».

Переселяются в город и оставляют рудники руководители рудников Екатеринославского общества, Общества южно-русской каменноугольной промышленности. Администрация удаляется в предприятиях Акционерного О-ва Брянских каменноугольных копей, на Александровском заводе Брянского О-ва удаляют помощника директора, начальника железнодорожного цеха и несколько служащих.

Об'единенное заседание Боково-Хрустального и Щетово-Картушинского горных районов удаляет горного техника ввиду того, что «его присутствие в какой-либо промышленности, как черносотенца и ярого угнетателя рабочих, недопустимо».

Представители администрации не только удаляются, но при этом частенько арестовываются. Так, еще в июне месяце управляющий рудником братьев Яковенко был арестован во время пожара; управляющий рудником Первозвановского Т-ва был арестован и к тому же предварительно обыскан. Рабочие Пастуховских рудников арестовывают инженера, отказавшегося подписать прибавку в 20%. Совет рабочих депутатов Щербиновского, Северного рудника и др. запрещают выезд лицам администрации из рудничных районов. На руднике Анонимного О-ва «Русский Антрацит» на заседании совета избивают управляющего рудником горного инженера Пичука. В том же Боково-Хрустальном районе арестован один из владельцев, управляющий и доверенный Михайловского рудника. Инженер Лысьвенского завода был убит. Директор-распорядитель Сулинского завода арестовывается за отказ увеличить заработную плату. На Макеевском заводе дважды стреляют в начальника литейной мастерской французского гражданина инженера Реми. На заводе Никополь-Мариупольского О-ва избивают и вывозят на тачке инженера Ясинского и т. д.

Не доверяя руководителям предприятий, находясь перед фактом массового их бегства, рабочие все больше и больше вмешиваются в административно-хозяйственные и финансовые работы предприятий. Так было в Екатерининских копях, в Т-ве Мариинских копей, Щербиновском, Северном руднике и др., где рабочие запретили вывоз вещей и материалов без ведома своих органов. Для наблюдения за администрацией на Юзовском заводе, где рабочие явочным порядком вводят 8-часовой рабочий день, поставлен специальный контроль на телефонном аппарате. То же на Мариупольском заводе О-ва «Русский Провиданс».

Иллюстрацией того, как администрация сама вызывала рабочих к решительным действиям, может показать хотя бы следующее письмо председателя совета Ясиновских и Андреевских рудников «господину директору». Письмо сначала подробно описывает «деятельность» господина директора, его нежелание считаться с рабочей организацией, его стремление закрыть пред-

приятие, недопущение им заседаний комитета, увольнение наиболее видных представителей рабочих, подкупы, оговоры, провокационные донесения во все учреждения о несуществующих волнениях на рудниках, ходатайство у Каледина о присылке вооруженной силы. Председатель, не ограничиваясь этим перечислением, указывает «господину директору», что все это «...характерно для вас, не желающего примириться с изменившимися условиями жизни и мечтающего о блаженном прошлом, о времени бессовестной эксплоатации трудящихся масс капиталистами, опирающимися на штыки и плети».

И в заключение:

«Ограничиваясь пока краткой характеристикой вашей провокационной деятельности, мы требуем немедленного ответа, подтверждающего ваше решение прекратить работу на рудниках, дабы иметь возможность более подробно осветить вашу деятельность перед всей революционной демократией и добиться от подлежащих властей и учреждений немедленного отстранения вас как директора-распорядителя от занимаемой вами должности».

А предприниматели все в большем размере применяют метод локаута. Синдикат «Продуголь» выносит особое постановление, рекомендующее останавливать заводы в случае «анархии», т.-е. в случае вмешательства рабочих в производство. Останавливают свою работу, по сообщению самих же предпринимателей, антрацитовое т-во Севастьянов, Дулин и др. «вследствие угрожающего настроения рабочих и чрезмерных требований». О политике локаута откровенно телеграфирует войсковому атаману, генералу Каледину, областному комиссару Временного Правительства, прокурору Новочеркасской судебной палаты, юго-восточному горному управлению и командиру казачьей сотни в Макеевке заместитель председателя Совета С'ездов:

«Если в кратчайший срок эти эксцессы не будут подавлены... рудники остановятся».

Так, неорганизованность рабочих Донбасса, на которой ездили господа предприниматели, русские и заграничные, в течение десятилетий, за счет которой французский, бельгийский и английский рантье выколачивали сказочные прибыли, отомстила за себя во дни революции неорганизованными, но массовыми, стихийными насилиями, стачками, убийствами.

И все же организация рабочего класса в Донецком бассейне росла и к Октябрю обнимала довольно значительную часть донецкого пролетариата, становясь постепенно все более большевистской.

Если металлистов к большевизму приводила организованная борьба за тариф, все более ясное понимание неразрывной связи экономики с политикой, то донецких рабочих к этому же выводу, к этому же большевизму привел иной путь. Детские болезни рабочего движения, которыми полна история 1917 года в Донецком бассейне, изживают себя созданием здесь в конце 1917 г. довольно крупных профессиональных организаций и в переходе значительного большинства советов под руководство большевистской партии. Этот путь отличался от путей металлистов и тем, что в месяцы было проделано то, на что в условиях мирного развития понадобились бы

В этой стихийной борьбе с предпринимателями росла сплоченность и организованность рабочего класса. Начальный период развития организации донецкого пролетариата характеризовался стихийным возникновением местных советов, фабрично-заводских комитетов, рудничных комитетов. Между отдельными организациями еще не было почти никакого разделения функций. Но уже и в это время, по верному замечанию даже буржуазной «Торгово-Промышленной Газеты» — «нет почти никакой области в общественной, политической и экономической жизни горнопромышленного юга, куда бы отдельные советы рабочих депутатов по их мнению не имели бы права вмешиваться».

Правительственное положение о фабрично-заводских комитетах игнорируется при этом всеми рудничными и заводскими комитетами, занимающимися продовольственными, техническими, культурно-просветительными и другими делами. Профессиональное строительство идет очень медленно,—профсоюз горняков насчитывает к самому Октябрю около одной трети всех рабочих, — не больше 100 тысяч членов, к тому же больше числящихся на бумаге, чем действительно сплоченных в единую организацию. И в этих условиях, несмотря на относительную слабость партийной большевистской организации, рабочие стихийно превращались в большевиков и заменяли большевиками меньшевиков на всех профессиональных, заводских и советских постах. И больше того, рабочие, считавшие себя меньшевиками де-юре, ничем де-факто от большевиков не отличались, идя часто в одном ряду со всеми донецкими пролетариями. Это доказали и первая конференция рудничных комитетов в Дебальцеве и областная конференция горняков в Харькове, происходившие в начале Октября. Донецкая конференция клеймит хищничество предпринимателей, констатирует полуголодное и нищенское существование донецких рабочих, отмечает массовое бегство администрации с предприятий и требует немедленного введения минимума заработной платы, улучшения продовольственного положения Донецкого бассейна и проведения рабочего контроля. Областная конференция горняков, формально делившаяся на три равных части (47 большевиков, 41 меньшевик и 37 эсеров), идет под преимущественным большевистским влиянием. Большевики, например, настаивают на обсуждении вопроса о регулировании хозяйственной жизни в пленуме в первую очередь. Меньшевистские и эсеровские лидеры—против, а большинство голосует за предложение большевиков. Председательствует большевик Артем. То же — по вопросу о задачах профессионального движения. Конференция высказывается за немедленное введение рабочего контроля, организацию планомерного распределения продуктов, за переход власти в руки советов: «Профессиональные союзы в состоянии будут полностью осуществить стоящие перед ними ответственные задачи лишь тогда, когда власть в стране перейдет в руки рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».

Так и донецкие рабочие требованием установления Советской власти подводят итог всей семимесячной борьбе с саботажем наиболее организованных в России предпринимателей.

Оказывается, что пути, которые вели донецких рабочих к этому выводу, были столь же верными, как и те пути, которые привели более организованных металлистов и текстильщиков к этому же выводу в те же последние дни существования Временного Правительства.

Где было искать спасения от негодования рабочего класса иностранным господам Донецкого бассейна, как не у истинно-русского вождя казацкой контр-революции, генерала Каледина.

В Каледине и в казацкой нагайке к Октябрю ищут своего спасения все предприниматели Донбасса. Казаками наводнили прежде всего восточную часть Донецкого бассейна, формально входившую в область Войска Донского.

Фон-Дитмар в особом письме в газеты сообщил о том, что размещение войск не имеет никакой политической подкладки, что оно преследует только цели сохранения порядка и устранения анархии (мы видели неоднократно уже что под анархией промышленники понимали все формы рабочего движения). Одновременно он сообщает, что «воинские части в Области Войска Донского размещаются по распоряжению Временного Правительства».

А представители Временного Правительства на соединенном заседании экономической комиссии Главного Экономического Совета в Петрограде заявляют, что «казаки посланы войсковым правительством, которое действовало всецело в пределах своих полномочий, и поэтому постановление его о посылке казаков не может быть отменено центр. правительством».

В этом комическом сваливании друг на друга вины за посылку казаков в Донецкий бассейн отражается вся беспомощность буржуазного правительства в последние дни своего существования, когда и хотелось расстрелять рабочих и кололось от красногвардейского штыка очень и очень больно. Действительного автора казацкого метода расправы с рабочими обнаруживает одно из распоряжений, посланных из Новочеркасска Таганрогскому начальнику милиции, где говорится прямо о посылке Донского казачьего полка в Ровеньки, Ново-Жавловку, Макеевку, по «ходатайству» особого совещания по топливу при министерстве торговли и промышленности. А тут же в Главном Экономическом Совете, где министерство торговли и промышленности принимало самое непосредственное, если не решающее участие, его представители открыто сообщают представителям меньшевистской революционной демократии, что не в их компетенции находится посылка казаков в Донбасс.

На заседании важнейшей комиссии одного из главнейших органов революционной демократии, Главного Экономического Совета, сидят рядышком социалисты из Исполнительного Комитета Совета и представители столь же социалистического правительства. Социалисты из Исполкома грозно требуют от социалистов из правительства «удаления из Донецкого бассейна казаков» (по протоколу!), а представители социалисты из правительства отвечают своим коллегам из Исполнительного Комитета — не мы послали, не центральное правительство, а правительство войсковое, и отменить посылку не можем, мы не в праве нарушить законных полномочий Каледина.

Пока разные социалисты спорили между собой о том, кто посылал казаков, текущая газетная летопись отмечала: появились казаки во главе с Калединым. Они были расположены от станции Ханжонково до Таганрога, они охраняли железные дороги. На рудниках появились эскадроны казаков. А рабочие и крестьяне требуют их удаления, но бесполезно.

Появление казаков во всех районах было той искрой, которая превратила Донецкий бассейн в пылающий костер гражданской войны. Район за районом об'являет забастовку протеста против появления казаков. Рудник за рудником, совет за советом выносят решение, что всеобщая забастовка начнется с 10 октября, если немедленно казаки не будут выведены. Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Боково-Хрустальского и Картушинского районов 29 сентября заявляет, что рабочие и крестьяне считают позором видеть над собой штыки и нагайки и заявляют: «если до вторника 10 октября вооруженные казаки не оставят районов, мы, в знак энергического протеста, об'являем забастовку всех рабочих, а в случае насилия над нами, мы применим все формы отчаянного террора»... Такую же резолюцию выносит Макеевский горный округ. 10 октября последний начинает стачку. К резолюции макеевцев присоединяются рабочие рудников Дарьинско-Донецкого Акционерного О-ва, не желающие работать «ни под штыком и нагайкой, ни под насилием произвола», и они от имени не только рабочих, но и крестьян заявляют, что с контр-революционными выступлениями казаков будут бороться всеми средствами, «вплоть до применения террора».

Начинает забастовку Кадиевский район. Борьба против казаков превращается в борьбу против Временного Правительства, борьба против Временного Правительства превращается в борьбу за Советскую власть. Правительство, согласно предложению Главного Экономического Совета и меньшевистского Центрального Комитета, решает послать для примирения диктатора, который бы сорганизовал согласительную комиссию и всех примирил. Об отзыве казацких войск ни слова. Об исключительных полномочиях предполагаемого диктатора — 22 пункта, где предусматривается ничем не ограниченная власть его над рабочими, при чем все местные власти обязываются беспрекословно повиноваться диктатору, действующему «по соглашению с войсковым наказным атаманом области Войска Донского».

Сверх скорпионов для рабочих «на выдачу авансов в счет испрашиваемых у Временного Правительства ссуд и субсидий ассигнуется 10 милл. рублей». Соглашение с Калединым, подачка в 10 милл. предпринимателям плюс предоставленные права закрывать предприятия в случае нарушения нормальных отношений между предпринимателями и рабочими. Особоуполномоченный комиссар Донецкого горнопромышленного района, некий господин Орлов, успел еще создать в Харькове согласительную комиссию. Согласительная комиссия усердно работала, но вопросы, которые она решала, разрешались уже не руками правительственного чиновника, а штыками петроградских красногвардейцев и донецких шахтеров, гнавших калединских казаков прочь из Донецкого бассейна.

От Эберта к Гинденбургу.

А. Тальгеймер.

Гинденбург на посту рейхспрезидента, Гинденбург — преемник Эберта — уж не глупый ли это каламбур, не идиотская ли выдумка немецкого филистера? Факт сам по себе столь чудовищен, столь фантастичен и столь позорен, что кажется издевательством над логикой. В действительности же это в столь же малой мере каламбур немецкого филистера, как избрание Луи Бонапарта в 1851 году — каламбур французского крестьянина. Оба эти события являются звеньями железной цепи исторического развития. Здесь, как и там, герой в «высшей степени посредственная личность», не имеющая ничего общего чудотворцем. Луи Бонапарт занял исторический пост в качестве племянника своего дяди, семейного отпрыска Бонапартов, обвеянного чарами наполеоновской легенды. Гинденбург обязан своим успехом тому, что он — популярнейший носитель легенды времен войны. Здесь, как и там, исторические классы выдвигают личность в качестве символа. Расшифровать при этом надо классовые силы, пользующиеся этими символами.

Приходом Гинденбурга на смену Эберту почти завершился круг попятного исторического развития со времен ноябрьской революции. Эберт получил полномочия рейхсканцлера из рук принца Макса Баденского, чтобы вслед затем стать «народным комиссаром» милостью берлинского Совета рабочих и солдатских депутатов. Он был связующим звеном между закатывающейся монархией Гогенцоллернов и восходящей республикой. Гинденбург получает свои полномочия от обанкротившейся республики, он призван служить связующим звеном между нею и вновь восходящей монархией. Эберт подписал Версальский договор, знаменующий бессилие Германии, Гинденбург призван ускорить его аннулирование и восстановить старую славу империи. Эберту сопутствовал экономический развал, Гиндебургу должен сопутствовать под'ем. Таков наглядно ясный смысл избрания Гинденбурга.

Но старому так просто не воротиться, Германии уже не восстановить своего довоенного положения. В семилетие революции и контр-революции успела с 1908 г. сформироваться новая Германия с новыми экономическими отношениями, новым классовым строем, новым политическим соотношением сил, новыми запросами, новыми движущими силами, новыми проблемами и даже новой идеологией. Революционные стимулы времен войны исчерпаны.

Создался новый отправный пункт. Но пусть германская буржуазия и тень ее — социал-демократия, не думают, что революция умерла навсегда, они скоро убедятся, что это не так. Новая ситуация таит в себе новые революционные движущие силы, зреющие в ее недрах по мере ее развертывания, — силы, сулящие значительно расширить базис революции по сравнению с ноябрьской революцией. Германской стабилизации тоже не избегнуть революционного закона диалектического развития.

Ниже я пытаюсь дать анализ исторического развития от Эберта к Гинденбургу, в его основных чертах.

1. Ход германской и русской революций.

Чтобы дать русскому читателю наглядное представление о ходе революции в Германии, лучше всего сопоставить его с ходом русской революции. Почему русская революция в какие-нибудь 8 месяцев одержала победу и шагнула от полуфеодального царизма через голову демократической республики к социалистической советской республике, тогда как германская революция спустя два месяца после своего начала уже достигла своего кульминационного пункта и пошла по нисходящей линии? Поворотным пунктом германской революции надо считать январские бои 1919 года в Берлине, так называемую «Неделю Спартака».

Проанализируем прежде всего об'ективные факторы. Носителем русской Февральской революции были рабочий класс, мелкая буржуазия и в первую голову крестьянские массы и буржуазия. Буржуазия приняла участие в революции, потому что царизм спасовал и обанкротился в качестве орудия империалистической войны. Она готова была его смести, чтобы продолжать войну при помощи буржуазной демократии. Рабочий же класс хотел окончания войны, жаждал мира, стремился разбить цепи экономического рабства. Крестьянская масса хотела мира и первым делом отмены полуфеодальных крепостнических отношений в деревне, она жаждала получить помещичью землю. Таким образом образовалась классовая смычка между пролетариатом и крестьянством, при чем руководящая роль выпала, разумеется, на долю пролетариата, и революции было суждено сломать рамки буржуазного государства: размах и глубина ее неуклонно росли и в конечном счете буржуазия и помещики были свалены в сорную яму истории. Этому благоприятствовал момент смертельной схватки двух враждующих групп мировой буржуазии.

Выделим же крупнейшие суб'ективные факторы. Царистский правительственный аппарат насквозь прогнил и разложился. Армия разложилась, бюрократия дезорганизовалась.

Крупная буржуазия была слабо организована, политически неопытна, она не обладала ни знаниями, ни навыками в области «демократического» управления страной. Крестьянская масса искала политического контакта. Рабочий класс, закаленный длившейся десятилетиями борьбой против царского абсолютизма, имел в лице большевистской партии немногочисленные,

но крепкие как сталь революционные кадры, вокруг которых могла группироваться неорганизованная городская и сельская масса.

Что касается Германии, то правивший до сих пор страной слой монархический, — помещики и опомещившаяся бюрократия тоже оказались бессильны довести империалистическую войну до победоносного конца. Буржуазия была готова от них отделаться. Но ей нечего было и думать о продолжении войны. По ее указке Шейдеман и Эберт заключили перемирие и мир. Чудовищная революционная тяга к миру была удовлетворена социал-демократией. Одно время эта тяга принималась за тягу к социализму, оказалось же наоборот: потребность всех классов в мире была враждебна дальнейшему развертыванию революции. Вся мелко-буржуазная масса и подавляющая часть рабочего класса боялись, как бы дальнейшее развертывание революции не привело к новым конфликтам и к новой войне. Вот почему они активно или пассивно боролись с союзом Спартака.

Германская буржуазия поторопилась как можно скорее удовлетворить неотложнейшие экономические потребности народной массы. Зная, что народ изголодался, буржуазия стала подвозить сало и муку из Америки. Разве социалистическая революция, победа Союза Спартака не грозили исчезновением сала и муки и новым голодом? Продовольственная помощь России, русский хлеб был журавлем в небе, а американское сало — синицей в руках. Этого мало: германская буржуазия, руководимая правильным инстинктом, шла на дальнейшие практические уступки. Она быстрым темпом провела демобилизацию и открыла рабочим двери фабрик, допустила создание фабзавкомов, согласилась на введение 8-часового рабочего дня и т. д. Коротко говоря, она своевременно пошла на уступки, расколовшие рабочий класс.

Крестьянин хотел мира, — он его получил. Земли он не жаждал. Ее дала ему буржуазная революция 1848 года. Борьба против феодализма и полуфеодализма оставалась позади. Бороться против городского крупного капитала и помещика он пока не считал нужным. За войну он досыта об'елся, в то время как городское население голодало. Правда, государство устанавливало принудительные максимальные цены на продукты его хозяйства, но потери здесь он наверстывал при помощи спекулятивной торговли. Революционные стимулы, ломающие рамки буржуазного государства и буржуазного государственного строя, крестьянину были чужды.

Что касается наиважнейших суб'ективных факторов, необходимо отметить следующее. В Германии в ту пору имелась хорошо организованная умеющая маневрировать, прекрасно искушенная в искусстве демократического надувательства народа, буржуазия, все еще мощная социал-демократическая профсоюзная организация и лишь юные и слабые революционные кадры.

Таким образом ход событий резко отличался от происходившего в России. Каких-нибудь два месяца спустя после начала ноябрьской революции движение уже пошло вспять. Революционный авангард оказывается изолированным от широкой массы. Он терпит решительное поражение — сначала в Берлине, вслед затем и по всей стране.

Параллельно этому начинает подымать голову контр-революция — сначала все еще под прикрытием социал-демократии. Непосредственно вслед за 9 ноября наиболее решительные буржуазные круги (в том числе Эрцбергер) приступают к организации белогвардейских отрядов. Их перенимает Носке (не он их создавал); он их оформляет и дает при помощи их бой в 1919 и 1920 г.г. Начальники этих белогвардейских отрядов — решительные и ловкие молодые кадровые офицеры, активные унтер-офицеры, офицеры резерва, превратившиеся в ландскнехтов во время войны молодые парни, — крестьянские, мелко-буржуазные сынки, не сумевшие вернуться в старое русло мещанского существования.

Начальники белогвардейских отрядов спасали Эберта и Шейдемана от бурного натиска Спартака. Они чувствовали себя господами положения. Эбертов, Носке и Шейдеманов не только презирали, за измену национальным интересам Германии, — но и ненавидели, как выскочек, завладевших командными постами, составлявшими, по их мнению, неот'емлемую собственность привилегированных прежде классов. Путем капповского путша (март 1920 г.) они пытались захватить в свои руки власть. Попытка эта потерпела крушение благодаря всеобщей стачке рабочих, служащих и чиновников, призванных на помощь Эбертом и Шейдеманом. Решающую роль в данном случае сыграли демократические иллюзии, державшее в плену широкие массы трудящихся.

Корниловский путш 1917 года, как известно, имел результатом колоссальный шаг вперед пролетарской революции, вооружение пролетариата, рост его самосознания, рост недоверия к Керенскому; капповский путш, наоборот, закончился поражением и разоружением революционных рабочих центров и в частности промышленного пролетариата вестфальской химической промышленности, стремившихся двинуть революцию дальше. А так как революция в результате капповского путша вперед не двинулась, то двинулась контр-революция. Капповский путш несколько пришпорил контр-революцию, он выдвинул на фронт контр-революции руководящие кадры, работающие осторожнее, планомернее и шире. Весьма характерно, что бразды правления попали в руки генерала Секта. Он не хотел компрометировать себя в капповском путше, не пожелал открыто стать на сторону Каппа, но вывел тотчас же из событий урок, решив, что пока продолжать планомерную контр-революционную организационную работу надлежит под прикрытием демократического мелко-буржуазного правительства. Он сорганизовал рейхсвер в цитадель контр-революции, энергично помогая на-ряду с этим формированию нелегальных фашистских организаций.

Каждый последующий выпад контр-революции совершается по типу капповского путша: первым делом массовая, не безрезультатная реакция пролетариата, топтание его на одном месте, а в результате дружный натиск социал-демократии вместе с силами контр-революции на революционный авангард. Так было при убийстве Эрцбергера, так было и при убийстве Ратенау.

Движущей силой в этой цепи явлений оказывается рост и укрепление крупных трестов, концернов, картелей, первым делом тяжелопромышленных. Инфляция, темп которой с 1922 года постепенно ускоряется, служит источ-

ником роста и силы исполинских концернов со Стиннесом во главе. В последующей главе мы коснемся этого подробнее. Здесь же об'ектом нашего внимания являются главным образом крупнейшие политические этапы преуспевающей контр-революции и параллельный отлив революционного вала.

Инфляция достигла кульминационного пункта в 1923 году — в связи с рурской оккупацией. К этому времени социал-демократы и независимцы слились воедино, и после интермедии с чисто буржуазным правительством Куно социал-демократия в Германии вообще и в Пруссии в частности вступила в большую коалицию, т.-е. непосредственно связалась с крупной буржуазией. Решающую роль в этом блоке играла, несомненно, крупная буржуазия. Пойдя за социал-демократическим знаменем, рабочие и мелкие буржуа этим самым показали, что они потеряли надежду на преуспеяние собственными силами — демократическим путем. Подчинившись команде крупной буржуазии, они этим самым признали ее решающей силой.

Кризис 1923 года дал крупной буржуазии возможность использовать социал-демократию в качестве пушечного мяса против рабочего класса, а затем отмести ее как ненужную. Стабилизация валюты привлекла мелкую буржуазию на сторону крупной и внесла в рабочий класс глубокий раскол, парализовавший его силы.

Мелко-буржуазная демократия утратила в период этого кризиса последний остаток революционного престижа, она ринулась в об'ятия Секта, т.-е. крупной буржуазии, разыгрывавшей из себя спасителя общества. Победа, одержанная крупной буржуазией осенью 1923 года при помощи социал-демократии, имела результатом ее политическую и экономическую стабилизацию. Она политически подытожила осенью 1923 г. факт колоссального роста ее экономической и социальной силы. Социал-демократия же стабилизовалась теперь как республикански-реформистская мелкая буржуазия.

Гинденбург выдвигается, как символ стабилизации крупной буржуазии и доверия мелкой буржуазии и даже части рабочего класса, к руководящим кадрам господствовавших в былое время в Германии классов.

Чтобы разобраться в этом ходе событий, необходимо уяснить себе экономические и социальные производные периода инфляции.

2. Экономические и социальные результаты инфляции.

Присматриваясь к экономическим и социальным результатам инфляции Германии, можно подумать, что крупная буржуазия выработала тонкий и остроумный план ликвидации последствий войны за счет промежуточных слоев, рабочего класса и других стран. На самом деле дело обстоит не так.

Ход событий напоминает Наполеоновское изречение: сначала завязывается бой, а там видно дальнейшее. С самого начала войны пустились в инфляцию, не больно задумываясь над ее последствиями, полагая, что расходы по ведению войны так или иначе оплатит Антанта и что все пойдет своим чередом. Инфляция оказалась выгодной и ее продолжали, доколе это было возможно, планомерно используя в своих целях.

Инфляция началась с момента возникновения войны. После Марновской битвы курс марки пал на 15%. По окончании войны общая сумма казначейских обязательств достигала в среднем 50 миллиардов марок. В последний год войны в обращении было на 8 миллиардов займовых облигаций и на 15 миллиардов государственных банкнот. Общая сумма находившихся в обращении бумажных денег в 8 раз превышала сумму их в начале войны. В последние годы войны не только военные расходы, но и часть регулярных расходов покрывалась печатным станком. По сравнению с долларом марка к концу войны пала уже на 40%.

Можно ли считать инфляцию, происходившую по окончании войны, результатом неизбежной необходимости? Отнюдь нет. Она свидетельствовала лишь о бессилии правящей мелкой буржуазии принудить крупную буржуазию к уплате налогов. Для крупной же буржуазии это было удобным средством ликвидировать военную задолженность, освободиться от уплаты налогов, поставить экспорт в особо благоприятные условия, повысить до неимоверных размеров эксплоатацию рабочей силы, экспроприировать городскую мелкую буржуазию, провести колоссальную концентрацию капитала и наконец свалить с себя бремя задолженности, нашедшее свое выражение в Версальском договоре.

Марка продолжала падать тем же темпом, что и в момент окончания войны. Темп этот ускоряется во вторую половину 1919 года. Ближайшей причиной являются усиленные закупки Европы у Америки без необходимого эквивалента ценностей. Доллар сразу приобретает значение паритетной валюты. Уже к концу 1920 года стоимость бумажной марки составляет лишь одну десятую стоимости золотой. Государственная задолженность в конце 1918 года составляла 86, в конце 1920 года уже 153 миллиарда бумажных марок. В конце 1919 года в обращении находилось бумажных денег (государственных банкнот и займовых облигаций) на 46 миллиардов марок, в конце 1920 года на 92 миллиарда.

Зимой 1919—20 г. начинается планомерное использование инфляции. В Германии начинается «бегство из марки в товар» и иностранную валюту и вывоз капитала за границу. В начале 1920 года марка начинает официально котироваться по доллару. Весной 1921 года устанавливается размер репараций. К Германии пред'являются требования уплаты ежегодно $3^1/_4$ миллиардов золотых марок. Для покрытия этой суммы правительство обменивает заграницей бумажную марку на валюту, планомерно усиливается спекуляция на понижение марки. План германского министра финансов Вирта, пытавшегося сбалансировать бюджет, расстроен промышленниками. Принудительный заем, долженствовавший дать 1 миллиард золотых марок, в конечном счете дал лишь 60 миллионов. Во вторую половину 1922 года марка докатилась до $^1/_{26}$ своей былой стоимости.

Сильнейшим толчком, ускорившим процесс инфляции, была оккупация Рура в 1923 году. Рейхсбанк пытался в начале поддержать марку, израсходовав на это половину своего золотого запаса. Начиная с августа 1923 года марка мало-по-малу теряет значение платежного средства. Оптовая торговля

еще с 1922 года производила калькуляцию в иностранных девизах. Революционное настроение пролетариата растет. Теперь начинается поворот обратно, в сторону дефляции, стабилизации марки, сбалансирования бюджета. Этот своевременный поворот сыграл в конечном счете решающую роль, обеспечив победу буржуазии и парализовав революционные стимулы 1923 года. Мелкая буржуазия решительно перешла на сторону крупной, а предстоящая стабилизация расколола и дезорганизовала рабочий класс. Посмотрим же, как отразилась инфляция на верхних классах общества.

Возьмем для начала крупную буржуазию. Технику использования инфляции крупной буржуазией наглядно излагает Рихард Левинсон (Морис) в своем произведении «Перемещение европейских капиталов» (Изд. С. Фишер, Берлин 1925).

«Искусство денежного дохода, — говорит Левинсон, — состояло в конечном счете главным образом в получении кредитов в бумажных марках. Мало-по-малу это стало неоспоримым фактом: кто получал кредит, тот на этом зарабатывал; кто давал кредит, тот проигрывал».

И все же вплоть до начала 1923 года кредиты в бумажных марках давались в широких размерах — в том числе и банками. Главным источником кредита был рейхсбанк, взимавший при этом до смешного ничтожный процент.

«Те круги,—поясняет Левинсон,—которые пользовались кредитом у рейхсбанка, — не для того, чтобы передавать значительнейшую часть полученного дальше, как это делали банки, но для закупки валюты или материальных ценностей, — нажили на этом деле миллиарды золотых марок за счет населения, которому приходилось нести на своих плечах инфляционный налог.

«Но вот с конца 1922 года частнохозяйственные предприятия все в большей и большей мере переходят на калькуляцию в золоте. Летом 1923 года калькуляция в золотой марке становится общим правилом в кредитном обращении. Банки занимаются перечислением на золото. Начиная с конца 1924 года исчисление в золотых марках начинает практиковаться и в товарном обращении.

«Первым и крупнейшим результатом инфляции было отмирание ипотечной и вексельной задолженности. До войны ипотечная задолженность крупных земельных собственников составляла в среднем 40% стоимости их землевладения, городских 80% их состояния. С 1921 г. начинаются платежи по ипотечным долгам в обесцененной валюте. За время инфляции значительнейшая часть землевладения освободилась от задолженности. Это равносильно грандиозной экспроприации в пользу земельного капитала за счет городского, мощному экономическому укреплению помещика, а также крупного и среднего крестьянина.

«В связи с этим находится экспроприация городского домовладельца, в первую голову бьющая по мелкому и среднему капиталисту. Устанавливаются максимальные ставки квартирной платы, лишь номинально позволяющие взимать процент за вложенный в товар капитал. Это идет на пользу в первую очередь экспортивной промышлен-

ности, получающей таким образом возможность уплаты низкой заработной платы.

«То же происходит и с промышленными облигациями, выпущенными приблизительно на 5 миллиардов золотых марок. С 1922 года начинаются платежи должников по этим векселям в обесцененной валюте.

«Это покрытие задолженности происходит преимущественно за счет промежуточных городских классов. Ведь значительная часть сбережений, внесенных в сберегательные кассы, размещена в ипотечные обязательства и облигации.

«Среднее городское сословие ищет спасения в биржевой спекуляции. Она ведется усиленным темпом с 1920 года. Биржевые куши в течение целых трех лет давали возможность держаться на поверхности обедневшим в результате обесценения денег рантье и недостаточно оплачиваемым слоям получающих твердые ставки чиновников и служащих» (Левинсон). Но и эти городские промежуточные слои в конечном счете пошли на дно, не выдержав конкуренции с крупными биржевыми спекулянтами, время от времени сметающими мелких спекулянтов целыми рядами. Стоит только вспомнить «черный четверг» (1 декабря 1921 г.) и т. п. «выдающиеся» дни, роковые для мелкого спекулянта (май 1922 г., февраль и ноябрь 1923 г.).

До какой степени были ограблены городские промежуточные слои на бирже, можно судить хотя бы уже по тому, что в конце 1923 г. индекс акций составлял одну шестую довоенного, тогда как цены на продукты первой необходимости, при исчислении в золоте, на 10% превышали довоенные.

Преимуществом крупного спекулянта был главным образом более широкий кредит. Мелкому спекулянту приходилось уплачивать наличными или пользоваться кредитом на неблагоприятных условиях. «Крупный же спекулянт до последнего времени имел возможность спекулировать иностранной валютой, а кредит оплачивать обесцененной германской валютой».

Банки теперь оперировали собственными деньгами еще в меньшей степени, чем прежде. Деньги мелких вкладчиков переходили к более крупным должникам с удержанием высоких комиссионных и процентов.

Из старого городского среднего сословия выжимали таким образом соки. Средние деревенские слои не только сохранили свое положение, но и обосновались прочнее. Но одновременно с этим, путем умелого использования инфляции, создавались новые состояния более молодыми дерзкими элементами из состава городских промежуточных слоев. Эта сторона процесса имеет существенное значение. В экономическом отношении это новое городское среднее сословие очутилось на более высоком уровне по сравнению со старым. Это — мелкие щуки, всплывшие на поверхность в свите крупных капиталистических акул.

Представление о размерах экспроприации средних городских слоев дают нижеследующие цифровые данные (данные плана Дауэса): общая сумма вкладов в сберегательных кассах составляла к концу 1913 г. 10.700 миллионов зол. марок, к концу же 1922 лишь 760 миллионов.

Любопытны также и нижеприводимые данные, позаимствованные тоже у дауэсовской комиссии. Обмен бумажной марки за границей дал 7—8 миллиардов зол. марок. К концу 1923 года германский капитал, вложенный за границей, составлял, по имеющимся данным, не меньше 5,7 и не больше 7,8 миллиардов марок, т.-е. в среднем 6¾; до войны же германский капитал, вложенный за границей, исчислялся приблизительно в 28 миллиардов. Теперь переходим к чертам, характерным для развития крупного капитала в Германии, во время и благодаря инфляции; эти черты определяют новую физиономию Германии.

Эти основные черты таковы:

1) Колоссальная концентрация капитала, по линии вертикальных трестов, — об'единения не однородных предприятий, но предприятий, охватывающих всю область от добычи сырья до изготовления фабрикатов — под гегемонией тяжело-промышленного капитала. Вертикальный трест стал всемогущей формой капиталистической концентрации.

2) Но тяжело-промышленный капитал не только порабощает себе целиком перерабатывающую промышленность, но и подчиняет себе торговый и денежный капитал. В комбинации промышленного и банкового капитала до войны командную роль играл последний Теперь решающей силой в этой комбинации является капитал промышленный, затем он в совершенно иной мере, по сравнению с прошлым, вобрал в себя, приковал к себе торговый капитал.

В дальнейшем мы иллюстрируем эту характерную черту на примере Стиннеса и Вольфа.

Здесь же в первую голову необходимо оттенить общую подоплеку такого развития.

В коммунистических кругах было распространено мнение, якобы в Германии в период инфляции не происходило подлинного роста капитала, и страна, как целое, оскудевала. Ныне, когда с инфляции сдернут покров, ясно видно, что это было заблуждение, отнюдь не невинного характера, его намеренно подогревали крупная буржуазия и ее различные правительства. После войны Германия вступила в период инфляции с колоссальными потерями: потеря Эльзас-Лотарингии, Познани, части Верхней Силезии, Саарского бассейна и т. д. Сдача торгового и военного флота, потеря колоний, потеря почти всего вложенного за границей капитала, сдача в широких размерах военного снаряжения, локомотивов, жел.-дорожных вагонов и пр. Пути сообщения и производственный аппарат к концу войны сильно регрессировали, несмотря на их расширение в общем и целом.

Но в общем и целом в период инфляции безусловно происходило накопление германского капитала, реальное капиталистическое богатство Германии выросло.

Общая картина, рисуемая планом Дауэса (9 апреля 1924 г.), поразительна. Вот она в основных чертах:

Производственный аппарат и оборудование в Германии с 1919 г. неуклонно улучшались: железные дороги восстановлены, телеграф и телефон модернизированы, порты и каналы приведены в прекрасное состояние, задолженность имперской железной дороги, поглощавшая раньше половину валового дохода, ныне покрыта, торговый флот вновь отстроен. «Промышленники имели возможность умножить современное оборудование фабрик, благодаря чему во многих отраслях промышленности производительность, по сравнению с довоенной, возросла. Вексельная задолженность промышленности покрыта, находящиеся в обращении денежные капиталы, подвергавшиеся обесцененению, преобразованы в капиталы, обладающие твердой ценностью. Частные лица покупали предметы потребления, промышленные же предприятия вкладывали в широких размерах свой капитал в промышленное оборудование. «Мотор, суммирует план экспертов сказанное, хорош, но двигательная сила и смазочные средства явно отсутствуют».

Специальным источником заблуждения была германская торговая статистика, тенденциозно подтасовывавшая цифры, на что уже указывалось целым рядом германских критиков буржуазного толка.

Вплоть до начала дефляции в Германии, даже в период глубочайшей депрессии мирового хозяйства, процент безработных был чрезвычайно мал.

Разительнейшим доказательством в пользу действительного роста капитала в Германии в период инфляции могут служить исчисленные в зол. марках балансы акц. об-в на протяжении 1924 года. При этом надлежит принять во внимание преобладавшую тенденцию преуменьшения в таких балансах произошедшего прироста капитала. Нижеследующие данные позаимствованы нами из берлинского письма Робер Лонг к Роье от 4 февраля 1925 года (опубликованы «Фортнайти Ревью», март 1925 г., стр. 298—307).

Сто одно общество обладало:

в 1913 г. капиталом в сумме	178 милл. зол. марок.
» 1924 » » » »	224 » » »

Задолженность этих фирм составляла

в 1913 г.	66,3 милл. зол. марок.
» 1924 »	14,1 » » »

Таким образом они освободились от значительной части своей задолженности.

Особенно любопытно нижеприводимое сопоставление различных отраслей промышленности. Капитал 1913 г. принимается за 100.

Согласно калькулированному в зол. единицах балансу 1924 г., капитал нижеприводимых промышленных предприятий составлял в 1924 г., по сравнению с 1913 г., принятым за 100:

	Количество обществ.	Капитал в 1914 г.
Трамвайных	6	400
Химических	14	280
Железнодорожных	4	210
Машиностроительных	40	191

	Количество обществ.	Капитал в 1914 г.
Горнопромышленных	26	130
Текстильных	32	118
П счебумажных	10	103
Электротехнических	10	75
Де ево‿бделочных	2	57
Газо-и водопроводных	3	53
Банковских.	8	30

В общем и целом отрасли промышленности, не работавшие на войну, выглядят сравнительно хуже. Банки лишились части своих капиталов, 4 берлинских Д-банка лишились 70% своих капиталов.

251 общество с капиталом, общая сумма которого в 1913 г. равнялась 1.967 зол. млрд. маркам, к 1924 г. увеличили свой капитал до 2.229,7 миллиардов, т.-е. на 16%.

Характерны следующие данные, относящиеся к химической и тяжелой промышленности:

АНИЛИНОВЫЙ КОНЦЕРН.	1913 г. в милл.	1924 г. зол. мар к.
Актив.		
Земельн. площадь, постройки, машины.	180,7	317,3
Товары.	102,7	214,7
Вклады в др. предпр.	33,1	200,0
Денежная наличность, суммы к получ.	149,3	197,4
Пассив.		
Краткосрочные обязательства .	58,4	136,7
Ипотеки и долговые обязательства .	70,4	9,2
Резер в. фонд	166,3	145,0
Капитал	144,0	646,0

Итак, анилиновый концерн за время с 1913 г. накопил около полумиллиарда.

	Актив в милл. з.л. марок.	
	1913 г.	1924 г.
Феникс .	106	300
Маннесмановские трубы .	72	115,5
Германские минеральные масла	30,7	100
Клекнер .	58	90
Даймлеровские моторы .	8	36,4
Шелковые об'единения	7,5	30,0

Таковы факты, ярко иллюстрирующие несомненный рост капитала главным образом в тяжелой промышленности. Что же касается банков и судоходных компаний, они, наоборот, лишились части своих капиталов.

Мы наблюдаем новые формы концентрации капитала в Германии на примере двух типичных тяжело-промышленных концернов. — Отто Вольфа и Стиннеса. К слову сказать, мы задаемся целью подробного анализа этого чрезвычайно важного предмета, здесь же ограничимся характеристикой лишь наиболее выдающихся явлений.

Фирма Отто Вольф-Кер начала до войны торговлей старым железом, затем она перешла к оптовой торговле железом. Основой ее колоссального под'ема после войны в период инфляции были колоссальные военные сверхприбыли, крупные военные поставки, получаемые фирмой благодаря «добрым» отношениям ее владельцев с тяжело-промышленниками и правительственными органами. От торговли оптовым железом О. Вольф пустил корни в тяжелую промышленность. Сообща с другими группами, ему удалось взять под свой контроль большинство акций Феликса. Затем он захватывает в свои руки рейнские сталелитейные заводы, акц. о-во Дуисбург-Видерих и еще 3 сталелитейных завода. Благодаря Фениксовскому концерну и Рейнскому стальному концерну, он пускает корни в десятки крупных металлопромышленных предприятий. Он завязывает связи с Ганиел (уголь), Круппом и Всеобщей Компанией Электричества. Ему удается проникнуть в Северо-Германский Ллойд и выговорить себе, таким образом, благоприятные условия фрахтовки, в чисто торговой области он начинает с торговых концессий в Советской России (Руссгерсторг) (ныне ликвидированный). В конечном счете он проникает в газетное дело («Кельнише Фольксцейтунг» — газета центра, «Кельнер Тагеблатт» — демократическая, «Цейт» — газета тевтонской партии).

Таким образом фирма Вольф проходит в своем развитии этап оптовой торговли железом, военных поставок, пускания корней в тяжелую промышленность (горно-промышленные, горно-заводские, металлообрабатывающие предприятия), отсюда в перерабатывающую промышленность, транспорт и торговлю.

Еще разительнее в этом отношении развитие фирмы Стиннеса. Отправным пунктом, ядром этой фирмы является судоходство. Затем фирма переходит к обладанию угольными шахтами. Во время войны Гуго Стиннес становится крупной марки военным поставщиком. Он эксплоатирует французские и бельгийские монтановские заводы. Он ведет оживленную торговлю с нейтральными государствами. В период инфляции, после войны он с искусством виртуоза использует кредиты и закупает одни материальные ценности за другими. Он пускает корни в предприятия, обслуживающие судоходные линии Рехи (Веман, германские владения в Восточной Африке, Гамбург-Америка), судостроительные и брикетные заводы, в торговлю лесом (сначала для удовлетворения собственной потребности в лесе для шахт), захватывает в свои руки поместья с огромными лесными пространствами. Он становится независим от банков, но остается еще их должником в смысле использования кредита и, наконец, создает собственные банки.

Результат этих операций таков: Стиннес участвовал в 69 предприятиях строительной промышленности, в 66 химических, подсобных к писчебумажным, 59 железорудных. 57 кредитных и страховых обществах, 56 горнозаводских, сталелитейных и вальцовочных, 81 каменноугольном, 49 буроугольных, 37 нефтедобывающих и нефтепромышленных, 389 торговых и транспортных, 100 металлопромышленных, 83 жел.-дорожных и судостроительных, 88 прочих, а всего в 1.535 в большинстве самостоятельных предприятиях, обла-

дающих 2.888 самостоятельными единицами и ответвлениями предприятии. Участие Стиннеса в печати в экономическом отношении являлось звеном в цепи обладания шахтами, лесом, бумагой, углем. Печать для концерна, с одной стороны, звено в вертикальном ряде производств, с другой стороны, средство пропаганды и политическое орудие. За границей Стиннес участвовал в 522 предприятиях всех частей света.

Характерными чертами здесь являются:

1) Огромный охват концентрации капитала.

2) Переброска от добычи сырья к производству фабрикатов, с охватом всех промежуточных ступеней производства.

3) Переброска в область торгового капитала и его подчинение.

4) Переброска в транспорт и связь, с подчинением их себе.

5) Пропитывание банков и подчинение их себе.

6) Обхват по вертикальной линии вплоть до заграничных предприятий, беря отправным пунктом опять-таки добычу сырья.

Эти капиталистические монополии, создаваемые на основе добычи сырья, своей мощностью превосходят все, виденное в Германии раньше. От независимого положения перерабатывающей промышленности почти не осталось следа, торговый и банковский капиталы приведены в покорность. Эти крупные концерны имеют решающее значение и для капиталистически-поставленного сельского хозяйства. Эти исполинские капиталистические концерны с производственно-технической точки зрения, — в качестве организаций, последовательно охватывающих все ступени производства, капиталистический процесс в его целом — знаменуют огромный шаг вперед. В них социализм найдет для себя готовую организационную основу. В экономическом же отношении, при капиталистическом строе, они являются всемогущими эксплоататорскими машинами: при помощи устанавливаемых картелью цен и благодаря взимаемой картелью ренты, исполинский концерн тянет дань со всего народного хозяйства.

Как мы уже видели, банки во время инфляции и благодаря ей попали в переделку; вклады их сморщились, а тем самым пошла на убыль и роль банков, как крупных, имеющих решающее значение владельцев денежного капитала, как центральных органов распределения кредита. Крупные прибыли остались в руках владельцев «материальных ценностей» — промышленников.

Инфляция сопровождалась колоссальным ростом биржевых сделок. Переобременение крупных банков облегчает возникновение многочисленных мелких банков. Часть их во время дефляции была сметена, другая осталась и образует составную часть «нового среднего сословия», более малочисленного, чем старое, но зато более крепкого в смысле обладания капиталом.

Но характерным результатом инфляции является *эмансипация промышленности от банков*. Центр тяжести переместился.

«Промышленники, — пишет Левинсон, — в отличие от того, что делалось в последние 10-летие до войны, мало-по-малу перестали являться в банки в качестве ходатаев, добивавшихся финансирования их тем или иным учре-

ждением, что было сопряжено с установлением его контроля над ними; благодаря военным и инфляционным сверхприбылям, они стали господами положения. оказывающими решающее влияние на распределение финансового капитала».

Перехожу к аграрному капиталу, — крупнопомещичьему. Для помещиков период инфляции был периодом золотой жатвы.

Как это указывает Ф. Баадер («Die deutsche Wirtschaft nach dem Kriege», «Socialistishe Monatshefte», 1923 г., № 2. от 27 ноября, стр. 657—666), в послевоенный период можно различать три периода — различной кон'юнктуры.

Первый — вплоть до средины 1921 г. Принудительные хозяйственные меры отпадают, но и во время их существования уже развивается колоссальная спекулятивная торговля. В этот период прежде всего происходит автоматическая ликвидация ипотечной задолженности помещичьей собственности. Задолженность эта составляла до войны около 15 миллиардов марок золотом. Одних процентов начислялось ежегодно около 650 миллионов марок золотом, что равнялось 4 миллионам тонн ржи. Летом 1921 г. при отмене твердых цен на зернохлеб, ежегодные проценты составили бы лишь 200.000 тонн ржи, т.-е. в двадцать раз меньше прежнего; это в том случае, еслиб ипотечная задолженность оставалась непокрытой. На самом же деле она погашалась в широком размере. Крестьянство в период инфляции почти целиком расплатилось по ипотечным долгам. Покрытие или обесценение ипотечной задолженности фактически равносильно приросту аграрного капитала за счет городских заимодавцев, по большей части мелких и средних капиталистов, рантье и т. д.

Второй период обнимает собою от средины августа 1921 г. до февраля 1923 г. — когда марка временно стабилизовалась. Баадер характеризует этот период совершенно справедливо, как период «беспримерно прибыльной кон'юнктуры». В этот период ипотечная задолженность фактически уже сошла на нет. Налоги фактически тоже отпали [1]). Главнейшим источником колоссальных прибылей сельского хозяйства было видоизменение соотношения цен на продукты сельского хозяйства и средства производства, черпаемые из промышленности: азот. фосфорную кислоту, калий, сельскохозяйственные машины и орудия. В этот период сельский хозяин за один центнер ржи покупал в среднем вдвое, а то и втрое и вчетверо больше азота и калия, только цены на фосфорную кислоту держались на уровне довоенных зол. цен. Но потребление ее сократилось от 667 тысяч тонн в 1913 г. до 312 тысяч в 1921 — 1922 г.г. Баадер полагает, что одного этого понижения цен на искусственное удобрение достаточно, чтобы дать на десятилетия толчок

---

[1]) По этому поводу добродетельно буржуазный сельско-хозяйственный практик пишет: «Налоговое обременение, последовавшее в этот период, незначительно. Правда, ставки подоходного налога по эрцбергеровскому рецепту устанавливались чрезвычайно высокие, но обесценение марки сводило 40%-налог к 4%-му и того меньше». Д-р Лотар Майер: «Германское сельское хозяйство в период инфляции и в начале дефляции», Мор, Тюбинген 1921 г. («Die deutsche Landwirtschaft während der Inflation und zu Beginn der Deflation»).

росту интенсивности сельского хозяйства. В экономическом отношении это равносильно впитыванию в себя капитала сельским хозяйством и, в первую очередь, крупным помещичьим землевладением.

То же можно сказать о приобретении сельско-хозяйственных машин и орудий. «Моторные плуги, молотилки, косилки, сеялки, вплоть до бороны и сохи, все это сельский хозяин в первую полосу этого периода, когда при взимании денег на складе произошедшее обесценение их еще не учитывалось, покупал за половину, а то и за треть довоенной цены, в переводе ее на рожь. Используя кредит, в ту пору предоставляемый на неделю, можно было купить все эти предметы чуть не даром. Так как из ничего не создается что-нибудь, то спрашивается: за счет какого же класса или каких классов делались эти колоссальные «подарки»? Первым делом за счет заработной платы и жизненного уровня промышленного рабочего. Баадер приводит наглядные иллюстрации: «Я графически изобразил двумя кривыми количество азота, получаемого за один центнер ржи, а ниже реальную заработную плату в единицах ржи. Эти две линии движутся в противоположном направлении. Под'ем линии, характеризующей доходность сельского хозяйства, сопровождается глубоким снижением линии реальной заработной платы городского рабочего. 1 мая 1922 года, когда за один центнер ржи можно было получить 10 килограмм азота против 6,5 килограмм довоенного, реальная заработная плата составляла в неделю 1,65 центнеров ржи, против 4,20 центнеров ржи довоенной заработной платы той же категории рабочих. Кульминационному пункту линии азота соответствует самый низкий уровень реальной заработной платы, когда рабочий не зарабатывал даже полных 0,60 центнеров ржи, т.-е. *и одной седьмой довоенной заработной платы*.

Второй класс, несущий на себе бремя этих «подарков» — городская мелкая буржуазия, особенно мелкие розничные торговцы, которые сначала не поспевали менять цены сообразно обесценению валюты и лишь впоследствии научились изменять их изо дня в день.

Колоссальные прибыли сельского хозяйства — как помещичьего, так и крупно-крестьянского — и соответственно более мелкие прибыли крестьянина-середняка целиком шли на средства производства, вкладывались в предприятия. Параллельно улучшалось собственное питание, а излишки шли на закупку всякого рода домашности: автомобилей, велосипедов, швейных машин, роялей, мебели, белья, платья и проч.

Натуральная заработная плата сельско-хозяйственного рабочего и сельского поденщика (так называемый «паек») в это время поднялась, но в той же мере обесценилась денежная заработная плата.

Эта высокая кон'юнктура продолжалась до конца февраля 1923 года, когда стоимость промышленных продуктов стала исчисляться в золоте. Приблизительно около половины августа 1923 г. цены на продукты промышленности уже превысили довоенные цены в золоте, а цены на продукты сельского хозяйства опустились ниже цен довоенных, ниже цен мирового рынка. Началась работа «ножниц». Налоги стали взиматься. Это наводнило рынок продуктами сельского хозяйства, так как сельско-хозяйственные прибыли

реализуются в форме средств производства и не поддающихся порче предметов потребления, оборотный капитал в сельском хозяйстве отсутствует, а потребность в кредите набрасывает петлю на шею. В последнее время ножницы вновь закрылись, «аграрный кризис» 1923—24 г. был изжит, зато выдвинулись иные моменты, оказывавшие влияние на крестьянина-середняка и мелкого, о чем будет речь ниже.

В области распределения земельной собственности в период инфляции существенных изменений не произошло. Возвещенная с большой помпой политика поселенчества (сдача земли в аренду мелким арендаторам) не пошла дальше зародышевой стадии. Крупная помещичья собственность сохранилась в прежних размерах, законодательство против фидеикомиссов (прусские указы от 10 марта 1919 года относительно отмены неприкосновенности сословных фамильных поместий и новый указ от ноября 1920 г.) было ударом впустую. Больше того: из него извлек для себя выгоду помещик. Закон предусматривал возможность сохранения майората при условии денежного удовлетворения остальных родственников, буде имеется на это их согласие. На основании этого законодательства целый ряд майоратов превратился в свободные латифундии, из 1.500 более или менее крупных и 500 более мелких крестьянских и денежных фидеикомиссов, вплоть до июня 1924 года распалось лишь 600. Латифундии от этого не уменьшились. В Саксонии и Вюртемберге вообще не было издано никаких законодательных актов против фидеикомиссов, в Бадене же и сейчас еще образуются фамильные поместья.

Под'ем сельского хозяйства захватил не только крупное помещичье и крупное крестьянское землевладение; последнее извлекло из него львиную долю выгод, но и средний крестьянин и даже мелкий хозяйственно окрепли. Правда, зачастую их мелкие сбережения таяли (сберегательные кассы, сельские кредитные товарищества, военные займы), но благодаря обесценению денег они почти целиком освободились от ипотечной задолженности и мало-по-малу научились, правда, не без колебаний, вкладывать денежные излишки в материальные ценности; налоговое обложение было минимальным, и жизненный уровень их теперь стал выше довоенного. Этот под'ем не пошел на пользу только сельским рабочим и сельским полупролетариям, батракам, имеющим свой клочок земли — их надежда на получение земли развеялась как дым, и инфляция отразилась на них приблизительно так же, как и на промышленном пролетариате.

Но главной тяжестью своей инфляция обрушилась на плечи рабочего класса. Реальная заработная плата по мере обесценения денег падала все ниже и ниже, а соответственно этому понижался и жизненный уровень. Рабочая сила стала самым дешевым из товаров. Вне всякого сомнения, она оплачивалась значительно ниже своей стоимости. На-ряду с частью городской мелкой буржуазии и немногими категориями буржуазии крупный рабочий класс был единственным классом, которому пришлось во время инфляции понести реальные «субстанциональные убытки», — убывать стала единственная «субстанция», имеющаяся в его распоряжении, его рабочая сила. Накоп-

ление капитала происходило за счет его физических сил. Рабочий класс все еще выплачивал главную часть налогов. Эти факты столь известны и ими столь часто оперировали (в числе прочих и тов. Варга в целом ряде своих произведений), что мне не приходится вдаваться в подробности. Зато германский рабочий класс мог «с удовлетворением» констатировать, что в его составе процент безработных в год инфляции был ниже, чем, скажем, в Англии или Америке в эпоху кризиса.

Не безынтересно сопоставить количество стачек и локаутов, имевших место за эти годы.

I. Экономические стачки и локауты промышленного рабочего

Годы.	Стачки и локауты.	Колич. предприят.	Количество участников.	Количество рабочих дней.
1899/1913	2 114	11.410	234.623	8.006.791
1914 .	1 233	6 046	95.140	2.843.895
1915 .	141	185	12.866	45.511
1916 .	240	437	124.189	245.404
1917 .	562	3.399	651.461	1.862.302
1918	532	1.095	379.128	1.452 334
1919	3.719	33 840	1.938 354	33.082.774
1920 .	3.807	42.288	1 429 116	16.755 614
1921	4.455	55.237	1.489.454	25.874.833
1922 .	4.785	47 501	1 823 921	27 733.833
1923 .	2 046	24.175	1.606.501	1 234.830

II. Политические стачки.

Годы.	Количество участников.	Количество рабочих дней.
1918 .	925.120	3 766.456
1919 .	2.562.664	12.934 763
1920 .	6.762.2[illegible]2	35 564.142
1921 .	502.021	3.751.564
1922 .	352.334	346.306
1923 .	318.536	1.032.952

III. Все случаи борьбы рабочих.

Годы.	Количество участников.	Количество рабочих дней.
1918 .	1.304.248	5 219.290
1919 .	4.706.259	48.067.180
1920	8.323.977	54 206 942
1921 .	2.042 372	30.067 894
1922 .	2.321.597	29.240.740
1923 .	2.097.922	15.171 173

Эти цифровые данные весьма любопытны, даже при наличии оговорок относительно их точности. Они наглядно рисуют под'ем и отлив вала классовой борьбы широких пролетарских масс. В первые три года войны, вплоть до 1916 г. заметно глубокое снижение, в 1917 году высокий под'ем волны стачек возмещает грядущую революцию. Период революции — 1919 год — является кульминационным пунктом волны экономических стачек, кульмина-

ционным же пунктом волны политических стачек — 1920 год. С этого момента происходит отлив. Второй под'ем экономических стачек наблюдается в 1922 году, 1923 год — год значительного снижения.

При обозрении всего стачечного движения и всей борьбы мы видим, что 1919 и 1920 г.г. — поворотные пункты, знаменующие начало движения вспять. 1919 год — год сильнейших и наиболее далеко заходящих натисков в направлении пролетарской революции, а затем отбой. 1920 год знаменует уже дерзкий натиск контр-революции, отброшенный могучим валом стачек, но вал идет на снижение и отливает.

В связи с инфляцией находится и эволюция государственных финансов. Всем достаточно хорошо известен их полный развал к концу инфляции и сокращение налоговых поступлений, составлявших в конце концов до смешного ничтожный в процентном отношении расход. Буржуазия преследовала инфляцией не только экономическую цель — увеличения прибылей и сваливания со своих плеч бремени содержания государственного аппарата («экономия» для нее получилась столь огромная, что с избытком покрыла расходы буржуазии на контр-революционные организации и крохи, брошенные с целью коррупции разным демократическим политикам, в первую очередь социал-демократам и центровикам). На-ряду с этим инфляция была безошибочным и верным средством политического давления на разные мелко-буржуазно-демократические правительства, которые удавалось таким образом держать на поводу и навязывать им волю крупной буржуазии. Ни одно из этих мелко-буржуазных правительств не сумело действительно приступить к оздоровлению финансов; все они боялись революционного вторжения в собственность, а «добровольно» буржуазия своего не уступала. Пустые хвастливые правительственные возвещения решительных мероприятий встречали издевательство со стороны крупной буржуазии, планомерно отсекавшей им головку, и рождали ненависть или равнодушие к правительству в пролетариате, лишь не надолго подогревая иллюзии в некоторой части мелкой буржуазии.

3. Дефляция и стабилизация.

Положение, явившееся исходным пунктом дефляции и стабилизации валюты, как видно из сказанного нами, ни в коем случае не характеризуется недостатком «капитала» вообще. Капитал неуклонно накоплялся, но претворялся кратчайшим путем из золота в натуральную форму: твердую валюту, запасы товаров, запасы предметов потребления. Чего не хватало всем отраслям хозяйства, так это — денежного капитала. Быстрота обращения бумажной марки росла одновременно с ростом номинальной суммы марок, находившихся в обращении. К концу инфляции общая стоимость средств обращения понизилась до незначительного процента потребности в них. На текущих счетах банков, в сберегательных кассах и кредитных учреждениях до войны находилось около 50 миллиардов марок: в сберегательных кас-

сах — 19,7, в крупных берлинских банках — 7,4, в других банках и кредитных учреждениях — 25 миллиардов марок. Вклады в сберегательных кассах к концу 1922 года составляли лишь 767 миллионов суммы на текущих счетах 8 берлинских крупных банков лишь 1 миллиард золотых марок.

Важнейшие цифровые данные, свидетельствующие о стабилизации валюты, таковы (они имеют крупное значение для понимания хода политического развития в 1923 году):

15 августа выпуск внутреннего золотого займа правительством Штреземана-Гильфердинга с оплатой его девизами, бумажными долларами или бумажными марками по курсу нью-йоркской биржи.

В начале сентября опубликованы различные проекты валютной реформы (план Гельфериха, план Мину).

10 сентября опубликованы валютные планы правительства.

В середине сентября опубликован план создания переходной валюты, вслед за которой выпускается бумажный червонец.

18 сентября завершается выпуск золотого займа, дающего правительству 155 миллионов бумажных марок.

3 октября опубликован законопроект о валютном банке, оперирующем на основе рентных писем.

Одновременно с этим отставка первого кабинета Штреземана.

5 октября открываются счета налогов в твердых единицах. Облигации золотого займа об'являются законным платежным средством.

10 октября опубликовывается Шахтовский проект учреждения банка, выпускающего бумажные червонцы.

6 октября уходит в отставку социал-демократический министр финансов Гильфердинг.

13 октября принятие рейхстагом при помощи голосов, поданных социал-демократами, закона о чрезвычайных полномочиях.

15 ноября выпуск рентной марки.

14 декабря рейхсбанк из'являет готовность производить обмен бумажной марки на рентную.

7 апреля 1924 года происходит фактическое прекращение работы печатного станка и закрытие кредитов рейхсбанком.

В начале мая курс марки в Лондоне равняется 100.

3 июня банки удовлетворяют требования желающих приобрести девизы по официальному курсу.

30 августа 1924 года подписывается заключительный протокол Лондонского соглашения.

10 октября происходит завершение репарационного займа, входит в силу банковский закон и закон о монетном обращении и ликвидируется рентная марка.

Этим завершился валютный кризис. Официальной датой стабилизации можно считать или начало мая, когда был достигнут паритет в Лондоне, или 3 июня 1924 года, когда началась выдача требуемого количества девиз. Под-

готовительные меры к преодолению кризиса, начавшиеся со средины августа 1923 года, сыграли главную роль в деле ликвидации политического кризиса в этом году.

К 15 декабря золотая и валютная наличность рейхсбанка превышала уже 2 миллиарда марок. К средине июня 1924 года всякого рода вклады уже достигали 3 миллиардов золотых марок, а около средины августа 6—8 миллиардов. Денежное накопление вновь вступает в свои права. Соглашение Дауэса вновь отводит Германии место на международном денежном и кредитном рынке. В результате репарационного займа в размере 800 миллионов золотых марок в Германию заструились американские частные кредиты, общая сумма которых исчисляется различно — от полутора до двух миллиардов золотых марок.

В связи со стабилизацией происходит сбалансирование государственных финансов. 1924 год ознаменован превышением налоговых поступлений на 2 миллиарда марок против предполагаемых.

Последствием дефляции является первым делом массовая безработица, застой сбыта и биржевая депрессия. Свободное открытие кредита рейхсбанком в период с января по апрель 1924 года приводит ко временному улучшению. После ограничения кредита с мая по июнь яростно свирепствует промышленный кризис. Цифры безработицы и работы неполным рабочим днем растут, цены падают, переживаются тяжелые денежные затруднения, торговые банкротства и назначение опеки приобретают массовый характер.

Мало-по-малу кризис утихает, безработица уменьшается, цены поднимаются — после заключения дауэсовского соглашения. Но и теперь говорить можно лишь о переходе от кризиса к депрессии (даже с возвратом к частичным кризисам).

Цифры германского торгового баланса в 1924 году таковы:

Ввоз — 9,2 миллиарда. Вывоз — 6,6 миллиардов золотых марок (в 1923 г. ввоз составлял 6.081 миллион золотых марок, вывоз — 6.079 миллионов; в 1913 г. — ввоз составлял 11.206 милл., вывоз — 10.198 миллионов золотых марок). Таким образом торговый баланс 1924 года пассивный, причем в пассиве значатся $2^{3}/_{4}$ миллиарда марок.

Достоин внимания характер этой пассивности. Вот что пишет в номере от 23 февраля 1925 года американская финансовая газета «Аналист»:

«По внимательном изучении германской статистики нельзя смотреть оптимистически на баланс внешней торговли. Значительное расширение ввоза в виде усиленной закупки сырья и полуфабрикатов имело бы себе оправдание, если бы ему соответствовал последующий рост вывозимых товаров. Но ввоз сырья в 1924 году выражается в сумме лишь 3.686 миллионов золотых марок против 3.160 1923 года, ввоз полуфабрикатов расширяется тоже незначительно — 897 миллионов против 806. Крупнейший абсолютный прирост, а в дальнейшем и крупнейший относительный, приходится на долю готовых фабрикатов: ввоз их составляет 1.781 миллион против 920 миллионов в прошлом году. Значительную часть ввозимых товаров составляют предметы роскоши, которые можно было бы производить и дома и которые фактически дома

производятся. В средине 1924 года, когда наблюдался застой в процветающей ныне химической промышленности, началась закупка этих продуктов за границей... Тут подоспели американские и английские кредиты в форме товарного кредита. Это — темная сторона веры в германскую солидность и т. д.». Пишущий эти строки рисует своему читателю американцу возможность новой инфляции за счет заграницы.

В том же духе высказывается и гамбургское экономическое агентство: «То обстоятельство, что у нас растет ввоз готовых фабрикатов по сравнению с довоенным временем, тогда как ввоз сырья и полуфабрикатов едва достигает 54 — 58% уровня 1913 года, — отнюдь не благоприятный симптом. По сравнению с 1923 годом это, несомненно, прогресс, но по сравнению с 1922— это нельзя считать поворотом к лучшему... К сожалению, соответствующего увеличения вывоза не произошло. Наоборот, производство готовых фабрикатов по сравнению с 1913 г. за два последние года пошло на убыль.

Нижеприводимая таблица дает возможность сопоставления вывоза и ввоза за последние годы по сравнению с 1913.

	Ввоз в %% к 1913 г.			Вывоз в %% к 1913 г.		
	1922 г.	1923 г.	1924 г.	1922 г.	1923 г.	1924 г.
I. Живой скот	28,2	14,4	33,3	166,2	51,4	241,3
II. Пищевые продукты и напитки	46,1	40,1	70,7(!)	18,8	11,7	31,1
III. а) сырье	56,6	46,8	53,9	28,0	25,8	28,8
б) полуфабрикаты	78,1	51,5	58,3	53,1	37,5	44,0
IV. Готовые фабрикаты	78,6	46,5	80,9(!)	75,4	66,7	58,7(!)
V. Золото, серебро	2,0	2,5	38,6	18,2	14,7	33,9

Торговля между Америкой и Германией в 1924 году выражается в следующих цифр (миллионах долларов):

Вывоз в Германию	440,5 (в 1923 — 316)
Ввоз из Германии	161,0 (в 1923 — 139)

Несомненно, проповедующие мораль янки в доброй части сами ответственны за превышение ввоза готовых фабрикатов и пищевых продуктов в Германию. Для оценки размеров американского экспорта в Германию укажу, что экспорт в Южную Америку в целом меньше экспорта в Германию (315 миллионов), а вывоз во всю Азию и Австралию превышает вывоз в Германию лишь на 1/3 (671 миллион).

Уменьшение промышленного кризиса в Германии об'ясняется несомненно в значительной степени ростом потребности внутреннего рынка. Влияние дефляции и стабилизации на различные классы можно характеризовать так:

1. Тяжелая промышленность еще больше укрепила свою гегемонию. Дефляционный кризис смел кое-кого из выскочек. Переход на золотую марку систематически разоряет мелких акционеров и укрепляет влияние крупных.

2. Банки крепнут; в процессе кредитного кризиса и биржевой спекуляции тоже отметаются всякого рода мелкие спекулянты и случайные элементы.

3. Крупное землевладение довольно быстро изживает аграрный кризис, ножницы смыкаются, покровительственные пошлины на хлеб призваны гарантировать ему прибыль.

4. Среднее и мелкое крестьянство оказывается реально обложенным налогами, и вновь влезает в долги. Преимущества, обусловленные инфляцией, улетучились. Уже чувствуется гнет капиталистических монополий.

5. «Интеллигенция» возвращается к «нормальному» доходу.

6. Жизненный уровень пролетариата все еще ниже довоенного. Но, по всей вероятности, он поднялся по сравнению со средним уровнем его в годы инфляции (здесь учет возможен лишь приблизительный), и уже не подвержен изо дня в день колебаниям, свойственным годам инфляции. Пролетариату приходится бороться против растущей дороговизны. Рабочее время удлиняется, в заработной плате заметна более сильная дифференцировка.

Решающее значение для современного германского капиталистического хозяйства имеет, несомненно, вопрос о внешнем рынке. Он еще не разрешен. Между тем лишь его разрешение даст возможность производить платежи по репарациям и перейти от депрессии к под'емной экономической кон'юнктуре. Пассивность торгового баланса, об'ясняемая «ввозом в кредит» перестанет быть угрозой лишь в случае роста товарного и денежного вывоза. На первый план выдвигаются вопросы налоговой торговой таможенной политики, а также борьба за заработную плату. Стабилизация в Германии входит в полосу, имеющую решающее значение для вопроса, удастся ли Германии сломать тесные границы рынка в процессе конкуренции с другими капиталистическими державами. Но это уже можно считать новой проблемой. Неудача в этой области не была бы простым возвратом к послевоенному кризису, основным признаком которого было закрытие международного денежного и кредитного рынка и необходимость ликвидации военного бремени; предстоящий кризис носил бы совершенно новый характер, он характеризовался бы новыми явлениями и их производными.

4. Перетасовка классов и ее политические результаты.

Среди всех факторов периода окончания войны и начала революции решающее значение приобретает следующий: капиталистические монопольные организации, возглавляемые тяжелой промышленностью, стали решающей, командующей в экономической жизни Германии силой.

Им удалось провести небольшую концентрацию капитала. Они шаг за шагом покрыли серьезные экономические убытки, выпавшие на их долю в результате войны — сначала при помощи инфляции, затем при помощи дефляции, реально приступили к систематическому накоплению, первым делом за счет неслыханного понижения жизненного уровня пролетариата, во вторую очередь благодаря экспроприации части городской мелкой буржуазии, интеллигенции, мелких и средних капиталистов.

Крупные землевладельцы, этот правящий класс капиталистической Германии (не господствующий, в ту пору господствующую роль играла крупная буржуазия с крупными банками во главе), укрепили свою экономическую мощь (они в экономическом отношении от войны не пострадали).

Оба эти класса вступили друг с другом в более тесную экономическую связь по сравнению с довоенным временем, в первую очередь благодаря растущему вкладыванию крупными помещиками своих прибылей в промышленные ценности. С другой стороны и тяжелая промышленность все в большей и большей мере приобретала крупную земельную собственность. В конечном же счете крупное сельское хозяйство в технически-экономическом отношении подпадало все в бо́льшую и бо́льшую зависимость от отраслей промышленности, производящих важнейшие для сельского хозяйства средства производства (азот, калий, уголь, железо, машины и орудия).

Рука об руку с экономическим восстановлением и усилением этих двух классов или их укреплением они восстановили свою политическую власть, шаг за шагом, путем мудрой, гибкой классовой стратегии.

Это восстановление политической власти крупной буржуазии и помещиков прошло три крупных этапа.

Исходный политический пункт, состояние, бывшее на-лицо в кайзеровской Германии, характеризовалось передачей крупной буржуазией исполнительной политической власти помещичьему сословию и личным произволом. Юнкерство с добавлением к нему подлаживающейся под юнкерские традиции руководящей бюрократии буржуазного происхождения занимало командные посты в армии, полиции, в администрации, суде, дипломатическом корпусе и при дворе.

Власть их потерпела крушение в ноябрьские дни 1918 года в имеющем решающее значение пункте — армии. Оставались другие существенные части буржуазного государственного аппарата, — администрация, суд и проч. Но они продолжали функционировать лишь благодаря поддержке со стороны Советов рабочих и солдатских депутатов.

Первый этап. Буржуазия становится «на почву фактов», пользуясь как щитом пришедшей к власти социал-демократией, и даже признает вместе с нею Советы рабочих и солдатских депутатов. Высший командный состав армии с Гинденбургом во главе дает офицерству приказ относительно признания Советов солдатских депутатов и пускания в них корней с целью их использования. Целый ряд вильгельмовских генералов, в том числе Гинденбург, Гренер и проч., «отдают себя в распоряжение Эберта-Шейдемана». Все единым махом перекрашивается в «демократизм», «республику». За шир-

мой социал-демократии начинают собираться и строиться — для начала все сообща — фракции и группы буржуазии. С одной стороны они удерживают за собой все мыслимые позиции в администрации, с другой стороны и одновременно с этим начинают строить строго классовые вооруженные организации. Прежде всего они в свите социал-демократии разбивают революционный авангард, предварительно его спровоцировав, дают отпор попытке захвата власти советами, «обеспечивают» прочность демократически-республиканского строя, а на-ряду с этим гарантируют себе наличие самостоятельных боевых сил.

Этот первый этап охватывает собой борьбу против пролетарской революции, против социалистического переворота, против Советов рабочих депутатов. Решительные удары приходятся на 1919 год.

На-ряду с этим и с той же целью буржуазия делает уступки рабочему классу в экономической области, удовлетворяя одну его часть и внося в него раскол: тут и фабзавкомы, и 8-часовой рабочий день, и быстрая демобилизация, прием военных инвалидов на предприятия, установление максимальных цен на пищевые продукты, принудительно низкая квартирная плата, деловое сотрудничество предпринимательских союзов с общественными организациями.

Существенным моментом в этом первом этапе является обезглавление революционной части рабочего класса — убийство Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Иогихеса.

Второй этап: борьба против мелко-буржуазной демократии и ее ликвидация в период с 1919 по 1923 год. В первую очередь борьба ведется при помощи экономических средств давления. Мелко-буржуазная демократия, не дерзающая посягнуть на основы капиталистической собственности, берется измором в финансовом отношении: буржуазия не платит налогов и вынуждает ее к инфляции, темп которой все ускоряется и становится все более и более бешеным. Гнет инфляции, тяготеющий на трудовых массах, целиком отражается на мелко-буржуазной демократии. Больше того. Мелко-буржуазная демократия, вынужденная обороняться от «Спартака» и делать широковещательные социальные обещания (социализация, налоговое обложение буржуазии, конфискация материальных ценностей, национализация шахт и проч.), не в состоянии уплатить по данным ею векселям. Так мало-по-малу блекнет ее притягательная социальная сила в глазах пролетариата и мелкой буржуазии.

Метод, при помощи которого буржуазия продвигается политически вперед — коалиционные правительства со все более и более широким охватом. Сначала «виртовская коалиция» (социал-демократы — демократы — центр), затем большая коалиция в Пруссии и — в качестве последнего этапа — большая коалиция в Германии. Правительство Куно было преждевременной попыткой точно так же, как в другой области такой же преждевременной попыткой был капповский путш.

На мелко-буржуазную демократию крупная буржуазия сваливает на-ряду с этим всю злобу мелко-буржуазной массы, возмущенной национальным

угнетением. Это она, мелко-буржуазная демократия, заключает Версальский мир, берет на себя обязательство политики выполнения и т. д.

Мелко-буржуазные массы, разочаровавшиеся в результате претерпеваемого социального гнета и национального унижения, втягиваются буржуазией в фашистские организации и приводятся в теснейший контакт с рейхсвером, выкристаллизовываемым в отборную классовую группу, управляемую старым офицерством,

В этом этапе, как и в первом, буржуазия не упускает случая обезглавить своих ближайших противников: она убивает Ратенау и Эрцбергера,

При всякой попытке продвижения вперед мелко-буржуазная демократия пугается призрака пролетарской революции, поворачивается спиной к рабочему классу и уходит все глубже и глубже в об'ятия буржуазии.

Каждая неудачная попытка мелко-буржуазной демократии только сильнее подрывает ее престиж, поднимая престиж ее противников справа.

Третий этап: ликвидация мелко-буржуазной демократии, социальных завоеваний революции и восстановление политической власти крупной буржуазии и помещиков начиная с 1923 года.

Переломный момент 1923 года состоит в том, что мелко-буржуазная демократия в конечном счете доведена до края пропасти инфляцией и оказывается на краю пролетарской революции. До смерти испуганная мелко-буржуазная демократия спасается в об'ятия крупной буржуазии и своего генерала Секта. Она наделяет буржуазного генерала полнотой политической власти. Одновременно с этим крупная буржуазия захватывает в свои руки бразды управления государственным хозяйством, в последний момент проводит дефляцию, стабилизует валюту, завоевывает этим на свою сторону массу мелкой буржуазии, показывая ей выход, и вносит раскол в рабочий класс. Она наносит социал-демократии глубочайшее унижение в глазах ее сторонников вторжением в Саксонию и Тюрингию. Теперь уже настало время сбросить ее на сорную кучу истории. Ее вытесняют из общегерманского правительства, безо всяких усилий буржуазии удается подавить сепаратное движение националистически экзальтированной части мелкой буржуазии (Гитлер и компания). Победителем является буржуазный генерал. Масса мелкой буржуазии, фашистское и социал-демократическое крыло прибраны к рукам, приведены в покорность. Сообразно этому у рабочего класса отнимаются уступки, сделанные ему в эпоху революционного натиска. 8—7-часовой рабочий день отменяется, предприятия очищаются от «излишних» рабочих рук, военные инвалиды, революционные рабочие и проч., а также штат служащих подвергается сильному сокращению, при чем систематически выбрасываются социал-демократические и демократические «новички», а на их место принимаются реакционные элементы. Крупная буржуазия энергично проводит в жизнь эти мероприятия, а мелкая буржуазия не смеет шелохнуться.

Государственный аппарат уже перестроен в реакционном духе, ему не хватает лишь монархической верхушки, которая бы символизировала новое укрепление власти крупной буржуазии и помещиков как внутри страны, так

и вовне. Избрание Гинденбурга призвано служить временным символом, так сказать суррогатом.

Но так-таки просто вернуть прошлое Германии, как и при всякой реставрации, уже нельзя. Германии уже нельзя управлять методами довоенного времени. Крупная буржуазия уже не откажется от непосредственного осуществления своей власти, старых позиций помещикам и монархии уже не вернуть. Чудовищное давление со стороны крупных капиталистических монополий направлено в сторону использования буржуазией этих позиций в своих интересах и обезврежения помещиков и монархии на манер американской трестированной республики, наличие же монархической верхушки само по себе роли не играет. Скорее надо рассчитывать, что произойдет дальнейшая коррупция демократических учреждений, и наполнение их реакционным содержанием, чем отмена созданных революцией демократических форм.

Это облегчается тем обстоятельством, что социал-демократия вышла из войны и революции существенно изменившейся. В наши дни — это республикански-реформистская мелко-буржуазная партия, которая цепляется за республиканские формы тем сильнее, чем покорнее гнется она под игом подлинных властителей концернов и трестов, ограничиваясь мелкой борьбой в рамках их господства и отказываясь от потрясения основ.

Между тем, это решающая почва борьбы. Борьба против господства трестов стала центральной осью классовой борьбы всех видов.

Ликвидация мелко-буржуазной демократии на протяжении семи лет служит наглядным историческим доказательством невозможности одержать победу над крупным трестированным капиталом средствами мелко-буржуазной демократии. Оружие мелко-буржуазной демократии разлетается перед ним в осколки подобно стеклу.

Этот горький урок должны были основательно вывести германские рабочие из пройденного в три этапа семилетия.

Но отсюда следует, что как создавшееся об'ективное положение, так и суб'ективный опыт рабочего класса содержит в себе все необходимые предпосылки для деятельности и роста революционной рабочей партии, — партии пролетарской диктатуры и социалистического хозяйства.

Это господство трестов немыслимо без экономической эксплоатации и сугубого политического угнетения рабочего класса, но оно же неизбежно восстанавливает на-ряду с этим против себя мелкую буржуазию и в первую голову мелкое крестьянство. Но бороться против господства трестов уже нельзя одними средствами мелкой профсоюзной и парламентской войны. Эти средства пасовали в последнее десятилетие перед войной пред лицом в ту пору еще менее мощных капиталистических об'единений. Еще в большей мере будут они пасовать сейчас. По мере приобретения все бо́льшего размаха и энергии повседневной борьбой против трестированного капитала она неминуемо будет претворяться в борьбу политически революционную, иными словами руководить ею может только коммунистическая партия.

Сама по себе «защита республики», шансы которой ничтожны, может вестись настоящим образом и успешно лишь партией, готовой и способной развязать все революционные силы рабочего класса и умеющей сгруппировать вокруг себя мелко-буржуазные массы в борьбе против трестированного капитала.

Мелко-буржуазная масса, имеющая позади себя в Германии борьбу с феодализмом, прошедшая полосу военного хозяйства и использовавшая в своих интересах инфляцию в борьбе против блока трестированного капитала и помещиков, вступит на путь смычки с рабочим классом.

В конечном же счете стабилизация господства трестов неизбежно приблизит водоворот империалистической войны. Это отнюдь не значит, что Гинденбург уже завтра ввяжется в борьбу, но это говорит за то, что курс будет взят на войну, что стабилизовавшаяся германская буржуазия с этим считается и к этому готовится, не ради «реванша» в первую очередь, но потому, что в положении, созданном проигранной войной, она не может развиваться экономически, и еще потому, что за различными маневрами, призванными разорвать узы бессилия, в конечном счете стоит и должна стоять государственная сила — война.

В последнюю империалистическую войну Германия была одним из двух полюсов, вокруг которого группировались империалистические противоречия. Другим полюсом была Англия. Это положение ушло безвозвратно. Капиталистическая Германия может быть лишь подсобной державой для одного из империалистических лагерей, между которыми произойдет решающая схватка. Но и подсобной державой может быть лишь та держава, которая в состоянии оказать помощь. Импотентная же является не суб'ектом, а лишь об'ектом империалистической борьбы и конкуренции.

Вот почему. а отнюдь не потому, что Гинденбург — генерал, возглавлявший мировую войну, реставрированная Германия вновь вступает на путь империалистической войны.

И потому же на-ряду с капиталистической реставрацией в порядке дня Гинденбурговской Германии стоит грядущая социалистическая революция, — даже и в том случае, если реставрация в течение некоторого времени будет происходить успешно.

По глухим деревням Севера [1]).

Альберт Рис Вильямс.

— Если вы хотите познакомиться с жизнью русского крестьянства, — сказал мне председатель ЦИК СССР, Калинин, — начните с какой-нибудь нашей отдаленной губернии, поезжайте в дальнюю волость, в самую «глухую» деревню. Для американца там будет мало удобств в смысле путешествия и жизни, но зато вы увидите доподлинную жизнь крестьянина.

В поисках такой «глухой» деревни, — места, куда не доносятся голоса внешнего мира, — мы и очутились в 250 верстах к востоку от Архангельска, после шести дней пути по Пинеге.

Пинега, благодаря своей отдаленности, с незапамятных времен служила местом ссылки. Русские цари ссылали туда тех, кто осмеливался восставать против их деспотизма, а теперь там можно встретить разных «знатных» лиц, высланных сюда Советской властью. Пинега лежит так далеко на Севере, что летом бывает залита светом неугасаемого дня: вначале это очаровывает, но потом начинает действовать на нервы. И она так отрезана от всего живущего, что появление первого парохода весной, после ледохода, приветствуется, как вестник из другого мира.

Несмотря на это, Пинега показалась мне вовсе не такой уже первобытной и глухой. И хотя пароход не шел по реке дальше города, — дорога бежала дальше. С этой дороги, даже от'ехав на много верст от города, можно было видеть золотой купол собора, построенного еще Екатериной II в виде «духовного аванпоста» ее империи.

Потом мы в'ехали в лес, пестревший елями, соснами и березами, и в течение нескольких часов наши телеги кидало из стороны в сторону по тряской дороге. Вдруг резкий поворот, и из этих зеленых туннелей мы выехали на берег реки. Перед нами, как яркая вышивка, раскинулись необозримые пинежские цветочные луга, протянувшиеся здесь верст на восемь. Эти луга, всего несколько недель тому назад залитые мутным весенним половодьем, теперь были затоплены цветами. Казалось, будто Север, отбросив свою долгую зимнюю суровость, вдруг решил отдаться безумному пиршеству пылающих желтых, розовых и пурпурных цветов: точно все краски и ароматы Севера в избытке

[1]) Перевод с английского.

дивной силы распустились здесь. Минуя золотые озера лютиков и пышные каскады ромашек, мы погружались в голубые волны колокольчиков и красные моря клевера. Над ними качались и гнулись от ветра белые скипетры гигантской таволги. Ветер был, очевидно, волшебный: как только он прекратился, все цветы куда-то исчезли, и перед нашими глазами заволновались звенящие темные тучи комаров. Слепящим роем они поднимались со всех сторон. По величине и силе эти комары были не менее замечательны, чем цветы: и те и другие были порождением этих лугов. Теперь, точно желая отомстить нам за цветы, смятые и раздавленные колесами телеги, они нападали на нас целыми полчищами, впиваясь в нашу кожу острыми жалами, отчего кровь брызгала сразу в сорока местах.

«Заеденный комарами» — здесь не только образное выражение. В своей книге «Год на Севере» Михайлов рассказывает, как два двенадцатилетних мальчика, собиравшие ягоды, были загнаны комарами в болото и там погибли под их яростным нападением.

Надо заметить, что нашего возницу не особенно беспокоили набросившиеся на нас тучи комаров. Он совершенно спокойно относился к ним, точно вокруг нас летали мирные бабочки... Предупрежденные заранее, мы запаслись скипидаром и гвоздичным маслом, но здешние комары упивались этими жидкостями, как сладостным нектаром. Приходилось жалеть, что мы не захватили с собой вытяжки из оленьего рога, одной капли которой, говорят, достаточно, чтобы обратить в бегство медведя.

Лучшим средством оказалась специальная сетка (комарник), в которую мы закутались с головы до ног, как в белое покрывало, превратившись в какие-то привидения, напоминающие собою ряженых членов пресловутой американской организации Ку-Клукс-Клан. Но даже и в таком виде мы не были вполне застрахованы от укусов особенно предприимчивых комаров, которые умудрялись проникать сквозь сетку, ни на минуту не оставляя нас в покое. И совершенно непереносимым было жужжанье—непрерывное, сводящее с ума, звенящее жужжанье,—неизменно на одной ноте, без повышения и понижения. Нет сомнения, что несмолкаемое комариное пенье может довести нервы до исступления. Иногда мне кажется, что эти комариные полчища сыграли свою роль в разложении союзной экспедиции, блуждавшей здесь в 1918 году по непроходимым лесным топям и необозримым равнинам.

— К полуночи похолодеет, и комарье пропадет, — успокаивал нас возница.

Но он ошибся: хотя и похолодало, почти до мороза, это только настроило комариный хор на еще более ожесточенный тон. Комары, кроме того, оказались непромокаемыми и не обращали никакого внимания на поливший вдруг дождь.

Поездка по тряской дороге с выбоинами на каждом шагу, надоедливые комары и тусклый свет белой ночи как-то оглушили меня, и дальше я двигался, как во сне. Я смутно помню переезд на первобытном пароме, балки и стропила какой-то погорелой деревни, торчавшие подобно черным скелетам, и в'езд в деревню П. под проливным дождем...

Тут я вспоминаю рослого крестьянина, радушно приветствовавшего нас в своей избе. Он выгнал собак, растолкал спавших на полу людей, потом позвал: «Катюшка»,—и, подняв с постели маленькую девочку, жестоко расчесывавшую себе лицо, указал мне на перину, на которой она только что спала. Я буквально падал от усталости и, ничего не соображая, погрузился в теплую, мягкую глубину, спасавшую меня от света белой ночи, от дождя, от холода, от комаров, и утонул в пуховом небытии.

Часов десять спустя, я проснулся. Меня разбудило, должно быть, появление той же самой маленькой Кати, которая все еще расчесывала свое лицо. Я чувствовал потребность извиниться, что изгнал ее ночью из ее постели.

— Что это с тобой? — спросил я.

— Оспа... черная оспа, — слабо протянула она.

— У нее ветряная оспа, или она просто путает, — сказал я сам себе и опять уснул, как убитый.

На этот раз меня разбудил ее братишка. Он пришел за берестяным туеском и сетовал, что придется ему одному итти по ягоду.

— Почему же сестра с тобой не пойдет? — спросил я.

— Больная она, — ответил мальчик. — У ней черная оспа.

— Черная оспа? — у меня перехватило дыхание.

— Эге, — небрежно подтвердил он. — Оттого-то она и спала в твоей постели, а не на полу.

Волосы у меня встали дыбом, и я вскочил с постели. Взбешенный, перепуганный, я выбежал из избы, чтобы поскорее узнать всю правду. И вот что мне пришлось услышать.

В деревне свирепствовала эпидемия черной оспы. Умерло уже пятнадцать человек. Маленькая Катя только что стала поправляться и, следовательно, находилась в самом заразном периоде болезни. Доктора не было ни в этой деревне, ни в соседней и вообще нигде в окружности ближе, чем за пятьдесят верст.

«...Первобытную, глухую, дальнюю деревню...» — посоветовал мне Калинин. Эта деревня вполне отвечала всем этим условиям. И, несомненно, здесь было чему поучиться. Но удастся ли мне воспользоваться моими поучительными сведениями?.. Сердиться на моего хозяина, стоявшего передо мной с улыбкой на лице, было бы глупо. Он из чистого радушия и гостеприимства уступил мне лучшую постель в доме. Что это я так растревожился?.. Он и в толк не мог взять, да и никто из толпившихся кругом нас крестьян не понимал моего волнения. Они были весьма заинтересованы мною, но только как существом, приехавшим из Америки, а отнюдь не как человеком, проспавшим ночь в постели оспенной больной. Многие из них спали так каждую ночь вот уже две недели под-ряд и не заразились...

Микробы, о которых я начал говорить, казались им сплошной выдумкой. Гораздо яснее для них была их собственная теория: у каждого человека своя судьба, — что кому на роду написано, от того не уйдешь. Судьба все отмеряет: кому счастье, кому недолю, кому жизнь, кому смерть, кому — черную оспу.

— Тут дело простое, — сказал старый мужик, — либо захвораешь, либо нет... либо помрешь, либо нет.

Сопровождаемый сердечным «до свидания», «прощайте», «милости просим опять к нам» и поклонами маленькой Кати, которая смотрела на меня из окна, расчесывая рябины на лице, я бежал из деревни. Мы побили рекорд быстроты, не обращая внимания на комаров, на грязь, на тряску. Все мои мысли были сосредоточены на симптомах страшной болезни, и мне казалось, что я испытываю их на себе, все один за другим. В таком состоянии я прискакал в Т., где находится волостной совет. Местные власти искренне старались отнестись к моему рассказу со всей той серьезностью, какую я от них ожидал. Но было очевидно, что теория микробов производила на них мало впечатления... И к тому же они никак не могли уразуметь, как это человек в состоянии так волноваться по поводу того, что с ним может приключиться в будущем.

— Но ведь ночь-то вы хорошо проспали? — осведомился один старый фаталист.

— Как будто ничего.

— И оспой не заболели?

— Пока нет.

— Так об чем же вы беспокоитесь?

Но все-таки здесь нашлись и утешительные сведения: в Перемени, в 36 верстах по реке был медицинский пункт; туда уже доставили детрит и фельдшер Попов вел там усиленную борьбу с эпидемией.

— Чорт бы его побрал, — засмеялся старый хромой мужик, ударяя себя по бокам, — что делает: кожу человека расцарапает, а когда у того вспухнет — говорит, что его оспа не тронет... Господи, господи! Царапать человеку иглой кожу и уверять, что это прогонит болезнь — вот какие времена, до чего дошли, чисто сумасшедшие!

Его заразительная, веселая насмешка доставила бы живую радость каждому противнику оспопрививания. Сам он стоял за старые средства, от дедов еще унаследованные: ладонки, заговоры, все, что выдержало испытание веков... Самый действительный заговор против оспы должен был повторяться трижды и гласил, приблизительно, следующее:

«Пантелимон святой целитель, великомученик, угаси ты огонь.

Утоли боль-тоску, отгони стрелы вдовы от раба твоего (такого-то).

Леший-лесовик, замани хворобу в лес, нашли на лесного зверя, пусть его гложет, пусть его язвит, а не раба (такого-то).

Ветры буйные, рассейте, развейте худое семя по сырой земле, по каменьям, по песку, а не по белому лицу.

Водица ключевая, сведи рябины да с белого лица, вымой рябины дочиста, добела.

Святые угодники, молитесь за болящего раба (такого-то)».

Нашептанный трижды, затем переписанный на бумажке, этот заговор неминуемо должен справиться с болезнью. Его зашивают в ладонку и вешают больному на шею; он его не снимает, пока не выздоровеет. А если он не

выздоровеет, а умрет — это вовсе не значит, что заклинание не действительно: это только показывает, что его или прошептали, или переписали неправильно.

Такое об'яснение отнюдь не хитрая увертка: ибо заклинание основано на вере в магическое действие слова. Точные слова его были установлены века тому назад тайным договором с силами невидимыми... Изменив хотя бы одно слово, один слог в точной формуле — уже нарушишь чары. Но повторяя их правильно без запинки, пуская, как стрелу в цель — непременно принесет больному исцеление.

Этот заговор против оспы уже не вполне языческий, к лесовикам и силам природы прокрались и святые — христианство видоизменило его, он стал чем-то вроде молитвы, обращением к незримым силам. Но настоящее заклинание является не просьбой, а скорее приказанием, напоминанием о тайном договоре, с полной верой в его действительность. Такие заклинания обыкновенно оканчиваются: «Слова мои крепки и лепки, нет моим словам переговора и недоговора, будь ты, мой приговор, крепче камня и железа, замыкаю свои слова замками, а как замки крепки, так слова мои метки» и т. д.

Так кончается заговор, который передал мне Иван Б., председатель Архангельского совета, как испытанное средство против малярии.

— Вместо вашего хинина, — пояснил он мне, — больного обыкновенно окропляют болотной водой и стараются посредством чар выгнать из него «беса», который, по их мнению, трясет больного и заставляет щелкать зубами.

По убеждению крестьян, корень большинства болезней таится в бесах, в нечистой силе. Случается, что медицинский персонал, посылаемый на борьбу с эпидемиями, принимают за самое нечистую силу, и крестьяне думают спастись от болезни тем, что убивают докторов... Когда врачи приехали в Кемский округ, где свирепствовала холера, от них позапирали наглухо все двери, и из окон бабы кричали им: «Сгиньте, дьяволы, чего приехали детей наших морить».

— Послушайте, — кричали врачи в ответ, — мы не морить, а спасать ваших детей приехали, мы прививку привезли, вы не понимаете.

Обычно старинные верования, держащиеся веками, глубоко скрыты и вырываются наружу лишь в критические моменты жизни. Вообще говоря, они вымирают. Вера в древние заговоры и заклинания исчезает вместе с исчезающим поколением. Только староверы еще упрямо борются с оспопрививанием. Те двенадцать миллионов крестьян, которых Россия разослала на сорок фронтов во время мировой войны, вернувшись, принесли в деревню брожение новых идей и новые взгляды. И теперь, пока мы ехали в Перемень, мы по дороге встречали множество конного и пешего народа, спешившего на оспопрививательный пункт.

Пройдя под вывеской «Санитарный пункт», мы попали в обширную избу, полную народа. Люди стояли в ряд с засученными до плеча рукавами. Хвост медленно двигался по направлению к маленькому человеку в белом халате, стоявшему в углу у окна. Это и был фельдшер Попов, прикасавшийся блестя-

щим ланцетом к голым рукам по мере того, как подвигалась очередь. Несколько мгновенных взмахов — появляются три красных рубца, — следующая рука. Время от времени, не поднимая головы, он кричит:

— В очередь! Не трогать руки!

Затем ряд проходит перед ним вторично и он втирает детрит. Углублен в дело, сосредоточен. Только появление «американца» заставляет его прервать его почти ритмическое занятие. Я накидываюсь на него с вопросами об инкубационном периоде, симптомах болезни и пр.

Вместо ответа он достает циркуляр, полученный вместе с детритом от Наркомздрава. Он читает его вслух, но об интересующих меня материях там не говорится ничего. Книг насчет оспы у него нет никаких... Да и будь у него книги, разве есть ему время читать?.. Ему приходится лечить ушибы, переломы, рак, истерию, лихорадку, иметь дело с рождением и смертью в округе, по величине равному иному королевству. И ко всей этой обычной работе прибавилась еще эпидемия, с которою он должен был бороться один со своим ланцетом.

Отпустивши девяностого пациента за этот день, он ведет меня к себе обедать. За обедом было много рыбы: вчера был хороший улов. Здесь так водится: вдосталь рыбы и дичи, когда охотникам повезет, вдосталь хлеба, когда морозом не побьет урожая... Когда нет ничего, тогда остаются его тридцать рублей в месяц, которые он получает от государства... У него очень ограниченный доход, очень ограниченные знания и очень ограниченное оборудование, — но в общем он человек дельный, и привитая им оспа принялась у меня великолепно.

Ему и в голову не приходило, что его можно было считать смелым человеком. Северяне все очень смелы. Их жизнь постоянно в опасности: морозы, бури, наводнения... Они всегда стоят лицом к лицу со смертью и при этом всегда спокойны, бесстрастны, не взволнованы этим сознанием. Это казалось мне очень странным. А им, вероятно, казался не менее странным приезжий американец, такой беспокойный, столь встревоженный предполагаемой болезнью и опасностью.

Чем выше мы поднимались по реке, тем глубже уходили в русское прошлое. Улицы с высокими черными домами походили на Старый Новгород. Тут были настоящие бревенчатые дома, настоящие крестьянки в высоких головных уборах и девушки, водившие хороводы в ярких, как радуга, одеждах. Тут же были и былины — эпос, вещающий о подвигах сказочных древних витязей, уводящий нас в дальний сумрак славянской истории.

Когда-то по всей России хаживали скáзители былин, баяны, русские барды — теперь их можно встретить только в этой лесной глуши. Но и тут пришлось мне долго разыскивать их: наконец, в В. на мои расспросы ребятишки ответили:

— Есть тут у нас бабушка, она поет и сказывает.

И вот из маленькой дверцы маленькой бревенчатой хижинки вышла маленькая старушка — больше восьмидесяти лет, наверно, и невесомая на вид. Точно из волшебной сказки вышла. Но она не обладала волшебным могуще-

ством и была в искреннем отчаянии от того, что ей нечем было угостить меня: в доме даже хлеба не было.

— Ты меня песней угости, бабушка, я только за этим и приехал, — сказал я.

— Вот и хорошо, батюшка, петь я тебе хоть до вечера буду.

И тут же она начала мне былину об Илье Муромце, богатыре при Владимире-Красное Солнышко.

— Неужели вы не устали? — спросил я ее после того, как она полчаса сказывала о подвигах Ильи Муромца.

Она даже не ответила мне, она не слышала моего вопроса: она была уже не в этой бревенчатой хижинке, а в дальнем Киеве-граде, она слышала звон колокольный с башен киевских, она мчалась с Ильей по полю бранному. Она была вся захвачена своим искусством — истинная артистка с превосходно поставленным дыханием. Голос ее, хотя и ослабевший к восьмидесяти годам, был крепок и ясен: казалось, она может так продолжать много часов под-ряд... Но, наконец, Илья убил татарского хана, и я воспользовался этим обстоятельством, чтобы попросить ее записать в мою книжку несколько стихов. Она улыбнулась и покачала головой. Она оказалась неграмотной. Мало кто из ска́зителей былин умеет читать или писать: они и не стремятся к этому. «Это память сбивает», — говорят они.

Память их в самом деле изумительна. Наша старушка, Марья Кривополенова, знает наизусть сто тысяч стихов. О. Э. Озаровская, собирательница народных сказаний, записала больше этого. Ска́зитель былин Фернов знал наизусть семьдесят былин, которых хватило бы на два месяца безостановочного пения. Но это огромное собрание поэтических сокровищ русского народа только недавно было напечатано: оно в течение веков передавалось из уст в уста. Так, например, те сказания, которые мне пришлось услышать от Кривополеновой, из поколения в поколение переходя, дошли до старого крестьянина, занимавшегося ловлей котика в Ледовитом океане. Он был дядей нашей певицы. Маленькой девочкой она от него научилась им и пела их — и в веселые дни своей юности, и в тяжкие годы скитаний и голода.

Но от нее уже некому научиться старинным сказаниям: она последняя в своем роде. Давно исчезли трубадуры Франции и барды древнего Валлиса. На наших глазах сходит с лица земли великая раса былинных певцов на севере России... И зачем современным детям утруждать свою память заучиванием этого эпоса, когда они могут найти его в современных книгах? Да и могут ли старые сказки сохранить свое очарование для поколения, пережившего десять лет войны и революции?..

Этим крестьянам, которые шли в царскую армию бок-о-бок с двенадцатью миллионами товарищей, ничтожными покажутся прежние сказочные войска. Ничтожными покажутся и странствования Ильи Муромца, богатыря славного, скромному охотнику из здешней деревни, который побывал в русском отряде во Франции, прошел под триумфальною аркою в Париже и блуждал по пескам алжирских пустынь. Да и тому молодцу, что живет вниз по реке, в свое время сбросившему бомбу с аэроплана в воинский поезд и

обратившему в щепки целый городок, подвиги Ильи, дубинкой сокрушавшего дубы могучие, пожалуй не слишком будут удивительны. Кроме того, разве может какое-нибудь давно совершившееся чудо из сказочных времен сравниться с настоящим живым чудом?.. А такое чудо появилось в деревне Ч., за две версты отсюда: и все ребятишки наперебой советовали нам туда поехать. Так, простясь с последней сказительницей былин, мы и отправились на поиски этого нового чуда, — оно оказалось первой, единственной молочной фермой на сотни верст по Пинеге.

Приехали мы как раз во-время, чтобы присоединиться к толпе, с изумлением разглядывавшей таинственную, странную вещь — машину, отделявшую сливки от молока... Это был волшебный прибор, который в одну минуту делал то, на что раньше у крестьян уходили целые сутки... Сепаратор был из Америки, маслобойка—из Германии и формы—из Англии. Русские сливки, дополняя этот круг, превращались в чудесное желтое масло.

Для тех, кто месяцами знал ту безвкусную или прогорклую мазь, что у крестьян называется маслом, это было откровением. А когда убеждались, что из того самого молока, которое только портили крестьяне, получается это золотистое аппетитное произведение искусства, то это уже казалось чудом. Чудотворцем оказался худощавый, слегка сгорбленный человек, с глубоко запавшими глазами, аскетического, интеллигентного вида — Петр Табирин. В прежнее время из него вышел бы Петр Пустынник, проповедующий крестовый поход против неверных; в наш политический век он был Петр—революционер; он уже выступал в крестовый поход сначала против царя, потом против великой войны, потом против большевиков, потом против белых и, наконец, против всех врагов Советской власти. Жизнь его была рядом битв, голодовок, арестов, тюрем, побегов... Утомясь политической борьбой, он, наконец, бросил ее и в течение двух лет занимался изучением на практике молочного дела. И теперь, воодушевленный усердием, опирающимся на технические познания, он стал ревностным апостолом пропаганды... масла крестьянам Верхней Пинеги. Он выбрал деревню Ч. за ее выносливую породу рогатого скота, способного добывать себе корм в лесах. Кроме того, здесь, в изгибах реки, раскинулись жирные заливные луга и цветоносные поля. Впрочем, для такого «крестоносца» они были только полем битвы.

Оставив позади политическую борьбу, Табирин перекинулся на экономический фронт. Ему пришлось выстроить бревенчатое здание, привезти сюда и пустить в ход машины, обучить персонал мальчиков-служащих, организовать кооператив, вышколить крестьянство в смысле санитарных и гигиенических условий, ввести, наконец, новые научные идеи в умы, медленно отказывающиеся от старых суеверий. Для всего этого мало доброй воли и знаний: нужно еще иметь глубокое понимание привычек и предрассудков далекой лесной русской деревни.

Тут, например, когда в лесу затеряется скотина, хозяева советуются с местным ведуном. Когда торгуют корову, тут можно услышать, как какая-нибудь старая бабка говорит: «Нет, цвет у ней не тот. Хозяин ее не взлюбит»,—при чем «хозяин», со вкусом которого так считаются, вовсе не ее муж,

как это можно бы было предположить, а домашний дух—«домовой», ни более, ни менее. Он в некоторых случаях любит белый цвет, а иногда предпочитает черную масть или пегую, но во что бы то ни стало надлежит его умилостивить, потому что, если он корову не взлюбит, либо у нее молоко пропадет, либо она заболеет, либо он в лес ее заведет.

Не так еще давно редкое событие обходилось без упоминания о домовом. Например, переселяясь на новое жилье, хозяйка приносила из старой печки горшок горячей золы в новую избу и приговаривала: «Добро пожаловать, дедушка, на новоселье»... Приводя новую корову в стойло, владелец ее кланялся на все четыре стороны и говорил: «Вот тебе, хозяин, новая скотинка, ты ее полюби, ты ее напои и накорми». Но дни владычества домовых почти уже миновали. Беседуя с Игорем — четырнадцатилетним начальником маслобойного эскадрона, я ему сказал:

— А что, если в новую молочную домовые заберутся?..

— Да уже и забрались, — ответил он. — В каждом ведре с молоком их сколько угодно. Табирин их зовет бактериями.

— Так что старинные домовые перевелись... — вздохнул я с притворной печалью.

— Да, — ответил он со смехом, — революция их всех перебила.

Но не только для мальчуганов и красноармейцев умерли домовые: они умерли и для многих из старшего поколения. Умирают также и другие идеи и установления, хранившиеся целыми веками.

Они были художественны в чтении — читать о них было всегда интересно, — но они крепко держали деревню в тисках темноты и страха и приковывали ее тяжелыми цепями к прошлому. Революция ворвалась, как вихрь, унося старые взгляды, изгоняя миазмы суеверия, внося в деревню импульс новой жизни. Вот почему Петр Табирин, боровшийся когда-то с Октябрьской революцией, поддерживает ее теперь. Как ни разрушительны, как ни опустошительны ее порывы,—они прокладывают путь в будущее. Революция освобождает силы, помогающие осуществлять предприятия, подобные этому Она десятикратно облегчает задачи учителя и агронома. Прежде голос этих пионеров был гласом вопиющего в деревенской пустыне — иногда их выгоняли, а иногда и убивали. Теперь пустыня встает в пылкой жажде слышать их и работать с ними.

Можно еще найти в необ'ятной России тысячи деревень, погруженных в грязь и в нищету, окованных болезнью и невежеством, но глухих деревень больше нет. От многовекового сна просыпаются они, разбуженные новыми зовущими голосами.

Хохлик.

А. Зорич.

На крещение, в святой крещенский вечер, мужик Евфим Почка, который жил бобылем в выселках на болоте, ставил в усадьбе витые освященные кастрички. Кастричками, то-есть омазанными мучным клейстером крестиками из вонючей конопляной соломы, полагалось по христианскому обычаю, во избавление от всяческой скверны, облепить в этот святой вечер косяки и двери и стрехи всех наличных в усадьбе строений, а также украсить ими головы скотине, чистой, с точки зрения евангельского сказания о потопе и содержимом странствовавшего Ноева ковчега.

К вечеру зашел жестокий, сухой мороз: звезды снизились, как будто, и горели особенно ярко, трещали глухо плетни, призбы, и кололся кусками лед на промерзших колодезных срубах. Евфим же Почка, бобыль, по случаю того обстоятельства, что на з а ж и н к и, после жнитва, когда девки плели венки из колосьев, он осушил самостоятельно, во славу двадцати-пудового урожая, целую четверть зловонного зеленоватого самогона и, бахвалясь перед парнями, спьяна лазил ночью до самых петухов по болоту, ныряя и вылавливая всполошенных склизких вьюнов — Евфим Почка прихварывал и кашлял мучительно всю осень и зиму, от спаса до кутьи включительно. Он долго размышлял поэтому, завивая в крещенье конопляные кастрички, как бы в отступление от установленного ритуала, но не нарушая святости окропленных в церкви крестиков, разнести их по усадьбе, не снимая на морозе шапки. Он ходил даже советоваться по этому поводу к попу, отцу Епенету, но Епенет, всецело поглощенный преферансом с болваном, будучи жестоко обремижен матушкой на восьми бескозырных — торопливо благословив его в сенцах, направил дело на заключение дьячка Климентия. Мнение Климентия едва ли могло быть компетентным в столь щекотливом вопросе, ибо дьяк из прогнанных за различные непристойности семинаристов всегда известен был дерзким вольнодумством, а в последнее время до того уклонился в ересь, что на храмовой праздник непосредственно после церковного господу богу служения, в полном облачении и при кресте, совершил под гармошку три тура на карусельном козле, за что указом благочинного и был приговорен к отбитию публичных поклонов. Тем не менее у дьяка, в итоге длительный консультации, вынесено было компромиссное решение, по которому Почке надлежало выйти

во двор без шапки, но окутавши голову платком, снятым по этому случаю специально с всходившего дьячихиного теста: от платка кисло пахло опарою.

Почка, набив все карманы кастричками, с молитвою вышел, обмотавшись дьячихиным платком, во двор — и последствия этого необдуманного и святотатственного шага тотчас же не замедлили сказаться. Засохший клейстер, послюненный, мгновенно застывал на морозе, и кастрички упорно не прилипали к промерзшему дереву: ругаясь злобно вперемежку с положенными молитвенными словами, Почка твердыми ногтями стал вдавливать их в законопаченные щели и, вдавивши, для прочности густо плевал сверху на святой крестик, укрепляя его таким образом застывающей на морозе слюной. Потом, когда он склонился с кастричкой к собачьей конуре, огромный овчар, иззябший, голодный и злой, оглушительно гавкнул изнутри и зубами ухватил его за конец от дьячихина платка, размотал и затянул платок под себя, в будку: это было знамение, указующий и предостерегающий перст свыше. И даже брюхатая и взлохмаченная, с искалеченными дурною пастьбой кривыми и плоскими копытами, лошаденка в хлеву — животное в высшей степени кроткое и многотерпеливое — когда Почка, вновь обмотавшись, несмотря на знамение у собачьей будки поганым платком, попытался укрепить ей свяченую кастричку между ушей, фыркнула, всхрапнула испуганно и сделала по хлеву антраша, совершенно не свойственное ее почтенному возрасту и флегматичному характеру; с нашеста вверху сорвался и выскочил во двор, кукурекнув нелепо и несвоевременно, разбуженный шумом петух.

Детали эти, как угрожающие симптомы надвигавшейся за осквернение кастричек, беды — учтены были, впрочем, позднее, тогда только, когда надвинулась и разразилась уже карающая катастрофа, а именно: от этого святого вечера у Почки беспричинно и неестественно начал вздуваться живот.

Живот рос медленно, но неуклонно, заметно увеличиваясь в об'еме с каждой лишней неделей, и вскоре начал поражать всех своими чудовищными размерами: худой и костлявый Почка становился похож на придаток к этому огромному, двигавшемуся как будто впереди него, вздувшемуся шару. Почка лишился сна и аппетита, обессиленный, изжелта-бледный, с ввалившимися тоскливыми глазами, он с трудом мог передвигаться по улице, задыхаясь, пошатываясь и цепляясь обеими руками за плетни. Вскоре он слег, не смогши даже забраться перед смертью на спасительную печь, и лежал на топчане неподвижно, икая непрерывно и всхлипывая, похожий на живую, колышащуюся и безобразную гору.

Учтя все предыдущие обстоятельства, в деревне пришли, в итоге длительной дискуссии и многих советов с пастырями, к тому единодушному и философскому заключению, что каждому человеку воздается по его грехам, что в данном, якобы предусмотренном евангелием от Иоанна, случае лечить Почку собачьими докторскими порошками не положено и совершенно бесполезно, но более нужно полагаться на всеблагое господнее усмотрение. А чтобы нечисть, наличие которой предполагалось несомненным во вздувшемся Почкином животе, не распространилась бы по деревне, отец Епенет, содравши, ввиду исключительности случая, мешок гречихи и шестерых гусок

с пасомых мирян, молебствуя, окропил поганую Почкину усадьбу, птиц, скотов и зверей, а также велел впредь пищу, которую носили Почке на выселки родичи из деревни, предварительно давать ему для благословения и освещения. К пище этой, с большими предосторожностями, с крестным знамением и молитвенным шопотом вносимой в его избу, Почка, впрочем, почти не притрагивался: его тошнило непрерывно, и каждый лишний глоток вызывал мучительную, судорожную рвоту.

Деревня напряженно выжидала развязки, бабы стали кругом обходить нечистое место на выселках, мужики, кто был посмелее, приняв необходимые предохранительные меры, по ночам ходили под темные Почкины окна послушать, как оно клокчет.

Вскоре же пришел на деревню неизвестный странник, прохожий человек, который толковал апокалипсис, перебирая по череду всех священных коней, а также читал чудесную книгу про легкий сон богородицы в древнем городе Вифлееме. В книге описывалось со всеми возможными подробностями, как «Христа поймано бысть и приведено к жидам на поругание», как богородица, во сне увидев страдания Христовы и жажду на кресте, с птицею послала ему божественное молоко из собственной груди, и как обсаживалась ангелами, ко времени воскресения и вознесения Христова, дорога в рай сосной, мирным господним деревом.

В видах же коммерческих в книге повторялось через каждые десять священных строк, что «кто сон этот спишет и будет содержать в доме своем в чистоте и с прилежностью, того не оставит в долгой жизни неизреченное божье благоволение»: его дом помилован будет от лукавого, и злой человек не прикоснется его, этому дому будет счастие и умножение всякого пола; хозяин в дороге помилован будет от грому и бури, никак не потонет на воде, правым предстанет перед царями и судьями, и может не печалиться о смерти жены, ибо обвенчается благополучно вторым браком.

Прохожий человек, поселившись у церковного старосты и развернувши спешно свою походную канцелярию, открыл прием заявлений на переписку, и бабы, в вознаграждение за труды, в изобилии стали носить ему яйца, сало, хлеб, холсты, поросят в мешках и кудахчущую, связанную птицу. Предметы эти прохожий человек, при посредстве старостиных сыновей, разбазаривал незамедлительно в торговом местечке, отстоявшем от деревни на двадцать две версты: старостины сыновья, на основах процентного отчисления, охотно возили туда, оборачиваясь за сутки, его мешки и корзины.

Когда страннику рассказали про случай с бобылем Почкой, он высказал тотчас же полную готовность вникнуть в это дело разумом и знаниями, данными ему от бога. Сопровождаемый огромной толпой и польщенный, видимо, этим общественным вниманием, он проследовал в выселки и вошел, благословясь староверческим крестом и держа перед собой раскрытой чудесную свою книгу, в хату, где стонал в изнеможеньи тихим и жалостным стоном, похожий уже восковою прозрачностью заострившихся черт на мертвеца, Евфим Почка. Облепившие окна мужики видели снаружи, как, растопырив пятерню, странник давил ожесточенно огромный Почкин живот, отчего

у Почки дергались судорожно ноги и закатывались под лоб воспаленные красные глаза; потом он долго бормотал что-то, став у топчана в изголовьях, быстро шевеля сухими бескровными губами, дул и плевался.

Выйдя затем из хаты, прохожий человек об'яснил обступившей его и слушавшей жадно деревне, что в животе, как явствует из данного ему откровения, заключается кара, уготованная не токмо Почке, но, через него, и всякому, кто погряз в неверии и во гресех, ибо Почка в муках родит, по истечении наступающих постных дней, хохлика, иначе водяную комету, от которой пойдет по православной земле в небывалом изобилии куриный мор и червяк на хлебах, лопушица, клещи, пожары, градобитие и всяческие иные несчастия. Он говорил, что есть два способа избавления от надвигающейся страшной беды, если мужики с должным усердием отблагодарят его за положенные на это дело труды. Способ первый — заключался с его слов в том, чтобы с божьего дозволения выгнать комету из Почкина живота ранее, нежели, созрев, она выйдет оттуда естественным путем, и уничтожить ее тем порядком, о котором ему, страннику господню, особо известно. Этот способ был прост — он сводился, в общем, к приему, употребляемому обычно для изгнания чертей из татарина: в каждом татарине, как известно, есть черти, по шестьдесят три штуки, а если рыжий, косой или с горбом, то сто двадцать; для изгнания их надобно наступить двум человекам татарину на живот, и черти, никак не стерпев, обязательно выйдут икотой или рвотой, в зависимости от техники исполнения и различных второстепенных обстоятельств. Если же мера эта окажется не действительной, — говорил прохожий человек, — то следует на Маковея, отмолившись преподобному Мирону об избавлении от трясовитых болезней и согнав и приперев в хате всю дворовую живность, вовсе пожечь вместе с нею и хозяином поганую усадьбу, которую запалить установленным на этот случай порядком, с запада славного господнего солнышка.

В процессе прений по текущему моменту, когда деревня приступила, не спеша, к всестороннему и длительному обсуждению мер этих по борьбе с водяною кометой, в дело вмешался информированный о летучем собрании, председатель сельского исполкома. Это был горожанин коммунист, доброволец проведенной недавно в уезде деревенской мобилизации, в высшей степени добросовестный, увлекающийся и горячий, но мало знакомый с темным и тяжким деревенским бытием и с особенной природой крестьянского мышления человек. Он говорил на импровизированном сходе долго, жарко и вполне, казалось бы, убедительно, но, увлекаясь, перегнул незаметно палку и обрушился со всей страстностью и нетерпимостью фанатика на церковь, на алчную и циничную русскую деревенскую поповщину, на дикие суеверия и представления, владеющие крестьянским сознанием, — он смаху рубил вековые узлы, разбивал и разрушал смаху все, что лежало и укреплялось столетиями в основании беспросветной, но привычной и ощущаемой, как предопределенная где-то и кем-то тяжелая неизбежность, деревенской, хрестьянской жизни. Ни в ком, видимо, за исключением державшегося возле него, единственного в деревне, побледневшего и возбужденного комсомольца, не

вызывали сочувствия его слова, и, как это всегда бывает на сходах, когда деревня не понимает, или враждебно относится к тому, о чем на сходе говорится, — он ни с кем не мог встретиться глазами, чтобы посмотреть на человека в упор, чтобы силой взгляда подчинить себе волю массы: мужики угрюмо глядели в сторону, так, что, казалось, более всего интересует их в данный момент и во всей этой истории стая нахохленных галок, усыпавшая обгорелые вербы на дамбе через болото.

Сход разошелся в молчании, не приняв никакого решения и никак не показав своего отношения к тому, о чем говорил председатель.

Комсомолец верхом уехал тотчас же с пакетом от председателя в местечко, в уезд, а вечером прохожий человек приступил, благословясь, к изгнанию хохлика или же водяной кометы из нечистого живота бобыля Евфима Почки.

Едва босыми, грязными и огромными ступнями он придавил колышащийся страшный Почкин живот — Почка, конвульсивно задергав ногами, закричал исступленно, вскочил и кинулся, обезумевшим своим видом и неестественностью быстрых движений напоминая животное, убегающее от ножа, к дверям. Но обессиленный, весь покрывшийся мгновенно липкой холодной испариной, он навзничь упал, закатив глаза, у порога, и прохожий человек, вновь проворно вскочив ему на живот и быстро перебирая ногами, стал ожесточенно месить податливую, мягкую и клёкающую массу: так месят глину или тесто в грязных местечковых пекарнях на Западе. Почка хрипел, задыхаясь, извивался и ногтями рвал вокруг твердый земляной пол; его глаза вылезли из орбит, из носа фонтаном била кровь, на бороде и на груди клочьями застывала липкая желтая пена. Так страшен был скелетообразный этот, с искаженным лицом в крови, весь сведенный судорогой, икавший громко и дергавшийся по полу человек, что мужики, глядевшие в окна, отпрянув, бледнея и крестясь, отошли поспешно к плетням.

Когда Почка кончился и, скрючившись, грязный и страшный, застыл на полу, прохожий человек раздел его, не торопясь, осмотрел и ощупал внимательно его опавший, помятый и безобразный живот. Во дворе он об'яснил вполне авторитетно поджидавшим его мужикам, что комета оказалась живучая и самосильная, что она никак не согласилась выйти на свою погибель из живота, но, оставшись там, желает расти естественно на хрестианское несчастие, на муку всего православного народа, что нужно, стало быть, как было говорено, особым порядком запалить на Маковея поганое место; но так как ждать до Маковея оставалось четыре полных луны, и на Маковея приходились рабочие, страдные дни, когда некогда было возиться с кометами — прохожий человек предложил любезно, в отступление от установленного порядка, спалить Почкину усадьбу в ближайшую среду, как день постный и угодный богу, за дополнительную, однако, ввиду связанного с этой срочностью риска, мзду в две свиных или телячьих туши, в живом весе о шести пудах каждая.

Это предложение, не входившее в первоначальный калькуляционный расчет, ввиду позднего времени, было отложено обсуждением на следующий

день, но на следующий день утром в деревню прибыла из местечка, под охраной конных милиционеров, врачебная комиссия, следователь и представители власти из уезда.

В хате, осаждаемой огромной толпой слышавших уже про комету и наехавших с округи крестьян, врачи вскрыли огромный Почкин живот и извлекли оттуда опухоль, весом до двенадцати фунтов. Они зачитали перед толпой подробные акты и протоколы, об'ясняли подробно, что у Почки был эхинококк печени, иначе пузырчатая глиста, совершенно обессилевшая его организм, что эта опухоль приросла в области позвоночника, и при вскрытии из оболочки ее вытекло большое количество разжиженного сала, похожего внешне на талый, выжатый мед, что никакого отношения к способам размножения крещенских кастричек, а равно и к водяным, вообще не существующим, но порожденным тьмой и обманом кометам эта болезнь не имеет и что мучительная Почкина смерть произошла от медленного, насильственного удушения.

Мужики слушали молча и покорно: они опять глядели в сторону, на вербы, где кружились вверху и каркали встревоженные галки. Когда доктор вынул из ящика и стал разворачивать вырезанную у Почки опухоль — толпа, давясь и ломая плетни, испуганно шарахнулась вбок...

Комиссия уехала. Доктор, юноша, почти мальчик, едва только сошедший со школьной скамьи в столице и намеренно уехавший в глухие эти, непроезжие места, в эти дикие болота и перелески, чтобы любовно отдать им силы, и жизнь, и знания — был, видимо, потрясен. Побледневший и осунувшийся за день, он говорил, вздрагивая часто и морщась, точно от физической боли:

— Ужасно, ужасно.

Товарищ же из упарткома сказал спокойно, с деловой озабоченностью:

— Надо будет этот район укомплектовать работниками.

...Весной, в сев, в сухую неделю, сгорела на выселках заколоченная Почкина изба. В деревне говорили, что никто ее не поджигал, но она сама в о с п ы л а л а от звезды, от планеты, остановившейся, якобы, с самого крещенского вечера над этой поганой усадьбой и сиявшей зловещим, красным светом. Почкин скот, подыхавший от бескормицы, был реквизирован исполкомом, усадьба же была бесхозяйная, никто не претендовал на постройки, никто не хотел селиться под дурною красной звездой — и расследования о пожаре поэтому не было.

Изба сгорела на Маковея, и огонь пошел с угла, обращенного на запад славного господнего солнышка.

Пролетариат и вопросы художественной политики [1].

Н. Бухарин.

Товарищи! Прежде чем решать вопросы литературной политики, нужно осознать одно обстоятельство: если, вообще говоря, верно, что марксист должен ходить по острию бритвы, то в этом вопросе, больше чем в каком-либо другом, нужно уметь ходить по этому острию. Вы можете стоять на совершенно правильной позиции; но если на один миллиметр вы отклонитесь, то сделаете большую политическую глупость. Я хотел бы начать с этого предупреждения, чтобы не были вынесены некоторые опрометчивые решения. В этом вопросе нужна большая вдумчивость и совершенно должны быть исключены методы, которые можно назвать «взятием на пушку». А между тем, товарищи, вы этим методом пользуетесь. Товарищ Вардин говорит: «Дух ЦК парил над конференцией пролетарских писателей». Позвольте, ничуть не бывало. Никакой дух ЦК не парил над вашей конференцией. Мы знаем, что вы протестовали публично против решения относительно возврата тов. Воронского в «Красную Новь». Когда выносят деловое решение — вы протестуете и, тем не менее, утверждаете, что дух ЦК над вами витал. Как будто не совсем кругло выходит. И сколотили вы пролетарских писателей на своей позиции, оперируя духом ЦК, но не имея на это никакого права. Все это говорит против вас. Дальше, зачем злоупотреблять именем Старика — Владимира Ильича? Я думаю и считаю — что это нехорошо. Я буду говорить здесь о позиции, которую я занимал, когда был жив Владимир Ильич. Я буду здесь говорить потом и о позиции, занимаемой Владимиром Ильичем, который был со мной не согласен.

Остановлюсь прежде всего на вопросе относительно пролетарской культуры. Постараюсь раньше осветить свою позицию, затем скажу, как смотрел на это тов. Ленин.

Я лично считаю, что в этом споре свою позицию по отношению к литературе, к пролетарской литературе, очень продумал и ярко аргументировал тов. Троцкий. (Голоса: «А Потресов?») Тут Потресова нельзя примешивать потому, что Потресов как раз ставил вопрос до завоевания пролетариатом

[1]) Стенограмма речи, произнесенной на литературном совещании при ЦК в феврале с. г.

власти. Позиция тов. Троцкого неправильна по очень простой причине. Он совершенно упускает из вида длительность периода диктатуры пролетариата. Это — раз. А во-вторых — он упускает неравномерность пролетарской диктатуры в разных странах. Вот, скажем, мы завоевали государственную власть. У нас есть пролетарская диктатура. Но эту пролетарскую диктатуру мы имеем в конкретных условиях, когда она окружена противниками. Тут мы имеем удлиненный путь пролетарской диктатуры, потому что неравномерно идет завоевание пролетариатом власти во всех странах. В одной стране завоевали власть, в других нет и т. д. Здесь имеется на-лицо предпосылка — удлинение пути диктатуры пролетариата, неравномерное развитие рабочего движения. И отсюда совершенно понятно, что литература, которая формируется в общем и целом по образу и подобию господствующего класса, неизбежно приобретает специфические черты. Это можно сказать другими словами: тов. Троцкий в своем теоретическом построении преувеличивает темп развития коммунистического общества, или, по другому сказать, тов. Троцкий в этом своем построении преувеличивает быстроту отмирания пролетарской диктатуры. В этом заключается его теоретическая ошибка. Из этой теоретической ошибки вытекает тот вывод, который он делает. Он представляет себе дело таким образом, что одновременно все классы движутся к коммунизму, и так как пролетарская диктатура ослабляется гораздо быстрее, чем это происходит на самом деле, происходит соскальзывание специфических пролетарских черт к обще-человеческим, к будущим коммунистическим. Эта черта будущей коммунистической культуры развивается гораздо быстрее, чем выпирает из своей скорлупы чисто-пролетарская. Но можно поставить еще второй вопрос: есть ли вообще специфические пролетарские черты культуры? Я считаю, что есть, но об этом много говорилось и писалось. Я скажу, что Богданов здесь сказал не все плохие вещи, — у него есть очень правильные и хорошие соображения. Можно было бы сказать, что анти-анархический, анти-индивидуалистический, коллективистский дух, — как Богданов называет, назовите его как хотите — сочетается с боевыми чертами наступающего революционного пролетариата. Это есть специфические черты, которые отнюдь не все коммунистичны в обще-человеческом смысле слова [1]). Пролетариат затем имеет специфические черты, урбанистические настроения, городские черты, — не коммунистические, потому что коммунизм разрешает противоречие между городом и деревней. Эти самые черты сразу же резко ставят разграничения между обще-человеческим и пролетарским. Эти черты — это сочетание, этот самый коллективизм плюс революционность, плюс город, — это, с другой стороны, иное сочетание, чем урбанизм буржуазии, чем футуристический урбанизм Маринетти и пр. Это совершенно ясно. Пролетарские специфические черты культуры есть. Что это неизбежно будет закреплено и зафиксировано, не подлежит никакому сомнению. И на тот промежуток времени, когда противоречия между городом и деревней не разрешены

[1]) Напр.: психология борьбы против людей, психология **классовых бойцов** не есть черта людей бесклассового коммунистического общества.

совершенно, что при пролетарской диктатуре совершенно естественно,—это будет класть отпечаток на всю цивилизацию и, в том числе, на литературу. Как ни ведем мы политику на рассасывание противоречий между городом и деревней, все же гораздо скорее идет процесс накопления пролетарской культуры, чем процесс рассасывания. Здесь происходит перекрещивание двух кривых — рассасывания и накопления пролетарской культуры. Тов. Троцкий утверждает, что рассасывание идет более быстро, чем оформление пролетарской культуры; я утверждаю, наоборот, что оформление пролетарской культуры идет быстрее, чем процесс рассасывания. Разумеется, что речь идет не о всем процессе вплоть до коммунизма, а об определенной полосе развития, достаточно длительной.

Теперь я должен сказать, что Владимир Ильич возражал против этой концепции пролетарской культуры. Его борьба с нею есть факт. Я защищал ту же позицию, которую я излагал сейчас. Вы сейчас все мотаете головой, что вы со мной согласны, так вот я докладываю. И вы сами понимаете, что, в конце концов, мне нет никаких оснований клепать на себя. Итак, я докладываю, что Владимир Ильич против этой системы взглядов самым решительным образом протестовал в десятках разговоров со мной. Он мне писал записки и даже «инспирировал» тов. Яковлева. Яковлев выступил по прямому приказу Владимира Ильича, который предварительно читал его фельетон. Тов. Вардин! Я говорил по этому поводу с Лениным. Я поставил тогда ультиматум, что если он будет настаивать на помещении в «Правде» первого наброска яковлевского фельетона, то я Яковлеву буду отвечать со всей резкостью. Тогда В. И. уговорил Яковлева, чтобы он снял целый ряд своих замечаний. Это была длительная борьба. Зачем же после этого выходить и говорить, что Ильич «согласен с нами». Я скажу вам, как я об'ясняю позицию В. И. У него есть некоторые места, где он говорил о пролетарской культуре. У него были статьи по национальному вопросу против Либмана и Семковского, и там были упоминания о буржуазной и пролетарской культуре. Если мы хотим этот вопрос обсосать, то должны задуматься над тем, что руководило Владимиром Ильичем, когда он выставил эту формулу: «ну вас совсем с вашим вздором и т. д.». Я скажу, как я об'ясняю себе это. В. И., может быть (я не буду говорить, что наверное, но может быть), считал, что эпоха пролетарской культуры придет. Но если мы сейчас будем об этом говорить, кричать и обращать на это всеобщее внимание, то тогда дело это мы загубим. Время еще не приспело. Сейчас надо учить грамоте, учить мыть руки и т. д. И нечего, мол, зря болтать о высоких материях, которые останутся высокими материями, пока практически мы не подойдем к их осуществлению. По двум вопросам из всех тех, по которым я спорил с В. И., я не согласен с ним до сих пор: это по вопросу о пролетарской культуре и по вопросу о государственном капитализме. Надо сказать, впрочем, что в вопросе о государственном капитализме В. И. сам расшифровал свою позицию в своих последних статьях о кооперации. Раньше у него выходило так, что нет никакого социализма, что есть маленький островочек социализма, а все остальное — государственный капитализм, и даже островочек этот затерялся. А теперь выходит

так, что мы крепнем. Если расшифровать дальше, то он рассуждал таким образом: «Ну, да, если нашим ребятам будут говорить, что у нас социализм почти на мази, то они не сделают этого социализма, и нужно их несколько осадить назад: пожалуйста, не чваньтесь, у нас никакого социализма нет». И этим самым определяется его аргументация, которая должна быть определенным рычагом действия для разрешения очень крупной и важной задачи, социально-педагогической задачи воспитания наших кадров, чтобы они имели такт, не зазнавались, брали верный прицел и старались вытягивать изо всех сил телегу. Вот практическая директива В. И. Я лично не согласен с такой теоретической постановкой, но к практическим выводам я присоединяюсь целиком. Эту директиву нужно принять, и с ней нужно считаться при решении основных вопросов. И нечего тут говорить, что Ленин был за нас. Это вздор.

Применим на деле этот практический критерий. Я беру декларацию ВАПП'а, резолюцию, которая была принята по докладу тов. Вардина. Первый пункт гласит:

1) «Художественная литература — мощное оружие борьбы классов. Если верно указание Маркса о том, что «господствующие идеи какого-либо времени были всегда только идеями господствующего класса», то бесспорно и то, что господство пролетариата не совместимо с господством непролетарской идеологии, в частности непролетарской литературы. Если в период своей диктатуры пролетариат постепенно не овладеет всеми идеологическими позициями, он перестанет быть господствующим классом. Художественная литература в классовом обществе не только не может быть нейтральной, но активно служит тому или иному классу».

Совершенно правильно, абсолютно правильное положение. Дальше идет следующее:

2) «Если все это верно для классового общества вообще, то оно сугубо верно для современной нам эпохи — эпохи войн и революций, эпохи обостреннейшей войны классов. Вот почему реакционной утопией являются разговоры о том, будто в области литературы возможно мирное сотрудничество, мирное соревнование разных литературно-идеологических направлений. Большевизм постоянно боролся против этой реакционной утопии».

Вот тут имеется теоретическая ошибка. Первая посылка, большая, это то, что литература не может не быть подчинена законам классовой борьбы. Абсолютно правильно. Вторая посылка — если все это верно для классового общества вообще, то это сугубо верно для современной эпохи войн и революции. Правильная посылка? Правильная. А затем говорится о чем? Речь идет о политике внутри советского общества. Вот это неправильно. Почему неправильно? Да очень просто. Наше общество имеет две плоскости трений — внутреннюю и внешнюю. Внешне оно стоит лицом к буржуазному миру и тут классовая борьба обостряется. А внутри как нужно поставить вопрос? Тут есть непонимание того обстоятельства, что внутри страны наша политика вообще не идет по той линии, чтобы классовую борьбу разжигать, а, наоборот, она с известного пункта идет на смягчение. Это есть основное. Это как

раз в полемике с тов. Троцким по прямому приказу ЦК я раз'яснял в одной из своих статей, в статье об «Экономической платформе оппозиции». Никто решительно против этого не возражал. Все, наоборот, признавали, что это правильно. Уничтожается ли классовая борьба? Нет. Но как говорил Владимир Ильич? Он говорил: наше общество есть сотрудничество рабочего класса с крестьянством, к коему допущена буржуазия. Когда-нибудь раньше был такой метод, чтобы мы к сотрудничеству с пролетариатом припускали буржуазию? Никогда этого не было. Значит, что же здесь получилось? Получилось некоторое диалектическое изменение функций классовой борьбы, и именно поэтому мы и припустили буржуазию к сотрудничеству. Я попросил бы товарищей, чтобы они вдумались в это положение вещей. Мы вынуждены были уступить для того, чтобы эти классы восполнили некоторую прореху, которую восполнить мы не можем. Они восполняют ее в известном смысле слова, в известном отрезке времени. С этой точки зрения мы к ним и подходим. Если вы изгоните частного мелкого лавочника, то будет большой экономический ущерб и для нас. Верны или нет эти теоретические положения? (Голос: «Это тоже условно».) Я считаю, что верно. Для того, чтобы понять все это, нужно отграничить эту проблему от другой — от проблемы руководства. — Это не одно и то же. Это нужно запомнить всем. То, что я сказал здесь, можно, конечно, трактовать вульгарно, плоско, как и делают социал-демократы. Вот тут-то и нужно ходить по острию бритвы. Я вам скажу несколько слов относительно Отто Бауэра, хотя это прямо к делу не относится, но все же довольно интересно. Он изображает наше общество следующим образом. Он говорит: вначале, действительно, было такое положение, что в Советской России пролетарская диктатура существовала, теперь же она заменилась блоком трех главных сил Советской Республики — блоком крестьян, рабочих и новой буржуазии. И вот это равновесие сил и выражено в Советской власти, при чем центр тяжести постоянно перемещается в сторону от пролетариата, тут он приводит примеры НЭП'а и т. д. Центр тяжести, мол, перемещается с пролетариата на мужика. Верно ли это трактование? Неверно. Почему оно неверно? По одной простой причине: потому что здесь смешиваются элементарным образом две разные вещи — блок в обществе и блок во власти. Мы имеем блок с крестьянством в обществе. Это значит, что наша власть опирается на мужика, но власть у нас есть пролетарская, — она может иметь бюрократические извращения и т. д., но это есть диктатура рабочего класса. Мы можем в общество пустить новую буржуазию к нам так, чтобы она сотрудничала, но отнюдь не пуская ее к власти. Мы, как суб'ект, как власть, маневрируем и так, и этак. Отношение нашей власти к крестьянину одно, а к новой буржуазии совершенно другое, и этим сохраняются функции диктатуры, как руководящей силы в теперешний момент при данных условиях, в данном обществе.

Так вот, товарищи, всем совершенно ясно, что общие перспективы развития совершенно противоположны перспективам, которые даются эпохами войны и революции в общей форме. Что значит эта эпоха войны и ре-

волюции? С точки зрения ваших тезисов это значит — разжигай классовую борьбу.

Вардин: Неправильно.

Бухарин: Как же иначе? Какой смысл тогда все это писать и ориентироваться в своей линии на раскол общества? Если хотите, я с другого конца об'ясню. В вашей формулировке не разграничены точки зрения для капиталистической страны и советской. Если вы скажете—это для советской, я скажу — а для капиталистической разве нельзя так сказать? Совершенно ясно, вы попали и здесь пальцем в небо.

Родов: В разных формах.

Бухарин: А что это значит в разных формах? В разных формах, это в первую очередь значит, что для капиталистической страны в той форме, которая обостряет классовую борьбу, а во втором случае совершенно наоборот. Это нужно было сказать, и это есть кардинальное различие.

Должен дальше сказать, что отсюда вытекает целый ряд существенных выводов. Классовая борьба ведется, но она ведется по-разному. Я опять-таки дал точную формулировку. В отношении крестьян в духе переработки этого крестьянина, а по отношению к новой буржуазии в духе ее использования плюс, с определенного момента, в духе мирного вытеснения. Но, конечно, мы не будем призывать к погрому. Я все это совершенно точно формулировал в тех статьях, на которые я ссылался. На этот факт у вас находит где-нибудь отражение? Что-нибудь одно из двух. Если вы беретесь определять политику, то эта кардинальная формулировка должна была найти хотя какое-нибудь отражение в ваших тезисах. Я спрашиваю, есть это отражение? Я утверждаю, что нет. Тогда к чему вы пишете все это? То, что диктуется нам в области нашей общей политики по отношению к различным классам, должно быть принято и для нашей литературы, но с большим «mutatis mutandis», потому что здесь есть большие специфические особенности, которых нет в других областях. Аналогия точно такая же. Диктатура не исчезает. И тут Вардин, вообще говоря, был прав, когда говорил, что проблему руководства надо выставлять и в этой области, но вот тут-то и должно быть принято во внимание то сочетание классов, про которое я говорил, *при руководящей роли пролетариата*.

Проблема руководства безусловно остается, она даже *вырастает*, но есть осложнение, с которым мы встречаемся. Оно заключается в следующем. Товарищи, я просил бы к этому основному различию прислушаться. Я давно, не сейчас только, когда с напостовцами столкнулся, а еще в том докладе, на который часто многие товарищи напостовцы ссылаются, выставил одно теоретическое соображение, которое нужно иметь в виду.

В лоне буржуазного общества мы вызреваем как политически-организованная сила, но отнюдь не вызреваем, как культурная сила. Отсюда вытекает то, что когда мы завоевываем власть, то своей собственной борьбой, непосредственным революционным переворотом, мы уже завоевываем свое историческое право на гегемонию. Она у нас есть. Мы заработали ее своим горбом в баррикадной борьбе, которая подвела итог, подвела баланс нашей

предыдущей организационной работе, политической закалке, политическому опыту — всем тем чертам, которые необходимы для победоносной революции. Но когда мы подходим к вопросу об искусстве, науке и проч. и спрашиваем себя, созрела ли у нас гегемония или нет, то я утверждаю, что *нет*. А если она еще не созрела, если мы вступаем в эпоху, когда мы завоевали политическую власть, не вызревши еще для культурной гегемонии, то, товарищи, совершенно ясно, что нам задачу эту нужно поставить таким образом, чтобы гегемонию эту завоевать. Или, как я говорю, своим собственным горбом заработать в области литературы и культуры и т. д. историческое право на общественное руководство. (Голоса: «Правильно».)

Вот теперь, отсюда появляется вопрос относительно методов этой самой выработки и относительно того, чтобы здесь не сделать промахов, и относительно борьбы с попутчиками и т. д... Если сказанное мной действительно правильно, то совершенно ясно, что нельзя выставлять тезисов, которые выставили напостовцы, в которых говорили, — передайте нам Госиздат на расправу с литературой. (Вардин: «Когда?») Очень давно вы занимаете эту позицию и всю деятельность свою и политику к этому клоните. (Голос с места: «Мы признавали принцип гегемонии».) Вы признали принцип гегемонии ВАПП'а, не втирайте же очков друг другу. (Вардин: «Это нужно доказать — у нас есть документы».) Так вот, вы выставляли этот монополистский принцип, когда у вас еще не было на это никакого права. Мы живем в такую эпоху, когда должны сказать: «сперва постройте, а потом получайте», и по сему случаю здесь вопрос относительно гегемонии стоит иначе, чем он стоит в области политики. А есть какая-нибудь аналогия в этом отношении с политикой? Я скажу, что ѐсть. Есть совершенно бесспорная гегемония рабочего класса и его пролетарских критиков в расценке литературных произведений с точки зрения их социальной значимости. Это есть с самого начала. Это то, что я могу с самого начала увидеть, не будучи совершенно никаким спецем и ни черта не понимая в области художественных форм и вопросов стиля. Я могу увидеть и сказать, что тот черносотенец, а тот либерал, с точки зрения общественно-революционной. Мы в общем и целом настолько созрели, что здесь имеем уже право на историческую гегемонию. Я и здесь расчленяю вопрос. Одно дело специфические вопросы, другое дело — это основной вопрос. В вопросах критического общественного руководства мы уже созрели, в то время как в других еще не совсем созрели. Все дело заключается в том, чтобы выставить такие методы, которые позволили бы нам созреть и дали бы право на историческое существование.

Теперь здесь выступает вопрос о «попутчиках», вопрос о непролетарских писателях. Затрагивается сразу два вопроса. Вопрос о политическом отношении к ним и о литературной блокировке с ними, — это один вопрос и второй вопрос — относительно нашего собственного самовоспитания. Эти проблемы нужно решать параллельно, потому что они увязаны между собой определенным узлом общественных сочетаний. В чем заключается ошибка «напостовцев»? Прежде всего — что у нас есть по поводу нашего отношения к «п[illegible]ам»? Первая линия — это линия общественной оценки. Наше

отношение к попутчикам определяется общим отношением к соответствующим социально-политическим силам. Относительно разжигания классовой борьбы. Должны ли мы здесь разжигать классовую борьбу? Нет. По отношению к крестьянам — их нам надо переработать, по отношению к явным черносотенцам — совершенное уничтожение. По отношению к попутчикам точно так же — их переработка частью, а частью их «изгнание». Верно ли это или нет? Если это совершенно правильно, то организационно нельзя поступать так, как поступали некоторые коммунисты из деревенской ячейки, которые обращаются с крестьянами, как с быдлом. Ваша позиция — это есть позиция человека в крестьянской ячейке, который за невзнос единого с.-х. налога начинает «жать» половину всех крестьян. (Вардин и Родов: «Документы».) Какие же вам могут быть документы, когда люди кричат и орут, а вы говорите — докажите. Что вы, товарищ Родов, маленький? Если так спорить, то, конечно, ничего не выйдет. (Вардин: «Надо спорить с документами».) (Раскольников: «Это вопрос не критики, а политики».) Это вопрос критики, потому что критика есть часть политики. По вопросу о переделке нужно обнаружить определенный такт, а у вас такта на 100% нет, да и тактика с изгибом.

Второй вопрос — о нашем самовоспитании, воспитании наших собственных людей. И здесь общая директива какая? Нужно в первую очередь указывать на их собственные недостатки. Я это могу формулировать так. В нашей литературной политике имеются два крупнейших уклона: в сторону комчванства и в сторону сдавания позиции. И нельзя сказать, какая из них вреднее: обе вредны. Но если иногда можно сказать, что у некоторых товарищей был грех, который можно истолковывать, как некоторую сдачу позиций, которая не вызывалась обстоятельствами, то мы имеем, с другой стороны, очень большой уклон в сторону комчванства. Классический пример — ваша последняя конференция, когда нападали на мое примечание к статье Д. Бедного. (Вардин: «И буду нападать дальше».) Меня этим вы не испугаете. Суть заключается в том, что здесь основная неправильность. И против этого комчванства нужно бороться. Против этого комчванства, которое бешеной ненавистью ненавидел Вл. Ильич. Это было стержнем его политики. А для литературы теперешней это комчванство опаснее, чем в какой-либо другой области. Почему опаснее, чем в других областях? По той простой причине, что мы здесь еще не оперились. Если вы возьмете область, где мы на 99% продвинулись, то здесь ничего, если и прихвастнем на 50%, а там, где ничего еще нет, где мы совсем не оперились, там комчванство — это значит погубить дело с самого начала. Поэтому если будем выбирать и говорить, кто приносит больше вреда или пользы: тот из нас, который ругает нашу братию, который говорит, что у нас ничего нет, или тот, кто говорит, что вы соль земли? Я скажу: вреднее тот, который говорит, что вы соль земли. Потому что, если я ругаю пролетарских писателей, то это вовсе не значит, что я потенциально отрицаю за ними право на их развитие. Это просто значит: смотрите, не зазнавайтесь, ибо это самое опасное. А тов. Родов, разве вы не загубили несколько людей, разве мы не знаем, что ваша среда,

ваша братия, идет в своих претензиях, во всем решительно, по дорожке литературной богемы самого обыкновенного буржуазного свойства? Разве это неправильно? Я тысячу примеров приведу.

Родов: Мы с этим боремся.

Бухарин: Вы об этом молчите. Здесь крупнейшая опасность.

Я остановлюсь на вопросе относительно организации в связи с проблемой руководства и относительно границ этого руководства. Мне кажется, что и здесь у товарищей из «На посту» есть известное упрощение руководства. Относительно руководства я должен сказать, что у нас пока не может быть еще безграничного руководства, потому что мы целый ряд вещей не знаем, и я утверждаю, что мы не сможем их знать сравнительно большой срок времени. Приведу один пример из другой области — из области нового быта. Можно сказать, что мы здесь отрицаем всякое руководство? ЦКК даже пыталась по параграфам отшлифовать это, но потом пришлось параграфы взять назад. Принципиально надо сказать, что мы этим делом руководим. Но разве можно сказать: пускай Политбюро решает, сколько коммунист может жен иметь? Тов. Залкинд пытался это сделать. Он говорит, если коммунист бросил жену, пускай она идет на ячейку и ячейка будет решать, выдержан он классово или нет. Я утверждаю, что это чушь, это — мещанская накипь, которая желает залезть во все карманы. А в области культуры таких вопросов мы не имеем? Совершенно определенно имеем. Я не могу сказать, каковы будут будущие формы семьи, я не могу сказать, сколько коммунист может иметь жен и сколько коммунистка может иметь мужей. Я считаю немыслимым партийное «руководство» в этом вопросе. А принципиально можно сказать, что мы никогда этими вопросами не будем заниматься? Нельзя. То же самое по отношению и к самой литературе. Я могу сказать, что в общем и целом можно определить целый ряд вопросов и сказать, что партия поставит здесь точки над i, но по целому ряду формальных вопросов искусства, формы, выработки стиля и т. д. таких точек поставить нельзя. Если вы так поставите вопрос, если вы скажете, что это так, то из этого извольте иметь смелость сделать вывод, а вывод будет вот такой. Вопрос формальный, от которого вы отмахивались, — это есть пустяк для искусства? Я скажу, что это очень важная вещь. Должны мы сказать или нет, что мы заинтересованы в таких вопросах, как вопрос о выработке нового стиля, как вопрос о сожительстве этих стилей, о возможности многообразия, или о возможности построения синтетической формы или нет? Заинтересованы, или нет? Заинтересованы. Но можем мы здесь дать исчерпывающие директивы? Нет. А если мы руководство здесь непосредственно от Политбюро дать не можем, то как же мы будем форсировать эту выработку? Или вы думаете, что это произойдет путем непорочного зачатия пролетариев? Подумали ли вы об этом? Это может вырасти только в молекулярном процессе, где мы даем широкое поле соревнованию. (Голос с места: «Верно».) А если это верно, то вы сдаете здесь все свои позиции. Товарищ Вардин заявил, будто на прошлом совещании в этом же самом зале я сказал, что Пушкину Политбюро не давало директив, как писать

свои стихи, и из этого он делает вывод, будто я думаю, что наша пролетарская литература должна насаждаться тем путем, как и дворянская. (Вардин: «Не по форме, а по содержанию».) Я сказал, что Пушкину никакое Политбюро не давало никаких директив, как писать стихи. А если это так, то продумайте до конца. Я говорил, что вопрос о новом стиле — это вопрос очень важный и специфический. Он может быть решен только тогда, когда партия не будет сжимать всех в один кулак, а когда она даст возможность соревнования. Отдай вам, товарищи напостовцы, власть, — какие вы дадите возможности соревнования? (Голос с места: «Мы терпимые».) Если вы докажете предварительно, что способны на терпимое отношение, тогда вам можно дать власть, но ведь у вас написано, что большевистская добродетель заключается в нетерпимом отношении. Вы слышали что-то о «нетерпимости», да не знаете, откуда звон и по какому поводу. (Голос с места: «В области идеологии».) А вопросы формы и т. д., — разве же это не область идеологии? Я до сих пор, признаюсь, не знал, что это относится к области экономической базы или производительных сил. А, ведь, все остальное относится к области идеологии.

Итак, основные замечания я еще раз повторю. Я думаю, что не нужно разжигать страстей, думаю, что не нужно разжигать классовых битв между Вардиным и Воронским, где Воронский представляет из себя пассивное женское начало, а Вардин — мужественно-активное. Но нужно совершенно ясно указать, не касаясь определенных лиц и персон, что сейчас в центре должна быть поставлена борьба с комчванством, и на этом фронте мы должны быть беспощадны. В тезисах мы должны зафиксировать, что должны дать максимальный простор соревнованию. Почему вы думаете, что ЦК должен взять и пришпилиться к какой-нибудь одной организации? Пускай будет тысяча организаций, две тысячи организаций, пусть на-ряду с МАПП'ом и ВАПП'ом будет сколько угодно кружков и организаций. Вы думаете, что Политбюро должно гнаться за каждым и пришпилить его к Агитотделу? Во-первых, тогда Варейкис с ума тут сойдет от этого, а во-вторых, это ни к чему нас не приведет. Общая линия партии должна быть дана, и я думаю, что она должна быть дана приблизительно в том духе, как я здесь изложил. Что же касается конкретных вопросов и конкретных проблем, то здесь — максимум соревнования. Я здесь должен сказать, что товарищ Вардин поместился не на том фланге, на котором думает. Вы здесь в литературной политике занимаете место, занятое Преображенским в экономической политике. Я высказываюсь за общее руководство и за максимум соревнования. Только таким путем мы решим проблему, поставленную на этом совещании.

Вопросы производственного искусства.

Ф. Рогинская.

I.

«Уже к началу 1921 года... в наше сознание вошел... и третий производственнический, ныне продвигаемый нами далее, этап», — писал в № 1 «Лефа» Чужак в 1923 году. Действительно, 1923 — 24 год — период максимального шума вокруг вопросов производственного искусства. Начиная с 1924 г., интерес к ним стремительно падает, и уже теперь, в начале 1925 г., они основательно затянулись плесенью.

С замиранием теоретической полемики совпадает и массовый отлив художников снова к станковизму. Об этом свидетельствует длинный ряд станковых выставок при полном отсутствии производственных. Зачатки намечающегося отлива почувствовали раньше всех сами Лефы. Уже в № 4 докладная записка членов Инхука (Институт художественной культуры) вопиет « «развале» Вхутемаса: «Производственные факультеты пусты. Штаты сокращаются. Машины распродаются».

Между тем только сейчас, в сущности, в связи с общим ростом и укреплением фабричного производства, производственное искусство получает твердую базу, об'ективную возможность и даже неизбежность развития. Поэтому заброшенность его в настоящий момент — временная и меньше всего определяется сущностью вопроса. Она является результатом неправильной постановки, которую дали ему Лефы в лице конструктивистов.

О теоретических обоснованиях Лефа, выдвинувшего вопросы производственного искусства (и даже самый термин «производственное») на авансцену, писали, пожалуй, чересчур много. Для настоящей статьи важно рассмотрение только тех положений, которые привели к определенным конкретным результатам.

В самой сжатой форме задача художника-производственника по Лефу· построение «вещей» по принципу максимальной рациональности без момента украшения. При этом вещи должны быть «массовыми», выполнимыми средствами машинной техники» (Арватов). Если довести до логического конца теорию рационального построения вещей, лишенных украшений, нельзя не притти к из'ятию искусства за ненужностью и к замене его инженерией.

Но, даже не развивая ее, мы сразу сталкиваемся с основной ее особенностью, которая больше всего затормозила развитие конструктивизма — с неразделенностью области машинно-технической от области специфически художественной. Эта особенность, в сущности, основа «производственничества», как его понимали Лефы в противовес «прикладничеству».

Прикладничество, если не придавать этому термину отрицательного значения, это—та работа, которая производится специально для украшения вещи. Конечно, это вовсе не означает, что украшение обязательно должно противоречить назначению вещи. Наоборот, оно может теснейшим образом быть с ней связано. Прикладничество пользуется у нас вполне заслуженной дурной репутацией потому, что при украшении обычно руководились меньше всего согласованностью с вещью или вообще какими-либо художественными задачами, а исключительно облегчением сбыта. Например, с одинаковым успехом рисовали «английские головки» и билибинские русские пейзажи на календарях, тарелках, конфектных коробках и т. д. Прикладники просто шли навстречу моде дня, преломленной на гранях среднего массового вкуса.

Таким образом предубеждение против украшения, как такового, явилось следствием безграмотного применения принципа украшения.

Но если отрицать украшение и желать все же сохранить художников в производстве, остается, действительно, только одно — сдвинуть художника в область конструирования самой вещи. В противном случае ему нет места. В этом — стержень конструктивизма.

«К сожалению, прорываясь в производство, художник даже не ставил себе вопроса, как же именно творится через искусство вещь» (Чужак). Но и теоретики Лефа не были счастливей в этом отношении и ограничивались туманными фразами. Все же, если суммировать все сказанное по этому поводу, выясняются две линии. Согласно одной, художник делает модели конструкций (вплоть до автомобилей Родченко), по другой — принимает непосредственное участие во всем процессе производства вплоть до его организации в целом. Обе линии при столкновении с жизнью потерпели крушение. Первая, потому что хозяйственники «отмахивались» от псевдо-научных чертежей, несмотря на уверения Кушнера, что «художники уже сейчас могли бы с большим успехом заменить инженеров». Вторая, потому что художник на фабрике очень скоро убеждался, что при современных способах производства его роль не может не быть ограничена исключительно специфически-художественной работой. Возьмем, например, текстильное производство. Художник дает эскиз. Граверы его выгравировывают, химики-колористы определяют расцветку, материал проходит длинный ряд операций, попадает в печатную машину, откуда идет в дальнейшую обработку. Если заставить художника принять непосредственное участие в работе на продолжении всего этого пути, не могло бы быть и речи о массовом производстве. Такие приемы возможны только в небольших кустарных артелях. То же самое и в других отраслях производства.

Таким образом самая сущность конструктивизма — нераздельность области художника от технолога-инженера превратилась в тормозящую пло-

тину, которую художники, в целях самосохранения, стали обходить с двух сторон. Одна часть взялась фактически за то же прикладничество — расписывание посуды, эскизы для ситцев, книжные обложки и т. д. Их самооправдание заключалось в утверждении, что их метод орнаментации находится в точном математическом соответствии с вешью и потому органически неизбежен.

Другие углубились в модели, и их мостиком к действительности было стремление создать новый тип инженеров с некоторым художественным уклоном. Они попытались привести свою идею в исполнение на опыте с Вхутемасом. Печальные результаты этого опыта сказываются в той докладной записке, о которой говорилось выше и под которой подписались все конструктивисты, руководившие занятиями во Вхутемасе.

Первыми поняли свое крушение сами конструктивисты. На дискуссионной выставке (весна 1924 г.) Ган сознается, что создавшийся «конструктивный» стиль обложек, реклам, об'явлений и т. д. ничуть не более рационален, чем какой-либо ему предшествовавший декоративный стиль. Точно так же и Брик определяет работу для ситцев Степановой и Поповой прямо, как возврат к прикладничеству.

Точки над «i» были поставлены. Наиболее последовательные конструктивисты ушли в немногие области, дающие с грехом пополам возможность построения вещи целиком — фотомонтаж, вывеска и т. д. Но массовый художник боялся открывшейся дилеммы — или возврат к прикладничеству в худшем смысле этого слова, или углубление в недра конструирования моделей без надежды на их практическое осуществление.

В период роста конструктивизм привлек массового художника деловыми, крепкими словами о возможности фактического участия в материальном строительстве жизни. Теперь, когда конструктивизм дискредитирован, окрепшая станковая живопись (хотя бы в лице АХРР'а) выдвигает лозунги, обещающие возможность того же «действенного служения», конечно, уже другими путями. Естественно, что именно действенная часть художников уходит в лоно станковизма. В намеченном сейчас сюжетно-социальном уклоне, станковая живопись имеет все данные для роста и создания значительного, цельного направления. Уход туда части художников, наделенной своего рода литературно-психологическим тоном художественного восприятия, просто нужен. Но нет абсолютно никаких данных соединять крушение конструктивизма с сущностью производственного искусства.

II.

В своем почти маниакальном устремлении к вещи, как таковой, к созданию абсолютных типов и идей вещей, конструктивисты проглядели главное. Они брали вещь абстрактно, вне среды, в которой каждая осуществленная вещь пребывает. Эта неизбежная среда — окружение других вещей обихода, в сумме составляющих материальную, предметную бытовую культуру. Всякая вещь, кроме черт, которые определяются ее назначением, имеет

еще общие черты, отвечающие определенному уровню материальной культуры.

Нет почти ни одной вещи обихода, которая не прошла бы через руки художника-производственника. Поэтому все они в целом ложатся в основу художественно-бытовой культуры. Таким образом конечным результатом деятельности художника в производстве является создание художественно-бытовой культуры.

По отношению к предметам художественно-бытовой культуры прошлых эпох проявляется самое бережное внимание: домашняя утварь, вырытая из курганов, вазы Греции, обрывки коптских и египетских тканей, украшенные миниатюрами молитвенники средневековья, — благоговейно хранятся в музеях. По этим осколкам минувшего восстанавливают и внешнее лицо эпохи, и ее массовый культурный уровень.

И на-ряду с этим полное игнорирование, халатность и равнодушие в нашей современной художественно-бытовой культуре. А между тем, наша коммерческая реклама, книжные обложки, цветы обоев, посуда, мебель, костюмы—весь декоративный обхват, в сфере которого мы постоянно бываем,—такой же ценный показатель уровня подлинной, проникающей все поры жизни, художественно-бытовой культуры. Помимо этого исторического значения и предметное бытовое окружение имеет определяющее влияние при формировании массового художественного вкуса. Оно оказывает огромное, хотя редко оцениваемое, давление в процессе этого образования. Значительность художественно-бытовой культуры, конечно, не исчерпывается отмеченными моментами.

Перед художником-производственником, уяснившим себе задачи производственного искусства именно, как создание художественно-бытовой культуры, встают широкие задачи. Главнейшая из них, конечно, вовлечение широких масс в ее созидание и поднятие.

Прежде, чем перейти к дальнейшему, следует оговориться. Термин «производственное» искусство сохраняется здесь, конечно, не в том смысле, в каком его употребляли Лефы. Его содержание — специфически-художественная работа в массовом производстве. Он предпочитается «прикладному», во-первых, потому, что с прикладничеством ассоциируется кустарничество. Главное же, потому, что, отводя художнику в производстве то же специфически-художественное место, наше понимание целей и задач художественной работы и методов ее проведения в жизнь не имеет ничего общего с прикладниками «доброго старого времени».

III.

Могут возразить, — позвольте, ведь Лефы как будто тоже говорили «искусство в быт». Да, но как они говорили? Мимоходом. Печатали жирным шрифтом и крупно о делании вещей и организации производства, и беглой рысцой о внесении в быт. «Искусство в быт» было фразой, а не

мыслью. Но если отнестись к ней как к мысли, надо подчеркнуть огромную ошибку Лефа.

Создание художественно-бытовой культуры процесс двусторонний: производство и потребитель. Вот эту двусторонность левые проглядели.

Двусторонность может быть пассивная или активная

Пассивная, когда потребитель в большей или меньшей степени пассивно берет дающуюся ему продукцию.

Так создавалась, например, наша городская художественно-бытовая культура. Из-за границы приходили образцы и моды. Здесь они применялись к местному массовому сбыту. Но по какой линии применялись? По линии дешевизны и, если можно так выразиться, вкусовой демагогии. Для дешевизны приходилось заменять дорогие материалы простыми, а так как от этого неизбежно страдал декоративный эффект, приходилось прибегать к утрировке, к излишней пестроте, силой эффекта заменять его качество. Здесь-то и выявлялась вкусовая демагогия: испорченный десятилетиями фальсификаций вкус с удовольствием воспринимает суррогаты, чего же тут стесняться? И не стеснялись. В результате, наслаиваясь годами, фальсифицированная продукция создала некоторый средний художественный уровень, как известно, очень низкий.

Все же прививалось не всё. На каждой фабрике известно, какие ткани или, скажем, посуда «идут» и какие «не пойдут». Специалист почти безошибочно определит это. Здесь мы встречаемся с пассивным сопротивлением нежелательных художественному мотиву и таким же пассивным отбором подходящих. Несмотря на пассивность, такой процесс отбора происходит беспрерывно и неуклонно отметает и выводит из строя неподходящее.

Активным по тенденциям является процесс созидания крестьянской деревенской художественно-бытовой культуры. Каждая область имеет свои декоративные тенденции, которые переходят из поколения в поколение. В деревню не пошлют перефразировку заграничных изделий. Хозяйственники прекрасно знают, что они «не пойдут». Более того, крупные текстильные фабрики, например, слали иногда рисовальщика в ту или иную область собрать декоративные материалы, употребительные в быту, чтобы разработать их потом подходящим образом именно для этой области. Как видно, здесь уже бессознательного отбора в пределах данной моды нет. Здесь уже определенная директива от потребительской массы к производству, но директива пока тоже, в сущности, пассивная.

Конечно, и такие взаимоотношения между художественным производством и потребителем вовсе не идеал. Но об этом ниже.

Что же учли и дали в смысле создания художественно-бытовой культуры Лефы? Ничего или почти ничего. Не уяснив совершенно двустороннего характера процесса, они считали достаточным, если художник сам постигнет все таинства непреложных декоративных законов. Несколько прекрасных слов о радостном трансе, в котором будет происходить искусствотворение будущего, не приблизило это будущее ни на йоту. Так же безрезультатны были и несколько научных формул неудобоваримого вида, висевших на

Дискуссионной Выставке левых направлений (весной 1924 г.). Даже студенты Вхутемаса, работавшие под их руководством, не приобщились к этим тайнам — отчасти из-за непонятности об'яснений, отчасти благодаря попыткам заменить об'яснения более энергичными мерами. Например, Лавинский обычно ограничивался предложением «запустить» неудачной вещью в голову несчастного студента. В сущности, такое нежелание посвящать профанов в свои секреты — то самое жречество, против которого восставали Лефы, только в более примитивной форме. Все же об'яснять его возникновение случайностью или ошибкой — напрасно. Наоборот, такая замкнутость непосредственно вытекает из основных положений конструктивизма. Способы построения, которыми они владеют, универсальны, об'ективно-верны — зачем же ненужная трата энергии, вовлечение масс и т. д. Все равно от этого ничего не изменится.

Поэтому и «искусство в быт» надо понимать буквально: искусство, в лице художника, преподносит быту новые формы, новые вещи. Быту остается благодарить и впитывать их. Однако Леф почему-то замолкает, конструктивисты почему-то стушевываются — быт не захотел быть благодарным. Почему же? Да просто потому, что подымается волна культурной самодеятельности, которая не желает механически воспринимать и результаты художественно-бытовой работы.

IV.

Для творческого созидания художественно-бытовой культуры производственное искусство должно прежде всего сдвинуть процесс ее образования с пассивного пути на активный, конечно, на активный двусторонне.

Прежде пришлось остановиться на пассивности потребительских масс. Но существует и пассивность художника. Самый факт, что художник дает рисунки, вовсе не показатель его активности. Можно давать рисунки так, как это практиковалось до сих пор, т.-е. в форме перепевов. Можно страдать гипертрофией активности, не координируя ее ни с чем, слать «эстетические приказы фабрике», как это случилось с конструктивистами. Можно, наконец, быть активным и самостоятельным в своем творчестве, согласуя его в то же время с тенденциями, которые идут намеками и теперь от масс, но которые ярко заговорят при пробуждении их творческой активности. Именно, в такой плоскости должен понимать художник-производственник творческую активность. Только так он может создать новое, которое корнями врастет в быт.

Только так, четко ограничивая область устремлений художника, можно достигнуть максимальной продуктивности и предохранить от творческого распыления. Приведу пример, как может сейчас выразиться творческая активность художника. Прежде пришлось отметить производственную ориентацию на дешевизну, как недостаток. По существу такая ориентация безусловно необходима для массового сбыта. Плохо было лишь то, что при ней совершенно игнорировали художественную сторону. Между тем, художник-

производственник должен брать данный дешевый материал со всеми его специфическими особенностями за исходный. Самый его недостаток — его специфичность превратить в своего рода художественный момент. Так использовали китайцы расплывающуюся глазурь на вазах. Так неточности ручной набойки создают специфическое отличие, превосходство по отношению к механической (машинным ситцам). За границей, например, в машинной набойке были даже попытки создать такой же эффект механически.

Возможностей применить творческую активность много.

Гораздо трудней вопрос о том, что брать из идущих к нам тенденций. Существующий у нас художественный уровень создался под долголетним влиянием своего рода художественных извращений. Поэтому взять его целиком, как исходный, как это делали потакавшие ему прикладники, невозможно. К нему приходится относиться, как к болезненному образованию на здоровом организме и тенденции прощупывать сквозь него.

Укажу некоторые пути в этом направлении. При фабриках существуют архивы образцов. Далеко не везде они в порядке. Их следует рассортировать хронологически и произвести солидную статистическую работу: выяснить, какие образцы расходились и сколько времени, какие нет, почему, когда выбыли из строя, какие направления сменялись за время работы фабрики, какие декоративные мотивы наиболее употреблялись и т. д. Целый ряд фабрик, живущих заграничными образцами, выявит при этом, конечно, наиболее пассивные устремления. Но те, которые работали непосредственно на крестьянскую массу, дадут много ценнейшего материала. Ведь они применялись непосредственно к русскому сбыту. Они думали, например, о том, чтобы дать платок «с ударом», чтобы «девка по степи за рекой шла и то видно было».

Кстати, если бы изучение архивов предшествовало у Степановой и Поповой созданию их рисунков для тканей, им не нужно было ломать головы над «таинственным вкусом тульской крестьянки» (О. Брик). Это — с одной стороны. А с другой, не получился бы следующий казус: художницы работали ночами, чтобы «угадать ситчик», а между тем та разгадка, к которой они пришли, была найдена уже лет 20 тому назад. Например, в архивах быв. Прохоровской ситце-набивной фабрики заведующий рисовальней О. Грюн нашел целую коллекцию рисунков не только родственных по орнаментации (крупные геометрические формы, основные тона), но часто просто тождественных рисункам упомянутых художниц.

Конечно, здесь не может быть и речи о плагиате. Художницы просто не знали об этом и тратили энергию понапрасну, в то время как при своем несомненном таланте могли бы дать новое, хотя бы и в том же направлении.

Конечно, параллельно с изучением архивов должна той же статистической оценке подвергаться и вся текущая продукция. Этого мало. Чтобы «таинственный вкус тульской крестьянки» перестал быть таинственным, надо

на местах изучать декоративные мотивы и формы обихода, зарисовывать и выбирать из них наиболее характерные, общие. Вот, приблизительно, сфера активности художника. Но покуда активным будет только художник, может итти речь только о внесении тех или иных форм — подходящих или неподходящих — в обиход.

Чтобы поднять и творчески созидать художественно-бытовую культуру, необходимо пробудить творческую активность масс. Сделать это проще и естественней всего через клубы (кроме школ и фабзавучей, конечно), вокруг которых об'единяются наиболее активные молодые силы. Верней, через художественные кружки при клубах. В настоящий момент кружки эти находятся в довольно жалком состоянии. Они не имеют перед собой руководящей цели и живут кое-как, исполняя текущие и случайные задания клуба. Между тем, именно эти задания в целом представляют те же элементы художественно-бытовой культуры: стенгазеты с иллюстрациями и облжками, театрально-декоративные работы, отделка и устройство комнат с их специфическим обиходом и т. д. Если об'единить художественную работу в клубах единственно естественным для нее лозунгом, — поднятие художественно-бытовой культуры, — она должна выявить ценнейший материал. Чтобы придать работе в клубах именно такое направление, художники-производственники должны проявить максимум энергии. Они должны твердо уяснить себе, что без художественной активности масс их работа будет впустую. Создание среды, творчески воспринимающей и в общих чертах направляющей ход производственного искусства, безусловно необходимо для правильного и крепкого его развития. В противном случае судьба «конструктивного» стиля, расцветшего и погибшего где-то в воздухе между производством и потребителем, неизбежна.

Таковы основные вопросы, стоящие сейчас перед художником-производственником.

Конечно, настоящая статья—только попытка их поставить. Она меньше всего претендует на исчерпывающую полноту в каком-либо из затронутых моментов. Но постановка их во весь рост необходима.

Прежде всего, поднятие и развитие художественно-бытовой культуры, если учесть растущую культурную активность масс, — вопрос назревший, и его разработка — насущная необходимость.

Затем, производственные факультеты Вхутемаса, из среды которых в производство вольются новые силы, сейчас с уходом «от власти» конструктивистов, вовсе не пусты. Студенты чувствуют, но не могут оформить серьезность стоящих перед ними задач. Не говоря об этом, значительный процент художников, обратившихся в настоящий момент к станковизму, вернется неизбежно вспять — или в производство, или к преподавательской работе в тех же клубах, школах и т. д. Произойдет это хотя бы в силу невозможности существовать одним станковизмом. Нужно, чтобы, возвращаясь, они видели перед собой возможность широкой творческой работы.

Наконец, есть данные об'яснить затишье на левом фронте подготовкой к «смене вех» Об этом можно подозревать хотя бы по одобрительному отзыву Брика о прикладничестве Степановой и Поповой. Бесстрашное подчеркивание этого факта очень показательно. Проглядев потребительские массы, их роль и значение в предыдущий период, они могут снова перескочить через них, выдвинув новые лозунги.

Об Анатоле Франсе.

Федор Жиц.

Ближайшим по времени доказательством, что хорошие мемуары являются существенным дополнением к произведениям писателя, служат «воспоминания» Горького о Толстом. Несмотря на то, что писательство было для Толстого прежде всего детальнейшей исповедью, широко развернутой автобиографией, до этих воспоминаний всего Толстого мы не знали. — Дело в том, что, как бы ни был склонен художник к самообнажению, как бы высоко он ни ценил в своих произведениях опыт своей личной жизни, многие мысли и настроения он прячет от широкого круга читателей под семью замками в своей записной книжке или случайно высказывает в беседе, с глазу на глаз, с кем-либо из самых близких ему людей. А между тем в этих именно подтайных, случайных словах заключается нередко ключ к разгадке ценнейших созданий гения, имеющих общечеловеческое значение. В них порою спрятана первичная энергия машинного отделения, куда «вход посторонним лицам безусловно воспрещается». И теперь вообразите позади вашей головы просверленную дырочку, через которую, как в кино, падает на полотно, находящееся перед вашими глазами, сноп творческих лучей. Можно, конечно, не поворачивая головы назад, ограничиться любованием действия, происходящего на экране. Так приблизительно поступает тот, кто довольствуется теплом солнца, не углубляясь в астрономию. Но для многих — самых глубоких читателей — мучительно важным является разгадка, осознание лучей, струящихся из ярко-светлого четырехугольника, вход, проникновение именно туда, куда доступ закрыт. И тогда на помощь этому далеко не праздному любопытству приходит мудрый и чуткий мемуарист, которому посчастливилось побывать в машинном отделении гения.

К этим вот мемуаристам первого ранга, безоговорочно должен быть причислен молодой ученый-литератор Жан-Жак Бруссон, автор замечательной книги — «Анатоль Франс в халате», — на которой считаем нужным остановить внимание наших читателей.

Будучи секретарем Франса, Бруссон подолгу общался с ним за работой, на приемах посетителей в вилле Саид, на прогулках, в гостях, в лавке букиниста, в частых, очень сердечных и откровенных беседах. Во всех поло-

жениях — значительных и чуть-чуть смешных — прошел Анатоль Франс перед глазами своего секретаря, и это дало возможность Бруссону написать интимный портрет с одного из значительнейших французских писателей, запечатлеть, с сохранением стиля, много мыслей Франса, которые не вошли ни в одну из напечатанных им книг. И тем ценнее работа Бруссона, что на ней совершенно нет следов типичного секретарства, которое нередко граничит с лакейством. В такой же мере скептик, как и его мэтр, Бруссон, очевидно, далек был от мысли, готовя книгу, консервировать Франса «для вечности», старательно выпотрошив из него все земное. С полным достоинством и добродушным юмором он коснулся целого ряда бытовых черточек из жизни Франса, отмеченных очаровательным легкомыслием эпикурейца, но главное свое внимание он, конечно, сосредоточил на блестящих его мыслях.

Творчество свое Франс называет «динамитом в папильотках». Трудно подобрать более меткое определение для его книг, поражающих читателя не только энциклопедической мудростью, но какой-то исключительной изысканностью стиля, причины которой поясняет сам Анатоль Франс:

«Некоторые истины, особенно неприятные иерархии, для существующего строя, для «здравого смысла», необходимо преподносить с чрезвычайной осторожностью. Мы работаем на буржуазную клиентуру. Это единственные наши читатели. Не срывайте с храма покрова грубой рукой. Мните их. Продырявливайте исподтишка. Под видом починки, вырезывайте там и сям лоскутки, чтобы сделать куклы из них... Я провел всю свою жизнь в том, что заворачивал динамит в папильотки».

Так вот она откуда — эта чрезмерная «деликатность» франсовского стиля? Ему необходим красивый граненый бокал, чтобы в нем с «вежливой» улыбкой поднести к губам ненавистной ему буржуазии яд своего острого ума, слизавшего всю позолоту со всех «святынь» буржуазного общества. Не имея темперамента и положительных идеалов действенного, революционного борца, Анатоль Франс тем не менее выполняет в течение многих лет подлинно революционную работу разрушения старых основ жизни доступными ему средствами, — при помощи лакомого, изящного слова, на которое так падко «культурное» западно-европейское общество.

Исподтишка продырявливая «дырочку», Анатоль Франс и в личной жизни, и в случайной беседе продолжает или предвосхищает в резкой обнаженной форме содержание своих книг — он беспрерывно разрушает религиозные предрассудки, высмеивает исторических героев, развенчивает военную доблесть и кукольную дисциплинированность солдат, до гротэскного театрика снизводит знаменитую французскую академию «бессмертных» и т. д.

Вот беседа с аббатом М.

Франс прибегает к излюбленному своему приему—осторожной усмешечкой распропагандировать превосходительного священника католической церкви: «...Напрасно указываете вы мне на многочисленность церквей,

на их богатство, на пыл верующих. Эти верующие—неверные. Ни один из них не принимает учения всецело... это католики по неведению... Некоторые церемонии, как, например, освящение колоколов, вызывают у вас улыбку. Вы допускаете непогрешимость папы, но со столькими оговорками, что эта непогрешимость становится призрачной... Догмат непорочного зачатия кажется вам, как вы недавно мне говорили, довольно неуместным в наш научный век. Стало быть, господин аббат, вы столь благочестивый человек, вы, светоч своего прихода, вы — бессознательный протестант»...

Здесь мы наблюдаем некоторые религиозные колебания в самом аббате. Но, увидев маленькую дырочку, Франс пытается ее превратить в большую зияющую пустоту безверия.

В этой беседе на религиозную тему писатель высказывает одну мысль, выходящую далеко за пределы религиозных вопросов, имеющую отношение к людским верованиям вообще:

«У каждого есть своя маленькая религия в большой, своя часовенка в соборе, свой излюбленный святой, свой пиэтический строй жизни. О великих же истинах либо не думают, либо из них много вываривают, чтобы можно было их проглотить»...

Эти слова, как эластичная пленка, легко и туго обтягивают формы любой эпохи, любого народа. Сколько прекрасных, лучистых идей попало в руки грубого, скотинистого мещанства в виде домашней птицы, мирно клюющей с ладони зерна? — Не счесть их!

Стоит Франсу прикоснуться к Жанне д'Арк, именем которой названо произведение мэтра, и одна из «прекраснейших» страниц официальной французской истории превращается в горсть ничтожного пепла:

«Эта девственница донимает меня. Больше двадцати лет вожусь я с нею. Не знаешь, с какой стороны взяться за нее. Она блаженная, но проказливая тварь. Как бы ни рассказать ее историю, все останутся недовольны... Говорят же теперь о канонизации этой «святой» девы. Следовало бы закончить наш памятник республиканского либерализма прежде, чем священники не подняли ее на алтарь».

Выпадам Франса против Наполеона позавидовал бы сам Лев Толстой, ненавидевший и презиравший маленького корсиканца. Для Франса Наполеон — не великий полководец, а смешной, ничтожный человек, одурачивший много наивных и глупых людей, человек физического несовершенства и духовной ограниченности:

«Это шут и это больной человек. Его отец, его дед умерли от рака. От них он унаследовал эту болезнь, давшую повод людям с поэтическими претензиями сравнить его с Прометеем, которого грызет коршун. Этот «великий муж» не мужчина, или мужчина в минимальной степени... Достаточно прочесть протокол вскрытия, произведенного английскими хирургами. Они были поражены женственным телосложением императора»...

Покончив с Наполеоном физически, Франс переходит к оценке его исторической роли. И здесь писатель подбирает весьма искусной рукой все плохое и чванливо-жалкое, наделанное императором. За таким Наполео-

ном смешно итти без оглядки в бой, такого Наполеона нелепо боготворить. Его жестокость, его эгоизм, его грубость решительно от себя отталкивают. Попутно с этим надо заметить, что к физическому портрету Наполеона не случайно так часто возвращается в своих беседах о нем писатель. Франс полагает, что меж физической природой человека и его духовной продукцией существуют обусловливающая друг друга связь.

Как все философы и поэты, Анатоль Франс глубоко штатский человек — он презирает ремесло солдата и муштровку его показывает не иначе, как в смешном виде:

«День был дождливый. С очень низкого и пасмурного берлинского неба дождь лил, как из ведра, как из бочки. Я с трудом удерживал под этим ливнем свой скрипевший зонтик. Флейты, барабаны, весь военный блеск... Караул продефилировал безупречно. Солдатские сапоги молотили мостовую. Вода брызгами взлетала с асфальта навстречу дождевой воде. Эти бедняги напоминали мне бронзовые аллегории версальских фонтанов. Но вся эта мифология была забавна. Вижу, как сейчас, барабанщика в своего рода металлической митре высотою с рослого мальчугана. Дождь лил на этот кафтан, как на кровлю мансарды, и стекал по носу и усам романтическими каскадами»...

Мы вполне верим Франсу, что в такую именно скверную дождливую погоду он видел парад берлинских солдат. Но нам кажется — будь погода более радостной, он непременно подменил бы подлинное солнце вымышленными облаками, чтобы не сделать торжественно красивым медь и золото военного мундира. Куда забавнее и бессмысленнее парад солдат под сплошным ливнем.

Но, к сожалению, человечество не довольствуется одной игрою в мужество, оно время от времени впадает в драчливый транс, и тогда земля покрывается лужами человеческой крови. Широким, трудовым массам не нужны эти жестокие и бессмысленные войны:

«...эта игра, как все игры, разоряет народы. Выигрываешь, пока не проиграешься. Проигрываешь, пока не отыграешься. И остаешься фофаном, как был. Подумать только, что в течение многих тысячелетий продолжается эта столь однообразная игра в знамена».

Вывод отсюда явно антимилитаристский.

В колонию для кретинов превращает Франс академию «бессмертных», куда стремится попасть во Франции всякий значительный деятель в области науки или искусства: «Трудно представить себе, до чего эти сорок, столь ничтожные в своих писаниях, влиятельны в жизни... Они разменивают на интриги всю энергию своего ума. Знаете ли вы более от'явленного дурака, чем Л...? А индюшечья глупость П...? А этот простуженный Б...? самый крупный поставщик галиматьи за последние десятилетия. Но, друг мой, эти олухи чрезвычайно хитры, когда кто-нибудь хочет проникнуть под их купол»...

Такова вот характеристика «цвета» культуры французского народа.

Мы слышали до сих пор из уст Анатоля Франса одни лишь насмешки. А что же, в конце концов, нравится Франсу в этом «культурном» буржуазном

обществе, среди которого он жил и творил? — Ничего! Все его эстетические, этические и всяческие иные духовные ценности, по мнению Франса, равны нулю. Вот почему он презрительно отвернулся от современности, не читая новых книг и продавая их на вес букинистам неразрезанными, коллекционируя не современные произведения искусства, а средневековый и древний скарб. Пусть среди этого пыльного хлама было и много подлинных шедевров. Но коллекционированием Франса не руководила центральная воля, группирующая вокруг себя реликвии по определенному замыслу и плану.

Если частично оно вытекало из сознательной любви писателя к тем или иным уникам, то в целом оно являлось для него чем-то вроде баррикады, которой он отгораживался от современной культуры. Франс нередко собирал вещи, которые совершенно не ценил: «...вилла Саид очень напоминает лабораторию доктора Фауста. Я позаботился о том, чтобы у меня на потолке висело несколько крокодиловых чучел. Совсем это не потому случилось, что мне нравятся причудливые вещи. Вы знаете, что мои вкусы склоняются к XVIII веку, эпохе консульства. Но эти две эпохи захватила мадам. Чтобы с нею не воевать, я обратился к средним векам. Когда мы идем к антиквару, у нас такое условие: Людовик XV, XVI, — это для нее. А мне достаются святые девы, средневековые мощи... мне начинает надоедать эта церковная рухлядь»... Занавесился от ненавистной современности — и ладно. А какой шторой — это, в конце концов, все равно. Лишь бы не лезла в глаза сегодняшняя пошлость культуры. Таков смысл этого слабовольного отказа от любимых вещей и приобретения ненужного, неинтересного мусора чуждых Франсу эпох.

Знания Франса в вопросах религии, философии, искусства были, повидимому, огромны. Сам человек весьма образованный, Бруссон свидетельствует, что, после одной из бесед с мэтром, он почувствовал себя таким разбитым, словно он перетащил у себя на голове в другое помещение все фолианты Национальной Библиотеки.

Но и наука не дала Франсу устойчивого удовлетворения. Он наглотался всяческих культур для того, чтобы сказать:

«Теперь я знаю тщету всей человеческой науки. Сколько бесполезного чтения, сколько обременительных знаний. А жизнь так коротка и среда так невежественна.

«К чему этот громоздкий багаж, когда путешествие так недолго? Меня хвалят за эрудицию. Впредь я желаю быть эрудитом только в делах любви».

В последних словах — большое преувеличение. Надо, однако, сказать, что тема любви занимает Франса довольно часто. Но в словах его нет противного старческого сюсюканья, смакования циничных «фразочек», вытекающих обычно из напрасных усилий быть мужественным. Не прикрывая понятий фиговыми листочками лживой «скромности», он бесстыден, как древние поэты Греции, которые так же свободно и непринужденно говорили о человеческом теле, как о политике, статуях и прочих приличных вещах.

Заслуживают исключительного внимания слова Анатоля Франса о творческих процессах, о которых так много (слишком много!) дискуссируют у нас в России. Особенно следует их запомнить тем молодым людям из «литературных инкубаторов», которые полагают, что достаточно обложить себя книгами формалистов, чтобы сделаться хорошим поэтом или хорошим беллетристом:

Будучи тонким, искусным энциклопедистом, Анатоль Франс, тем не менее, не преувеличивает значения знаний теории для плодотворных успехов в искусстве. Для поэтического творчества недостаточно знать, надо чувствовать материал. Там, где нет стихийного, органического горения, не может быть зародыша великих произведений искусства.

«Великие мысли рождаются в сердце», — повторяет Франс слова древнего мыслителя.

И нельзя с этим не согласиться: только мыслям, прогретым в сердце, свойственно эмоциональное и интеллектуальное воздействие на окружающее. Меж Сальери и Моцартом Франс проводит резкую грань:

«Грамматик это одно, а писатель это другое. Грамматика — ремесло. Стиль — дарование. Стиль прирожден человеку, как голос. Строго говоря, можно исправить тембр голоса и слух, но от изучения опер и нот не делаешься тенором, как не становишься превосходным писателем от внимательного чтения трудов по грамматике. Несмотря на «превосходные» рецепты, ни один грамматик не может хорошо писать. Для проверки своих правил ему приходится обращаться за примерами к писателям, которые пишут, руководствуясь инстинктом»...

Но отсюда не следует, что, недовольный слишком много теоретизирующими писателями, Франс готов склонить свои симпатии на сторону невежественных интуитов, полагающихся в работе на «волю божью» и на свой крохотный талантишко, не впитавший в себя никакой культуры (таких «писателей» у нас хоть отбавляй!). Знание и усидчивость он ценит очень высоко. И в этом смысле Франс своим творчеством дает лучший образец, как надо быть художнику сурово требовательным к самому себе. Читая его произведения, мы нигде не наталкиваемся на недоделанные, не проработанные места. Ни на один стилистический ляпсус. Ни на одну узловатость. До того цельны, закончены его произведения, что порою кажется — здесь нет усилий, здесь фонтан вдохновенной импровизации. На деле это далеко не так. Держа по шесть корректур, он по-долгу, кропотливо вносил в них исправления, добиваясь законченности.

Упорная работа над собою привела Франса к некоторым очень ценным указаниям, которые он дает писателю:

— Ласкайте долго свою фразу, и она, в конце концов, улыбнется вам.

— Самые прекрасные сюжеты? Конечно же, самые простые, самые нагие.

— Остерегайтесь слишком пространных, слишком мелодичных фраз: сначала они укачивают, потом усыпляют.

— Где только можете, сокращайте фразу. А сократить ее можно всегда. Самая красивая фраза? Самая короткая.

— Не беспокойтесь о переходах. Лучшее место скрыть от читателя место перехода — быстрый скачок, без колебаний.

— Сталкивайте лбами эпитеты... Не пишите: «Великолепные и благочестивые прелаты»... Пишите: «Тучные и благочестивые прелаты». (Здесь имеется в виду ненужность нагромождения однородных эпитетов и необходимость контрастировать их, противопоставить для достижения эффекта неожиданности и двойственности).

С точки зрения выше указанных положений далеко не безупречна литература наших дней. Старомодной колымагой тащится она по вязкой дороге обывательской медлительности, скуки, корявой бесстильности, нудная, как катехизис. Для ее омоложения предлагают много средств. Я рекомендую нашим писателям в данном случае не пренебречь мудрыми советами Анатоля Франса.

В общем мысли Франса в книге Бруссона блестящи, глубоки и парадоксальны. Руководствоваться ими без отбора невозможно. Но крупица истины почти в каждой из них есть. Франс никуда никого не зовет, никаких горизонтов не открывает. Он, как хороший вентилятор, лишь проветривает человеческие мысли, изгоняя оттуда ханжество и рабство. От его скептицизма веет освежительной прохладой. А от стиля Франса — от одежд его мысли — дышит тем высоким мастерством, которое само по себе дает уже высокое и незабываемое наслаждение.

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

Александр Яковлев. В родных местах. Рассказы. Издательство „Никитинские Субботники". М. 1925 г. Стр. 141.

Основной тон этих рассказов — простота и мягкость. Особенно последнее чувство бесконечно варьирует у автора. Перед нами творчество, стремящееся выражать свои настроения в элегической форме. Рассказывает ли Яковлев о старом графе, только издали прогуливающемся по ночам мимо отнятой у него революцией усадьбы („В родных местах"), описывает ли он такую же старую поминальщицу Колотилиху, влюбленную в своего кота Фомку („Нечестивый кот Фомка"), излагает ли столкновение колчаковского солдата Гринькя со своей кулацкой родней („Сила вещей"), или вспоминает с ласковой грустью о собственном детстве („На заре") — чувства его неизменно кристаллизуются в образах сосредоточенно мягкого лиризма. У Яковлева есть вкус к живописному; он легко находит тему. Но стада кротких барашков, постоянно пасущиеся на лугах его чувства, придают его темам некий буколический вид, и даже самые мрачные из них как-то тухнут и бестелесно расплываются. Вот самый трагический рассказ из этого сборника — „Сила вещей". Старый деревенский кулак Минеев, не поладивший с сыном, только что вернувшимся из колчаковской армии, посылает в город сноху с доносом на Гриньку. Гриньку расстреляли. Устроив пышный поминальный обед, отец, потчуя гостей, умильным голосом молит:

„— Душеньку-то Гришенькину помяните.

„Отец Геннадий вздохнул:

„— Вот служили в те поры панихиды, а он вернулся, а теперь уж не вернется.

„И все грустно так задумались. И на момент перестали есть" (стр. 74).

В этом лирическом финале, чуть тронутом иронией, безмятежно растворяется звериню-драматическое содержание эпизода. Таковы все рассказы: грозовые тучи; резкие контуры; и вдруг между двух черных туч прорывается мягкий луч солнца. У Яковлева — гнев и порывы, закрашенные элегией и рождающие спокойные, тихие картины.

В своей манере письма Яковлев не особенно индивидуален. Слова перепутываются с традиционными ариями о силе вещей, о любви к прошлому, о радостях детства, о добром человеческом сердце. Яковлев не прочь нам поведать о сердобольной прачке, голодной и нищей, приютившей тем не менее бездомного старика, уступившей ему теплую лежанку, где он и пролежал до смерти — что-то года два с половиной („Голь перекатная"). Или я того еще трогательнее: как тюремный сторож с женой пригрели беспризорную девочку, а та выросла, стала сельской учительницей и забрала обоих стариков к себе на покой.

Но во всех этих незамысловато-сентиментальных рассказах сверкает искра самобытного дарования. Там, где нетрудно впасть в слащавый и приторный тон, Яковлев находит верную дорогу: в нем ни на минуту не исчезает и не обрывается связь с новым ритмом жизни.

Л. Войтоловский.

Сергей Семенов. Да, виновен. Рассказы. Госуд. Издат. Ленинград 1925 г. Стр. 207.

Сергей Семенов вносит в современную литературу новую струю чрезвычайно острой пытливости. Его рассказы являются не столько результатом бытового изучения, сколько продуктом долгих исканий внутри себя, продуктом острых усилий мысли, превращенных фантазией писателя в наглядные образы. Это не значит, что рассказы Семенова оторваны от действительности или развиваются вне времени и пространства. Семенов целиком принадлежит нашему времени, и все его произведения проч-

но основаны на новых течениях и фактах. Но все отчетливо-зримое — простые житейские эпизоды — не увлекает его. Семенова больше всего интересуют люди и нравы завтрашнего, еще не наступившего дня. Они уже тут, среди нас — эти завтрашние люди. Завтра их чувства, их поступки, их моральные побуждения найдут сочувственный отклик в любом прохожем. Но сегодня они стоят еще в одиночестве. Сегодня, сейчас это странные, загадочные натуры, блуждающие и мечущиеся в конвульсивных порывах. Сегодня им, гордым, свободным и непреклонным, бросают жесткие приговоры: „да, виновен". В небольшом публицистическом очерке „Республика на экзамене", заканчивающем сборник настоящих рассказов, Семенов как бы дает комментарий к своим рассказам в таких выражениях:

„Революция, протекающая у нас уже седьмой год, до сих пор захватывает в свой круговорот в гораздо большей мере людей, чем вещи. Вещи у нас неподвижнее людей: сознание освободилось, а быт в цепях, грандиозные замыслы на-лицо, а производство налаживается медленно. Все это целиком противоположно „американизированной" промышленности Запада и Америки. Там люди неподвижны, люди еще прочно прикреплены к своим социальным гнездам. А круговорот вещей огромен. Гигантская промышленность выступает уже в качестве геологического деятеля. Социальное тело готово, а дух коммунизма в него не вдунут... У нас не готово физическое тело страны, а дух коммунизма вдунут..." (стр. 207).

В этом ломающемся, расплавленном, неокрепшем быту и люди, и факты приобретают много значений. И то, что в границах старого быта считалось тяжелым преступлением, то для людей, социально и психологически преодолевших прикрепленность к минувшему, может явиться источником новых чувств, мимолетных, но острых мыслей. Такая мысль, превращенная в действие, делает человека отличным от всего, что его окружает, и придает этим людям неподвижно застывшее выражение фанатиков, изуверов или трагически потрясенных безумцев. Таков, например, рассказ Семенова „Убийца". Это попытка дать Родиона Раскольникова из „Преступления и наказания" Достоевского в современной обстановке. Он снова в роли убийцы, снова перед судом. Но на этот раз он не кается, а пытается доказать свое право на убийство доводами рассудка и требованиями социально-классового расчета. Правда, делает он это неумело и довольно бесцветно. Но мысль автора совершенно ясна: Семенов в резкой драматической форме дает один из этапов по пути к созданию новой морали. Сегодня это еще мимолетная вспышка. Но мимолетное и случайное в каждом атоме человечества, склубляясь и отлагаясь в поступках целого класса, завтра станет главным и направляющим волю этого класса и отольется в твердые догмы моральных повелений. Но сейчас, с точки зрения неподвижно застывших правил, чудовищным кажется это убийство, и суд выносит решение: „да, виновен". Виновен комиссар, убивший свою жену за то, что она мешала ему в партийной работе. Виновен молодой талантливый комсомолец, не умеющий воздержаться от пьянства („Зуев"). Виновен рабочий, публично обругавший Советскую власть, хотя и вцепившийся в лицо постороннему человеку, затесавшемуся в собрание и тоже подзуживавшему против Советской власти („Диалектический рассказ"). Виновны брат и сестра, зарезавшие и съевшие своего годовалого братишку („Дело № 11") и т. д.

Такова эта тернистая Голгофа по пути к новому быту и новой морали. Семенов любит останавливаться на таких исключительных, острых моментах, полных драматической злобы, мучительства, голода и крови. О многом говорится у него между строк и адресуется он лишь к тем читателям, которые умеют задавать вопросы.

Рассказы Семенова имеют высокую идейную ценность, но построены далеко не одинаково. Некоторые, как, например, „Убийца", слабы в сюжетно-архитектурном смысле. Другие задуманы более оригинально, как, например, „Зуев", „Бог и шаны", но выполнены небрежно, почти неряшливо. Но есть рассказы, говорящие о мастерстве Семенова: „Диалектический рассказ", „О чем рассказывал мне Сакре" и „Тиф". Из них последний потрясает утонченным анализом. В этом рассказе Семенов слышит и передает такие шопоты больного тела, под простым названием „Тиф" рисует

такие биологические катастрофы и потрясения, такой широко развернутый поток преображающих переломов, которые говорят о большом творчестве, с полной ясностью умеющем передавать самые скрытые движения человеческого сердца.

П. Войтоловский.

А. Фадеев. Разлив. Повесть. Изд. „Молодая Гвардия". 1924 г. 74 стр.

Место действия — Сибирь, действующие лица — сибиряки, время действия — начало Февральской революции.

Тематика повести крайне проста и несложна. Из берегов неожиданно вышла многоводная река Улахэ и затопила большое крестьянское селение. Покорные стихии крестьяне готовы погибнуть, не зная, как противоставить свою волю к жизни обрушившемуся на них несчастию. Но среди них имеется умный и мужественный Иван Неретин, полукрестьянин-полурабочий, который, наперекор стихии, быстро сорганизовал лодочную флотилию и, таким образом, спас от гибели своих односельчан. Попутно с этим лейт-мотивом „Разлива" имеется в повести несколько других соподчиненных тем: любовь Ивана Неретина к болезненной акушерке, столкновение Неретина с непримиримым врагом деревенской бедноты, кулаком Вавилой, встреча молодого красавца Антона с оровательной дикаркой из сибирской тайги, Каней. Но не тематика „Разлива" заставляет говорит об авторе. С этой точки зрения повесть совершенно нелюбопытна. Ко множеству „сибирских" повестей и рассказов революционного периода в нашей литературе никаких существенно новых черт Фадеев не добавил. Отрицательное впечатление производит также композиционная неопытность писателя. Столкновение лиц, чередование событий логически совершенно не мотивированы, не даны в таком сочетании, чтобы читатель нетерпеливо переворачивал одну страницу за другой. Но, несмотря на перечисленные недостатки, повесть все же радует, как положительное литературное явление дебютного характера. Автор знает и любит природу Сибири. Он умеет сочно лепить фигуры стихийной мощи, наивной и первобытной простоты, которые получаются у него значительно ярче и живее умно и сознательно разговаривающих граждан. Это не проистекает из равнодушия Фадеева к социально-политическому пробуждению России. Наоборот. Он весьма внимателен, в пределах поставленной им задачи—к классовым контрастам, к накоплению в массах революционной динамики. Но, как подлинный художник, далекий от публицистических тенденций, автор не мог не видеть, что в глубине лесной Сибири, восемь лет назад, горaздо явственнее политики руководили человеком от сохи и охотничьей двухстволки растительные процессы жизни, слиянность и борьба с диким лесным зверем, любовь к речной волне и поединок с ее опустошительным разливом. Вот почему гибнет от чахотки „интеллигентная", жалкая акушерка, и так жизнерадостно хороша и сексуально притягательна смелая, дикая лесная Каня, слегка напоминающая Олесю Куприна, из всех состязаний с природой выходящая победительницей. Заслуживает также внимания сочный язык, которым написана повесть. Но и здесь имеются недочеты, от которых следует тов. Фадееву освободиться. Нехорошо, например, сказать вот так:

„Тяжелые слова повисли в расплавленном воздухе"...

Шаблонное и стереотипное „литературное" „повисли" должно быть безвозвратно сдано в архив.

Не к чему такой вывихнутый „имажинизм":

„На холмах паслись коровами сандагоуские избы"...

И совсем уж плохо такое затасканное сравнение:

„...Крест блестел на солнце, как игла".

А в заключение вот что. — Безусловному дарованию тов. Фадеева свойственны бесформенные очертания разлива, от которых следует поскорее освободиться, чтобы в них не утопить хороших возможностей.

Федор Жиц.

А. Иркутов. АААЕ. Роман приключений. Издание „Мосполиграф". Москва 1924. Стр. 304.

Л. Никулин. Тайна сейфа. Роман изд-ва „Пучина". 1925. Стр. 261.

Отрицать огулом подготовительно-культурное значение авантюрной литературы

не приходится. Имущие классы имели „пышную“ литературу для своего юношества: Густав Эмар, Фенимор Купер, Майн-Рид, Жюль-Верн, А. Дюма — это вершина такой фантастико-романтической, экзотическ(о)-приключенской литературы.

И задача современных романистов в том, чтобы подобная литература была хорошо сделана, чтобы чтение было действительно занимательно и, наконец, — и для нашей эпохи это самое важное! — чтобы в нем на-ряду с неизбежной ложно-классической романтикой и головоломными трюками было восхождение: ощущалось бы наличие действительного перехода к реалистическому миру нового искусства, новейших достижений науки, как это мы видим для своего времени, напр., у Жюль-Верна. Здесь над авторами висит опасность стать внутренне на уровень сознательно-приниженных целей, увлечься ими и всецело подчиниться голосу трупного мещанского эстетизма.

Удалось ли авторам данных романов дать действительно занимательное чтение?

Приходится сказать о первом романе АААЕ, что он скучен.

Авторами обнаружено прежде всего полное неуменье построить фабулу. Они берут пять различных эпизодов с различными действующими лицами и только на последних страницах сводят их в одно. В фабуле и ее развитии вопиющее отсутствие органического единства; отсюда — у читателя отсутствие внимания и интереса к роману. Роман в сюжетной композиции — ученическое сочинение.

Читатель утомляется, разбрасывается, его охватывает досада за частый перерыв фабулы, за надоедливое вклинивание в нее все новых и новых лиц, появляющихся как deus ex machina. При чем все построено так, что читатель постоянно видит, что все это „нарочно“ и что это кончится, конечно, благополучным завершением героических приключений действующих лиц. Фантастика романа совершенно фантастична и житейски беспочвенна. Язык романа безграмотен в достаточной мере, чтобы привлечь редактора к ответственности за увечье русской речи. Один пример из числа многих. „Взяв пару сотен метров“ (стр. 138), „В пару минут“ (стр. 114). На этой же странице: „Дал пару советов“.

В романе фигурирует и „беспредельный горизонт“, слово „склизкий“ и т. д.

Здесь мы найдем и упоительную дань мещанскому эстетизму à la Вербицкая:

„Да, она кажется счастливее и, увы, только кажется. Едва почувствует она первое набухание груди, едва ее одежды первый раз окрасятся каплями крови, алыми вестниками зрелости (восхитительно! *В. П.*), как гарем, безжалостный восточный гарем, схватит ее в свои объятия и примется за свою разрушительную работу“ (Стр. 78—79).

Роман пошл и бездарен. Достоинств, о которых авторы просят им сообщить, в романе не обнаружено.

Роман Л. Никулина сделан во всех смыслах лучше. Язык Л. Никулина внешне вполне литературен и даже претендует на собственный лик: внешний стиль отчетливой и ясной фразы. Это уже много.

Но и он утомляет читателя со второй половины. То, что издательство в предисловии сочло за достоинство романа: построение сюжета романа зигзагами, постоянную ломку фабулы, мистификацию читателя, — это все и является основным грехом его. Нужно огромное напряжение, чтобы понять смысл и связь большинства эпизодов романа.

Политическая сатира в романе газетна и литературно совершенно неубедительна. Вместо людей — схемы, марионетки, говорящие и пишущие манекены. Отсюда — у читателя не рождается и тени эмоциональной заинтересованности, он следит за ходом действия, как человек, неумеющий играть в шахматы, за искусной перестановкой маэстро деревянных фигур.

В. Правдухин.

Архангельская группа писателей „Октябрь“. — Багряные льды. Литературный альманах. „Земля и фабрика“. Москва — Ленинград 1925 г. Стр. 158.

В альманахе много талантливого, первично-талантливого, но также много и досадно-незрелого, небрежного и ошибочного. Борис Рингов, автор наиболее крупной повести „Шторм“, мог бы написать хороший рассказ: у него есть и художественные данные, и наблюдательность, и известная зоркость. Но сил для повести, произведения, требующего художественной обобщенности, у автора пока нет. Его ре-

волюционный пафос местами гаснет его широко задуманный сюжет мельчает, дробится — сильные, приподнятые главы чередуются с репортерски - газетными, лишними и скучными сценами. Автор погнался за кинематографичностью и в погоне за ней потерял основное звено повести: преемственность нарастания действия. Получился ряд отдельных, в большинстве беглых, поверхностно-зарисовочных картин. Получились смутные, расплывчатые, в большинстве блеклые человеческие фигуры. И только фигура Фили Марселя, французского солдата, становящегося большевиком и убитого при отступлении англичан с севера, вышла живой и интересной: она кое в чем напоминает китайца Син-Бин-У из „Бронепоезда“ Вс. Иванова. Кстати, частые лирические отступления Б. Рингова, как и общая композиция повести, с несомненностью подтверждают, что автор находится под очень большим влиянием Вс. Иванова. Автор должен быть более внимательным и сосредоточенным. Должен упорно работать. У него есть и наблюдательность, и страстность, и цепкая сила образности (на заводе спайка, как кованая, остывающая подкова), — он может дать интересное художественное произведение. Повесть же „Шторм“ остается обещанием и надеждой.

Рассказ Г. Шубина „Якунько“, наоборот, является несомненным достижением. Он написан очень хорошим, очень чистым языком, сжат и, в то же время, законченно-целен. Якунько — сибирский подросток, встречающий, во время господства белых, скрывающегося в лесах большевика. На большевика устраивают облаву, и Якунько, жизнелюбивый, бодрый Якунько, садится под арест. Его охраняет ленивый солдат-бородач. Солдат жалеет Якуньку, делит с ним пищу, а потом, при отступлении, в сообществе с другими, расстреливает его. Расстреляв, плачет.—Таков сюжет рассказа. Выполнен рассказ очень хорошо, с детальной разработкой темы, с успешно-разрешаемым устремлением на обрисовку центрального образа (Якуньки), с непрерывно разрастающимся, художественно - оправдываемым драматизмом. Шубин — несомненный художник. Необходимо внимательно следить за его дальнейшим творчеством; его недостатки — частичная словесная небрежность и беглость — очень быстро сгладятся в процессе дальнейшей работы.

Третий рассказ „Сносари“ (отрывок из повести) Ал. Зуева нехарактерен, как и всякий отрывок. Впрочем, и здесь заметен зоркий писательский глаз и умелое обращение с материалом.

Среди поэтов, представленных в альманахе, выделяется Ив. Молчанов. В его очень содержательных стихах много бодрости, легкой певучести и — прекрасного, молодого задора. Остальные (Вл. Жилкина и Онежского Бурлака) — не перерастают ученических границ.

Н. Св.

Т. Шевченко. Дневник. Редакция, вступительная статья и примечание И. Я. Айзенштока. Из-во „Пролетарий“. Харьков 1925 г. Стр. 281 + 31.

Публикация „Дневника“ знаменитого украинского поэта, Тараса Шевченка, состоялась впервые еще в 1861 г. в журнале „Основа“. Тогда же редакция снабдила „Дневник“, печатаемый далеко не в полном виде, предисловием, в котором говорилось: „Дневник“ — драгоценный по своей правдивости, простоте, искренности и по автобиографическим подробностям. Нам кажется, что Шевченко, как поэт, художник и человек, полнее всего высказывается в „Дневнике“. Кто внимательнее прочтет его от начала до конца, тот сразу составит себе живое представление об этом гениальном явлении и не только будет удивляться ему, пораженный многосторонностью ума и сердца этого дивного самоучки, широтой и истинностью его взгляда на жизнь и искусство, но и полюбит его, как человека, со всеми его слабостями, которые он так глубоко сознает и в которых так откровенно сознается“. Эти верные слова старого редактора с еще большей полнотой применимы и для оценки „Дневника“, только что изданного, и на этот раз без пропусков, в том виде, в каком он писался самим поэтом.

„Дневник“ относится к одному из самых ярких моментов биографии Шевченка. Он был начат 12 июня 1857 года в Ново-Петровском укреплении (форт Александровск), где томился сосланный по „высочайшему повелению“ Шевченко за „сочинение возмутительных стихов“.

Николай Павлович жестоко отомстил бывшему крепостному графа Энгельгардта Тарасу Шевченке — ученику Академии Художеств и автору вольных и дерзких стихов: он выслал его солдатом в Оренбургский отдельный корпус рядовым „с правом выслуги, под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать, и чтобы от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений". Но в Оренбурге обстоятельства сложились так, что Шевченко смог и писать, и рисовать. Впрочем, он недолго нарушал „высочайшее повеление": по доносу некоего прапорщика Исаева у него был произведен обыск, обнаруживший два альбома с украинскими стихами и рисунками, сделанными карандашом. В результате — новая ссылка, в глухие степи Прикаспия, на Мангышлакский полуостров, в Новопетровское укрепление. Там несчастный Шевченко протомился семь долгих лет: режим был таков, что за все семь лет он не смог написать ни одной стихотворной строчки!

Друзья поэта продолжали хлопотать за опального друга, и ходатайство высокопоставленных покровителей Шевченка увенчалось успехом. В начале июня 1857 г. он получил извещение, в частном порядке, что на-днях будет получен официальный указ об окончании его подневольной солдатчины Легко себе представить великую радость Тараса Григорьевича. Именно в этот день первой вести о грядущей свободе и был начат „Дневник".

Но время тянулось томительно; в России, как справедливо отметил и сам Шевченко, всегда очень торопились выполнять приказы об арестах, но медлили освобождать и амнистировать. На досуге, — а досуг явился потому, что начальство, осведомившись о получении предстоящего указа, освободило „рядового Шевченко" от ежедневной лямки гарнизонной службы, Тарас Григорьевич копался в огороде и, ожидая с минуты на минуту канонерскую лодку, которая должна была привезти казенный пакет с вожделенным приказом, спешил занести на страницы своей тетрадки все, чему он был свидетелем за эти годы, проведенные среди людей, вполне утративших всякое понятие о человеческой чести. То, что рассказывает Шевченко о нравах „маленького гарнизона" — поистине способно привести в содрогание. Солдаты забиты невежественны, лишены досуга, единственная их радость — лишняя чарка водки. Но давно потеряли облик человеческий и их начальники. Карты, беспробудное пьянство, скучный и липкий разврат.

Сам Шевченко, уже накануне отъезда из форта, едва не попал под суд: он отказался пьянствовать с одним из фицеров, а тот донес, что „рядовой Шевченко" обругал его матерными словами. И пришлось Шевченке пойти к обидчику и униженно просить взять рапорт обратно. Рапорт был взят, принесена бутыль водки, и офицеры заставили Шевченко выпить с ними. „Мерзавцы, мерзавцы!" восклицает Тарас Григорьевич.

„В этом омуте, среди этого нравственного безобразия" томился Шевченко, и если у него еще есть слова прощения в отношении его мучителей — непосредственного его начальства, то с нескрываемым негодованием говорит он [всегда о главном виновнике своих несчастий, об императоре Николае, сославшем его в солдаты и отнявшем у него „благороднейшую часть бедного существования", т.-е. запретившего ему рисовать и писать стихи. „Трибунал под председательством самого сатаны не мог бы произнести такого холодного нечеловеческого приговора Август язычник, ссылая Назона к диким геттам, не запретил ему писать и рисовать, а христианин Николай запретил мне то и другое. Оба палачи. Но один из них палач-христианин?"

И, уже вырвавшись из этого омута, содрогается Шевченко каждый раз, когда доведется ему увидеть во сне кусочек этой страшной жизни: „Во сне видел Орскую крепость и корпусного ефрейтора Обручева; я так испугался этого тнусного ефрейтора, что от страха проснулся и долго не мог притти в себя от этого возмутительного сновидения", — занес он в „Дневник" от 3 сентября 1857 г.

Наконец, указ об освобождении пришел. Шевченко со скудным своим скарбом отплыл из Новопетровского укрепления. Астрахань, Волга, встречи со старыми знакомыми на пароходе,—медленный и блаженный путь вверх — к свободе. Приплыли в Нижний, и в Нижнем пришлось остановиться. Разрешения ехать дальше в Мо-

скву и Петербург еще не было. Он зазимовал в Нижнем.

В Нижнем ждет его великая радость: приезд на гастроли из Москвы его старого друга Михаила Семеновича Щепкина, знаменитого комика. А приезд Щепкина отметил еще один момент в его биографии: Щепкин, полушутя, полусерьезно посоветовал ему жениться на молоденькой актрисе Пиуновой. Шевченко послушался, влюбился и сделал предложение. Он был уже стар, она молоденькая девушка 16 лет. Последовал отказ, горькое разочарование, тяжелая обида самолюбию. Жаль пересказывать записи „Дневника", рисующие перипетии этого наивного романа Тараса Григорьевича!

Наконец, он получает доступ и в столицы. Едет в Москву, затем в Петербург; здесь встречи с давними друзьями, здесь знакомство с Аксаковым, с кружком Кетчера, с либеральной профессурой Московского университета. Здесь вспыхивают мечты о возобновлении занятий живописью, здесь принимается Шевченко за обработку начатых еще после освобождения из ссылки стихов.

Шевченко непрестанно упоминает о всех новинках книжного рынка, он с увлечением переписывает переводы из Барбье и Беранже, он с величайшей похвалой отзывается о первых опытах Льва Толстого, он тонко подмечает уклон русской сатиры в сторону изображения темного мещанства у Федотова в живописи и у Салтыкова в его „Губернских очерках". Он хранит благоговейную память о Гоголе, и ему кажется, что Островский и Салтыков являются продолжателями его дела. „Други мои, искренние мои, пишите, подайте голос за эту бедную, грязную, опаскуженную чернь, за этого поруганного бессловесного смерда".

Он с удовольствием далее выписывает в свой „Дневник" статью из „Русского Инвалида", в котором приводилась речь предводителя китайских инсургентов, Гонга, перед штурмом Нанкина. Речь начиналась так: „Бог идет с нами; что же смогут против нас демоны? Мандарины эти — жирный убойный скот. Годны они только в жертву нашему небесному отцу". Приводя эту цитату из речи китайского революционера, Шевченко восклицает: „Скоро ли во всеуслышание можно будет сказать про русских бояр то же самое".

Дневник проредактирован с большою тщательностью, снабжен отлично составленными примечаниями и обстоятельным вступительным очерком, вскрывающим значение этого высокоценного первоисточника для биографии Шевченка.

„Дневник" и в оригинале был написан по-русски ярко, увлекательно. Он восстанавливает не только прекрасный человеческий облик самого Шевченки, но и воссоздает тот „воздух эпохи", под веяниями которого жил и мечтал, страдал и томился великий поэт.

Юрий Соболев.

Рафаил Григорьев. М. Горький. Государственное Издательство. М. 1925 г. Стр. 147.

Горький — это первая короткая грозовая волна революции. Это — наше 9-е января в литературе — и в буквальном, и в переносном значении, поскольку в движении 9 января отразилась революционная воля пролетариата и крестьянства. Горький сосредоточил в своем творчестве это потрясающее движение целиком — со всем его романтизмом, стихийной бурнопламенностью, окуровским бытием, иллиодоро-гапоновским христолюбием, кликушеством, героизмом и неоткристаллизованным рабочим, не проварившимся, не прокаленным, еще не очистившимся от всяких мещански-индивидуалистических шлаков и лигатур. Писать о Горьком интересно и рискованно: легко впасть в слащавость, риторику и не продуманную оценку многих сторон его многогранного творчества. Р. Григорьев удачно преодолел многие трудности на этом пути. Многое охвачено верно в его изображении. Хорошо оттенена романтическая красочность Горького, его индивидуалистические уклоны, его безмерная и мужественная любовь к народу и его органическая социалистичность. Но самое трудное, конечно, вскрыть социальные корни его творчества, связав всю его художественную работу с определенной общественной средой, а не с какой-то выдуманной категорией. Вот тут-то Р. Григорьев и допускает большую путаницу. Правильно отмечает Р. Григорьев, что Горькому слабо удаются фигуры фабрично-заводских

рабочих, что он неумело разбирается в их настроениях, психологии, и от его партийцев и социалистов, вроде Павла Власова и Андрея Находки в „Матери“, веет беспомощным идеализмом народников. Но неправильны толкования Р. Григорьева, объясняющего все эти недочеты тем, что „в творчестве Горького почти не ощущается стихия города“ (стр. 103), и приходящего к выводу, что в его сочинениях и героях „в конце концов не видно ничего специфически-пролетарского, качественно нового и отличного от движения какого-либо другого класса, например, крестьянства“ (стр. 101). Верно, что в героях Горького мало „специфически-пролетарского, но совсем неверно, что эти герои мало чем отличаются от крестьянства“. Если бы Р. Григорьев не был загипнотизирован предвзятой идеей, будто в душах горьковских рабочих постоянно „звучит хорошо знакомый мужицкий мотив — пострадать за мир“ (стр. 102), то и на страницах той же „Матери“, и на страницах „Хозяина“ и др. он нашел бы немало прекрасно очерченных фигур полу-рабочих, полу-крестьян, промежуточных рабочих с психологией бунтаря, каковы: Левшин, Михайло Власов, Рыбин, Шатунов и др. Тень правды как будто улавливается Р. Григорьевым, когда он пишет:

„Не потому плох социализм Горького, что писатель „не переварил“ марксистскую теорию, а потому, что русская действительность еще не успела как следует „переварить“ все те исторически необходимые элементы, которые создают предпосылку для зрелого классового социалистического движения“ (стр. 105).

Но, переходя к истолкованию этой мысли, Р. Григорьев сбивчиво повторяет о „слабой связи“ Горького со стихиями современного капиталистического города (стр. 104) и пытается взвалить все беды на происхождение Горького „из мелко-мещанской слободской среды“ (95), чтобы сделать совершенно неожиданный вывод о внеклассовой, „общенародной“ природе его творчества:

„Эта общенародная трудовая Россия — пестрый и сложный мужицко-рабоче-мещанский агломерат — и создала Горького. Не крестьянская стихия, не классово-пролетарское движение, не бунт замордованного мещанства в отдельности вынесли наверх Горького, — взбаломученное Российское море, в котором слились все потоки народной стихии, подняло его на своем вздыбленном гребне“ (стр. 96).

И дальше еще старательнее доказывается, что:

„Социализм в произведениях Горького вырастает не на почве закономерной исторической необходимости, как естественная идеология классового пролетарского движения, а носит *надклассовый идеалистический характер в соответствии с пестротой социального „блока“, породившего художника*“ (курсив мой, стр. 97).

Все эти соображения Р. Григорьева, сбивчиво и путано излагаемые в главе „Социалистические мотивы и социальные корни творчества“ Горького, принимают совсем непонятный характер в главе под заглавием „Проблема лжи“, где критик навязывает Горькому какую-то подслащенную Достоевщину под видом некой „трагической задачи“, к которой Горький якобы подошел с молитвенной глубиной и сосредоточенностью и которая вся заключается в вопросе:

„Что нужнее: безжалостная, открытая правда, или отвлекающая от этой правды, опьяняющая, дающая забвение всего безрадостно-реального — ложь?“ (стр. 55).

Чего-чего ни наворочено в эту главу. Тут и вера в „перст божий“ (стр. 56), и ложь, „*как наихарактернейшая национальная черта русского народа*“ (курсив автора, стр. 55), и Сологубовская „Смерть - утешительница“ (стр. 61), и навязывание Горькому мыслей писателя Каренина (стр. 65) с торжественным заключительным аккордом.

„Мечтательность и вранье не всегда являются свидетельством о духовной бедности и синонимом рабского страха и смирения... Мы знаем, что Горький очень пристально и напряженно всматривался в это явление, неоднократно к нему возвращаясь. Можно сказать, что во всей его глубине и сложности оно было *открыто*

(курсив автора) Горьким в русской литературе" (стр. 64).

С таким открытием Р. Григорьева во всяком случае поздравить нельзя. Все произошло, повидимому, от желания автора приписать Горькому какие-то надклассово-идеалистические черты, превратить его в Златовратского от пролетариата. Но творчество Горького является художественным воплощением того периода русской жизни, который воплотился в движение 9 января. Это движение, созданное стихийным восстанием городских масс, возглавлялось рабочим классом, участвовавшим в нем и в качестве социально-экономической пружины, и в качестве революционного вожака. Промежуточную, рабоче-крестьянскую природу его героев и отразил в своих произведениях Горький.

Существенным недочетом книжки Р. Григорьева является отсутствие материала, посвященного критическим отзывам Горького. На протяжении четырех-пяти лет Горький подвизался в качестве литературного критика в „Нижегородском Листке" (с 1896 по 1901 г.г.) и написал за это время ряд ценных критико-публицистических памфлетов, весьма важных для литературной оценки Горького. Оставлена также без внимания критиком интересная переписка Горького с Лениным. Вообще, материал охвачен не полностью, и это отразилось на библиографическом указателе. Есть много лишнего, и нет, например, серьезных и ценных работ И. Кубикова, В. Кранихфельда, А. Луначарского, Н. Рожкова, Тальникова, Богдановича и др. Из немцев пропущен Фр. Меринг. Читается книжка легко и, за вычетом указанных недочетов, небесполезна.

Л. Войтоловский.

Н. К. Пиксанов. Два века русской литературы. 2-е издание, переработанное. Гиз. 1924 г. Тираж 5.000.

Книга представляет собой пособие для практической проработки русской литературы XVIII—XIX в в. Она составлена, помимо теоретического вступления, из ряда (около двухсот) систематически расположенных тем по изучению и исследованию русской литературы за указанный период в связи с теоретическими и историографическими проблемами современного литературоведения, с приложением к каждой теме соответствующей библиографии, а к некоторым и руководящих указаний по вопросам изучения данной темы.

В виду полного отсутствия в нашей научной литературе подобного рода указателей работа проф. Пиксанова представляется весьма нужной и ценной.

Хотя руководство Н. К. Пиксанова предназначается, главным образом, для учащихся высшей школы, для педагогов и для самообразования, нетрудно заметить,— на это указывает, впрочем, и сам автор книги, — что оно имеет научно-методологическое значение, целый ряд предлагаемых тем имеет значение не только методическое, педагогическое, но специальное научно-исследовательское. С точки зрения последнего рецензируемая работа и подлежит оценке.

В теоретическом отношении проф. Пиксанов справедливо выдвигает на первое место социологический метод, правильно отгораживая последний от социологической публицистики типа Скабичевского, понимает таковой, как метод, стоящий на платформе исторического материализма. Однако этот теоретический социологизм выдерживается не совсем монистически, наблюдается некий методологический эклектизм, — так, например, в одном месте теоретического введения социологический метод ставится уже не в основу научной методологии, а рассматривается лишь как равный целому ряду других методов. Мы читаем: „Литературная наука своим предметом имеет явление столь сложное, что ограничение каким-нибудь одним монопольным методом или приемом в ней было бы положительно вредно. Поэтому вполне приемлемы и давали отличные результаты самые разнообразные методы: лингвистический, формальный, эстетический, психологический, социологический" (7—8). Необходимо было бы, таким образом, отчетливей и определенней формулировать положение социологического метода. Это внесло бы еще бóльшую систематичность в распорядок предложенных тем.

Темы в книге даны расклассифицированными в следующем порядке: лирика, роман — повесть — поэма, творческая история, поэтика и морфология, литературные направления, западные влияния, критика, журналистика, цензура, литературные обще-

ства и кружки, биография, культура и быт, литература и искусство, идейные движения — публицистика — социологические анализы, историография и методология, народно-поэтическая стихия в русской литературе, personalia.

Все эти отделы науки о литературе, за исключением лишь немногих, у нас до сих пор еще очень мало разработаны. Большинство тем, поставленных Н. К. Пиксановым, очень свежи и нужны, научная их разработка необходима, она обещает весьма плодотворные результаты.

Большинство комментарий к темам преподаны умело и целесообразно, хотя некоторые шероховатости имеются и здесь. Просматривая руководящие вопросы к теме о Лескове, находим следующую постановку проблемы. Рекомендуется проделать: 1) составление хронологии и библиографии писем, произведений, не вошедших в собрание, 2) внутреннее описание воспоминаний о Лескове, 3) составить летопись жизни, 4) исследовать художественные средства, язык Л., 5) проследить христианскую легенду в переработках Л. — в аналогиях с Герценом, Гаршиным, Л. Толстым, Ремизовым, 6) изучить Л-ва, как бытописателя русского духовенства, 7) исследовать Л-ва, как литературного критика, 8) как публициста и 9) как расколоведа. Едва ли будет целесообразно исследовать отдельно Лескова, как расколоведа, литературного критика, или как бытоописателя духовенства, все это не имеет для литературоведения никакого значения, если же здесь кое-что может пригодиться для социального анализа Лескова, то это с успехом может войти в отдел изысканий о Лескове-публицисте. Гораздо необходимее было бы обратить внимание на Лескова, как на своеобразного новеллиста.

Наконец, кое-что можно было бы и расширить, например, отдел Достоевского; сюда хорошо бы ввести тему, посвященную „Достоевщине" в русской литературе конца XIX ст. (у Баранцевича, Альбова и некоторых других).

В общем, за вычетом указанных недочетов, книгу проф. Н. К. Пиксанова в ее втором издании можно рекомендовать, как весьма полезное руководство при занятиях русской литературой.

Арк. Глаголев.

Островский. Новые материалы. Письма. Труды и дни. Статьи. Под редакцией М. Д. Беляева. Труды Пушкинского дома при Российской Акад. Наук. Гиз. 1924 г. Стр. 458.

Настоящий сборник составился из описания и публикации неизданных материалов, хранящихся в Пушкинском доме. Содержание сборника распадается на четыре части: описание рукописных текстов оригинальных произведений Островского, публикации переводов Островского, эпистолярного материала и историко-литературных исследований.

Из неизданных страниц Островского в рецензируемом сборнике описываются: варианты „Записок Замоскворецкого жителя", ранний текст „Банкрота", варианты „Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский", наконец, приводятся рукописные редакции „Снегурочки", „Сердце не камень", „Без вины виноватые". Сделанные наблюдения над этими вариантами в их отношении к доселе известным текстам представляют собой более или менее значительный интерес для текстологии Островского как с обще-литературной стороны, показывая неутомимую и тщательную работу художника, так и со стороны специально-текстуальной — в деле установления окончательного канонического текста некоторых пьес Островского (для трех последних вышеназванных пьес).

Остальные отделы представляют несравненно меньший интерес. Совершенно излишним представляется нам помещение очерка Б. Л. Модзалевского „О братьях и сестрах Островского" с прибавлением переписки последних с Анненковым и Леонтьевым в том размере, в каком это дано; даже соблюдая всю историко-литературную щепетильность, достаточно было бы сообщить лишь о П. Н. Островском с его отзывами о знаменитом брате, а также лишь только некоторые из опубликованных писем, все же остальное, вроде чиновной биографии М. Н. Островского, могло бы с успехом мирно почивать в той архивной пыли, откуда был потрясен его прах.

Приложенная к сборнику хронологическая канва — „Труды и дни Островского", составленная Синюхаевым, отнюдь не может считаться дефинитивной, что видно,

хотя бы, из того, что уже в данном же сборнике к ней прилагается добавление.

Помещение статьи Кашина „Откуда взял Островский фамилию Юсова?“ в данном сборнике носит случайный характер.

Для предварительного филологического изучения наследия Островского сборник в общем окажется полезным.

Книга внешне издана вполне удовлетворительно и опрятно. К сборнику приложены снимки с хранящихся в Пушкинском доме автобиографической записи А. Н. Островского в альбоме М. И. Семевского „Знакомое“ и фотографической карточки с надписью Островского из архива М. Стасюлевича.

Арк. Глаголев.

Рихард Мюллер. Мировая война и германская революция. Авторизованный перевод Н. Олигер-Эльстер, т. I. Изд. Мосполиграф. М. 1924. Стр. 288.

По революционному движению в Германии во время мировой войны и в первые месяцы после нее—накопилась уже довольно значительная литература: библиография, приложения к рецензируемой книге, занимает 7 страниц убористого текста. Однако огромное большинство вышедших книг и брошюр принадлежат злейшим врагам революции: милитаристам (Людендорф, Пайер) и социал-демократам (Бернштейн, Носке, Шейдеман), дающим понятно, тенденциозную и искаженную картину событий. При таких условиях рецензируемая книга, принадлежащая одному из вождей революции 1918 г., бывш. председателю Исп. Ком. Советов Раб. и Солд. Депутатов Германии — заслуживает особого внимания. Как указывает сам автор, его книга преследует двоякую цель: с одной стороны, она стремится дать беспристрастный очерк революционного движения 1918 года, с другой—„облегчить немецкому пролетариату возможность критически пересмотреть методы, применявшиеся им в борьбе, окончившейся так неудачно“.

К сожалению, автор не совсем справился со своей задачей. Вместо того, чтобы сосредоточиться на тех моментах, которые ему лично хорошо известны, а именно на рабочем движении во время войны, на подготовке революции и т. п., он погнался за полнотой изложения и попытался нарисовать всю эволюцию социал-демократии с 1914 до 1918 г., а также общий ход политических событий. В результате получился ряд миниатюрных глав (по 5—6 страничек), в значительной части компилятивных, дающих лишь самое конспективное изложение событий.

Наиболее интересные главы, как уже было отмечено, посвящены стихийно растущему рабочему движению в Берлине во время войны. Во главе движения становятся берлинские металлисты и в частности влиятельнейший цех токарей, руководимый автором книги, Рихардом Мюллером. Несмотря на всю патриотическую пропаганду вождей с.-д. и профсоюзов, мы видим, как среди рабочих масс развивается сначала экономическое, а потом и политическое движение. Этому способствует: дороговизна, эксплоатация рабочих в военной промышленности а также идейное влияние с.-д. оппозиции-группы Гаазе-Ледебур и особенно Либкнехт-Люксембург. Все эти факторы постепенно разрушают пресловутый „гражданский мир“ (Бургфриден), и вот в июле 1916 г. мы видим уже первую политическую стачку, вызванную арестом Либкнехта, в которой принимали участие 55.000 рабочих. Эта забастовка, несмотря на свою неудачу, означала начало активной борьбы за мир, а также революционной организации масс. Известие о русской революции вызвало необычайный подъем среди германских рабочих, в которых укрепилось сознание, что лишь революция явится для них спасительным выходом. Попытка ареста правительством революционных руководителей профсоюзов вызвала в 1917 году вторую политическую стачку, в которой участвовало уже до 300.000 рабочих. Это революционное движение было сорвано предательством с.-д. и патриотических вождей профсоюзов, но тем не менее моральный эффект, произведенный ею, был грандиозен. Неудача на фронтах, гнет осадного положения и пр., — все это усиливало революционное движение среди берлинского пролетариата. В конце января 1918 года вспыхивает грандиозная стачка 400.000 рабочих, требующих немедленного заключения мира, на основе принципов русской революции, т.-е. без аннексий и контрибуций. Для руководства забастовкой был образован комитет действия, в который вошли и представители социал-

демократии. Автор дает курьезную картину работы этих „вождей" пролетариата в Комитете. На первом же заседании вдруг сообщили о приходе полиции: „Все три представителя с.-д. вскочили с мест. Шейдеман с быстротой молнии одел свое пальто, в то время как толстый Фриц Эберт никак не мог попасть в рукава, пока какая-то жалостливая душа не помогла ему справиться. Представителей рабочих известие о приходе полиции не могло поразить. Им не раз приходилось бывать в таких переделках".

Предательство социал-демократии и суровые меры военных властей сорвали третью политическую стачку, уже начинающую переходить в гражданскую войну и, что важно отметить, распространившуюся уже на всю империю. Но она являлась уже определенной прелюдией к революции.

Описание трех политических забастовок и связанной с ними борьбы внутри рабочего класса составляет самую интересную часть книги Р. Мюллера. Он выясняет, напр., ту роль, которую играли в этих событиях так наз. „революционные старосты", т.-е. активные профсоюзные работники, к которым он сам принадлежал. Мы узнаем о борьбе этих старост с официальными лидерами профсоюзов, с их политической платформой и т. п. Крушение немецкого фронта на Западе вызвало кристаллизацию революционных сил. Группа Либкнехта (союз Спартака) требует немедленного революционного выступления, „квалифицируя революционных старост в лучшем случае, как клуб взбунтовавшихся мещан"; последние, однако, охвачены традиционным опасением распыления движения, при котором может погибнуть его „хребет", т.-е. революционный центр.

Стремительно развертывающиеся события: военный разгром Германии, матросская революция в Киле и т. п., однако, сами приближают развязку. Революционное движение развивается подобно урагану, всюду вызывая к жизни рабоче-крестьянские советы. При этой новой обстановке мы видим, как революционные старосты начинают отставать от темпа событий. Они по-прежнему считают выступление германского пролетариата несвоевременным. Правда, они, вместе с революционными кругами Берлина, уже приняли решение „отбросить демократический хлам" и организовать советскую республику, но они идут не в голове событий, а в хвосте. Конечно, все это прекрасно используют с.-д., ведущие яростную агитацию против „необдуманных выступлений, которые приведут к кровопролитиям в тылу". Однако момент уже созрел, и сами рабочие берут инициативу в свои руки. Непроверенные известия об арестах Либкнехта, Р. Мюллера и др.—облетают все фабрики. „Удержать массы не было возможности, Революция стихийно должна была разразиться 9 ноября (1918 г.)". Автор, правда, пытается принципиально обосновать революционную пассивность, проявившуюся в этот момент среди руководителей берлинских профсоюзов. „Революции не делаются—указывает он,—и великие народные движения не устраиваются на манер театральных, по рецептам, которые партийные инстанции вытаскивают из карманов". Этот революционный фатализм, это пассивное упование на стихию, которая сама создает новые импровизированные, дотоле неизвестные формы и средства борьбы, однако дают лишь диагноз внутренней слабости немецкого революционного движения, поскольку дело идет об его организационных формах. Искусство вооруженного восстания — так всесторонне разработанное Лениным и применение его в октябре 1917 г.—является, конечно, лучшим опровержением теории пассивности, пропогедуемой Р. Мюллером и его единомышленниками.

Особую ценность рецензируемой книги составляют приложенные к ней исторические документы (воззвания, документы, письма, правительственные распоряжения и всевозможные информационные материалы), значительная часть которых публикуется впервые.

В. Гурио.

Войтинский. Годы побед и поражений. Книга I — „1905", книга II „На ущербе революции". Изд. Гржебина. Берлин 1924 г.

За последние год — два мы имеем ряд воспоминаний, написанных меньшевиками. Стоит только вспомнить „Записки социал-демократа" Мартова. Воспоминания Войтинского носят, конечно, иной характер, чем „Записки" Мартова. У Мартова они более тонки, глубоки, серьезны. В некоторых

местах „Записки" переходят прямо-таки в книжку по истории с.-д Воспоминания Войтинского написаны в более легком стиле. Они более индивидуализированы, более приближаются к типу беллетристических произведений. „Годы побед и поражений" тем более интересны, что они написаны бывшим большевиком.

Политическая биография Войтинского очень характерна. До 9 января аполитичный студент, поклонник Бэм-Баверка и марксоед (по собственному признанию), он становится „революционером" под влиянием кровавого Воскресения. Стачечная волна средины 1905 г., студенческие волнения второй половины этого года доканчивают его политическое воспитание. Войтинский— с.-д. С л у ч а й н а я встреча с знакомым студентом, который с в о д и т его с большевистским райкомщиком, делает из Войтинского большевика. Имея смутное понятие о целях и задачах с.-д., по собственному признанию почти ничего не понимая в большевизме, Войтинский делается видным большевистским агитатором. Если даже не соглашаться с его автобиографией за этот период, которую можно характеризовать известной фразой: „Фигаро здесь, Фигаро там", то все же нельзя отказать Войтинскому в том, что он, 20-летний студент, только что вступивший в партию, играл в питерской организации видную роль. Но вот проходит революция, начинается великое испытание, и Войтинский „сдает". Конечно, он отходит от большевиков в результате „принципиальных разногласий". В 1917 г., как известно, Войтинский был помощником Дана по ЦИК'у, а несколько позднее спецом по борьбе с большевистской крамолой на фронте. Кончил пока — эмиграцией.

Хотя Войтинский именует себя до 1917 года большевиком, но вся оценка событий 1905 — 1906 г г. дана им в меньшевистском свете. Это относится как к эпохе подьема 1905 г., так и последующему периоду 1906 г. В лучшем случае мы имеем мешанину большевистских и меньшевистских идей. Возьмем несколько примеров. Оценка деятельности и исторического значения П е т е р б у р г с к о г о С о в е т а у Войтинского архи-меньшевистская. Начинает он клеветой на большевиков, которые, по его мнению, смотрели на дело организации Совета, как на з у б а т о в с к о е дело. Вместо того чтобы опираться на факты, Войтинский прибегает к обычному методу: сплетне. Слово „зубатовский" он слыхал от тов. Антона, который несомненно отражал де общее настроение и т. д., и т. п. Кому не известно, что это чепуха. У петербургских большевиков была неясная позиция по вопросу о том, может ли быть Совет н е с.-д, но только Войтинский может навязать им взгляд на Совет, как на „зубатовское дело".

Как известно, в „Победе кадетов и задачах рабочей партии" Ленин прямо называл Советы органами революционной власти, которые могли, конечно, выявить себя лишь в зародыше. Войтинский повторяет меньшевистские басни „пятитомника". Совет был стачечным комитетом, — ни больше, ни меньше.

Весьма характерно, что для Войтинского, который стремится умалить роль Совета, не существует таких фактов, как финансовый манифест, как знаменитый ультиматум о всероссийской стачке в случае расстрела туркестанских железнодорожников, как вмешательство Совета в защиту угнетенных национальностей в защиту фронта, его совместные выступления с крестьянскими организациями. У Войтинского настолько память коротка, что он забыл, как интеллигентский Союз Союзов стремился заполучить представительство в Совет (видимо, позабыв, что он — стачечный комитет), что на Петербургский Совет, как на революционный центр, смотрела в с я р е в о л ю ц и о н н а я Р о с с и я. И так смотрело на Совет и царское правительство, так расценивал его умнейший бюрократ Витте. Меньшевистская ограниченность Войтинского сделала его менее понятливым, чем какой-либо Суворин или Мещерский.

Та же меньшевистская ретроспекция налицо и в оценке с т а ч е ч н о г о д в и ж е н и я. Описывая последнее, Войтинский превозносит „стихийность" на подобие экономистов. Студенческое движение у него служит симптомом революционного подъема, а рабочие ми инги... „рокового изолирования пролетариата": списано как будто прямо с Череванина или Маевского из пресловутого пятитомника.

Вполне естественно, что Войтинский теперь задним числом вздыхает по поводу „неразумной тактики" Совета в вопросе

о 8-часовом рабочем дне. Здесь Войтинский разводит философию — теорию стадий Кричевского: с самодержавием не покончили, а за капитализм принимаемся. Делает он это тонко, вкладывая эту фразу в уста рабочего. Чистейшей фальшью звучит поэтому его оговорка, что Совет, мол, ругать нельзя, ибо массы „перли", и нужно было не отстать.

В таком же меньшевистском свете представляет Войтинский и тактику с.-д. в 1906 году.

Пусть не подумает читатель, что я утрирую взгляды Войтинского. Взять, например, идеи, которые он вкладывает ортодоксальному большевику: „Товарищи, у нас, у большевиков, всегда прямая тактика, мы никогда не должны забывать ее. А в чем наша тактика, товарищи? Всем в морду. Кадет — так кадету в зубы. Эсер — так эсеру в ухо. Меньшевик—так меньшевику в рыло... Говорят, должны мы толкать буржуазию влево. А как ее толкнешь? А ты зайди справа да хлясть ее по морде. Вот что такое большевизм (II ч. 185 — 186 стр.). Ленина Войтинский все время стремится перекрасить в Нечаева и Нечаева с его отрицательной стороны.

Послушайте-ка, напр., следующие фразы, которые Войтинский вкладывает в уста Ленина: „Партия не пансион для благородных девиц. Нельзя к оценке партийных работников подходить с узенькой меркой мещанской морали. Иной мерзавец может быть для нас именно тем и полезен, что он мерзавец" (102 стр. II ч.). И эту пошлость, которую Войтинский приписывает Ленину, последний якобы оправдывал тем, „что у нас хозяйство большое, а в большом хозяйстве всякая дрянь пригодится". Войтинский здесь попросту повторяет меньшевистские зады и, как говорится, лжет за двух".

Но если большевики были такие и сякие, то что же собственно удерживало Войтинского в рядах большевиков? Послушаем Войтинского: „Большевизм увлекал меня своей прямолинейной революционностью, своей простотой, своей близостью к стихийным движениям рабочих масс, меня связывал с этим движениям его дух бунтарства, отвечающий моим настроениям и уровню моего развития". Нечего сказать—был большевик: в большевизме ничего другого не увидел кроме „бунтарства да прямолинейности" — черты, которые — так выходит по Войтинскому — дозволительны у всякого уважающего себя с.-д., лишь в молодом возрасте. Как человек только вырос, и уровень его повысился — переходи в высший класс — к меньшевикам. Но если прямолинейность большевиков Войтинскому не претила, то он абсолютно не мог понять „сектантской непримиримости". „Большевик" Войтинский, видите ли, „партию ставил выше фракции". Войтинскому невдомек, что „сектантская непримиримость" была более характерна для большевизма, чем „бунтарство". Он не заметил, что своими рассуждениями о „сектантской непримиримости" он лишь показал, что большевиком никогда не был и большевизма не понимал. Это становится тем более ясно, что в одном месте у Войтинского нечаянно вырвалась следующая фраза: „Были напуганные бессмысленные эксцессы в этом споре (между беками и меками. *Н. Л.*), была демагогия, были нехорошие приемы борьбы, но нужна безграничная тупость обывателя, чтобы не усмотреть за этим спором ничего кроме сектантской борьбы. Здесь боролись две политические тактики, две концепции, в которых, быть может, воплотилась вся научно-революционная мысль России. Здесь сталкивались 2 способа решения того вопроса, к которому вплотную подошло историческое развитие России „на грани XIX и XX столетия". Войтинский здесь сам выдал себе аттестат на обывателя, ибо: если были 2 политические тактики, то стало быть непримиримость большевиков была всем чем угодно, но не сектантством.

Разбирая тактически лозунги фракций в 1906 г., Войтинский отчаянно путается: так, напр., переход большевизма с бойкотистской точки зрения на антибойкотистскую означает, по его мнению, сдачу позиций меньшевикам. Войтинский не анализирует изменившуюся обстановку, проходит мимо того блестящего диалектического анализа сути и назначения бойкота, который дал Ленин в своей полемике с большевиками-бойкотистами (см. его статью „О бойкоте" в VIII т.). Собственно Войтинский сам опровергает себя в своей же

книжке, показывая, что в то время как беки признали агитационное значение Думы (после поражения революции), меки уже сделали следующий шаг к антиреволюционному соглашательству: они видели теперь в Думе возможный общенациональный политический центр, они расценивали участие в Думе как средство принудить Думу „итти твердыми шагами по пути превращения в революционный орган власти". Итак: в то время как беки в новой обстановке стали рассматривать Думу, как трибуну, меки считали ее возможным органом власти. И это называется, что беки перешли на сторону меков. Странная логика у г. Войтинского!

Как ни старается Войтинский обелить меньшевистскую тактику, но он все же вынужден признать, что они пересолили с „черносотенной опасностью" при предвыборных спорах, что большевики оказались правы в своем недоверии к либералам. И он вынужден признать, что отлив революции не помог влиянию меньшевикам в рабочей с.-д. среде; при ликвидации раскола почти вся петербургская организация осталась в руках большевиков.

Мы остановились лишь на наиболее интересном периоде 1905 — 1906 г.г. Последующий период не представляет большого интереса, ибо Войтинский отходит от активной работы (тюрьма, ссылка).

Обе книги пропитаны густым слоем меньшевизма. Само собой разумеется, что при тех „объективных", „партийных" настроениях, которые были у Войтинского, он должен был ренегировать в 1917 г.

Воспоминания его поэтому могут быть использованы лишь после критической проработки. Для эпохи 1905 — 1906 г.г. (вернее 1906 г.) они представляют значительный интерес, ибо освещают некоторые малоизвестные стороны жизни с.-д. Петербурга.

В заключение нам хочется сказать следующее.

Воспоминания меньшевиков и бывших большевиков, как они ни фальшиво передают действительность, все же ценны... Какую же громадную пользу могли бы оказать воспоминания настоящих старых большевиков. Неужели мемуары старого активного большевика менее важны, чем работы по отдельным вопросам истории партии. Нам кажется, что, в связи с возросшим интересом партийного молодняка к партийной истории, необходимо вопрос о воспоминаниях поставить на деловую почву. То, что в живом изложении будет рассказано о 1905 годе, о подпольной работе, не заменит несколько учебников, нужно лишь, чтоб эти воспоминания не были отрывочными, кусочными, а давали цельную картину прошлого в партийной жизни.

Редакционная коллегия: А. Воронский. В. Сорин. Ем. Ярославский.

Издатель: Государственное Издательство.

Адрес редакции: Москва, Кривоколенный пер., 14. Тел. 5-63-12.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР
СЕКТОР ПЕРИОДИЧЕСКИХ, ПОДПИСНЫХ И СПРАВОЧНЫХ ИЗДАНИЙ (ПЕРИОДСЕКТОР)

Москва, Воздвиженка, 10/2. Тел. Отд. подписки — 5-88-91 и 5-89-54.
АДРЕС ДЛЯ ТЕЛЕГРАММ: МОСКВА ПЕРИОДСЕКТОР.
Текущие счета в Моск. к-ре Госбанка—№ 1090, в Моск. сберегательн. кассе—№ 207052.

■■■

ВНОВЬ ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ НА ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Г. В. ПЛЕХАНОВА

В 26 ТОМАХ.

СОДЕРЖАНИЕ:

— Период народнический (статьи до 1883 года).
От основания группы „Освобождение Труда" до организации „Русского Соц.-Дем. Союза" (статьи 1883—1888 г.г.).
III. — На русские темы (статьи 1888—1892 г.г.).
IV. На международные темы (статьи 1887—1894 г.г.).
Т. V. — Н. Г. Чернышевский (книга 1).
Т. VI. Н. Г. Чернышевский (книга 2).
Т. VII. Обоснование и защита марксизма (книга 1).
Т. VIII. Обоснование и защита марксизма (книга 2).
Т. IX. Против народничества.
X. Литературно-критические статьи (1888—1903 г.г.).
XI. — Критика наших критиков (1899—1902 г.г.).
XII. Вопросы программы и тактики (1900—1903 г.г.).
XIV. — Искусство и литература.
XVI. — Социализм и вопросы рабочего движения.
Т. XVII. — Против эмпириомонизма и богоискательства.
Т. XVIII. — От утопии к науке.
Т. XX—XXII. — История русской общественной мысли.
Т. XXIII—XXIV. — Статьи по истории русской общественной мысли в XIX веке.

Содержание остальных томов будет объявлено дополнительно.

ЗА 26 ТОМОВ в папках 60 РУБЛЕЙ.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: задаток 5 р. 40 к. Остальные по мере получения книг **по 2 р. 10 к. за том. Ежемесячно подписчику высылаются 2 тома наложенным платежом.** (Доставка и пересылка за счет подписчика.) **Снабжение подписчиков всеми томами заканчивается в начале 1926 г.**

■■■

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Периодсектором Госиздата (Москва, Воздвиженка, 10/2), провинциальными конторами и уполномоченными (имеются во всех губ. и уездных городах СССР), снабженными удостоверениями Периодсектора Госиздата или его контор, а также всеми почтово-телеграфными конторами.

СОДЕРЖАНИЕ.

За рубежом

От земли и городов

Литературные края

Библиография

Объявления